90 коп. Индекс 73293

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1990 ГОДУ

Теории. Школы. Концепции (Критические анализы).— Интерпретация и деконструктивизм (15 л.). В седьмом выпуске известной в СССР и за рубежом серии впервые в советской науке рассматриваются во взаимосвязи интерпретационные и методологические идеи современного западного литературоведения и искусствознания.

Коренева М. М. **Юджин О'Нил и пути американской драмы** (18 л.). Эта книга — один из шагов на пути возвращения в нашу страну отлученного от нее на долгие годы Юджина О'Нила, чьи пьесы несли в себе трагическое предсказание грядущих катастроф... Творчество драматурга рассматривается в широком историко-культурном контексте.

Морозова Т. Л. **Спор о человеке в литературе США (История и современность)** (15 л.). Книга рассказывает о рождении национального героя — «нового Адама» — в произведениях звезд американской литературы XVII—XX вв.

Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика (20 л.). Выдающиеся исследователи и переводчики древних авторов — Сергей Аверинцев, Михаил Гаспаров и др.— посвятили этот труд вопросу о взаимосвязи литературной формы и образа мышления у античных писателей.

Евдокимова Л. В. **Французская поэзия позднего средневековья** (XIV—первая треть XV в.) (10 л.). Первое в советской науке исследование о французской поэзии этого периода, где нашел своеобразное преломление культ куртуазного служения даме.

Фольклор. Народная песня в современной советской культуре (20 л.). Что таят пометы А. Горького на песенных сборниках? Как расшифровать архивные тексты В. Одоевского? Не пора ли воскресить «забытое» имя ревнителя народной песни Г. Альбрехта? — в очередном выпуске серии «Фольклор».

Реализм в чешской и словацкой литературе XX века (15 л.). Парадокс как решение проблемы — именно такой метод избрали создатели этого беспрецедентного труда, где собраны самые неожиданные, порой взаимоисключающие суждения советских и чехословацких ученых.

Залесская Л. И. **Шолохов и развитие советского многонационального романа** (17 л.). Используя недоступные до недавнего времени архивные материалы, автор включается в спор о Шолохове как личности и художнике.

Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Книга пятая (90 л.). Впервые публикуются редкие архивные материалы, сатирический фельетон Блока, статья Н. Гумилева «Театр Александра Блока», работы видных зарубежных ученых и аннотированная библиография «Блок в критике современников. 1902—1921 гг.».

Литературное наследство, т. 98. В. Я. Брюсов и его корреспонденты. В двух книгах (150 л.). В томе впервые собрана переписка поэта (в основном неопубликованная) с К. Бальмонтом, М. Волошиным, Н. Гумилевым, Н. Клюевым и др., представляющая собой источник сведений об истории символизма, литературных и философских дискуссиях и исканиях на рубеже веков.

Эти книги, выходящие во II полугодии 1990 г. в издательстве «Наука», можно предварительно заказать в магазинах «Академкниги», в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации. Для получения книг почтой заказы направляйте **по адресу**: 117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкниги».

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1990. № 1. 1—208.

1990 1 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

1

1990

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ОСНОВАН В МАЕ 1924 ГОДА. С 1925 ГОДА ИЗДАВАЛСЯ КАК ЖУРНАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, С 1934 ГОДА — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

1

1990

ЯНВАРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Памяти Андрея Дмитриевича Сахарова

Ю. БУРТИН

Великий русский интеллигент

Не предавайтесь особой унылости:
Случай предвиденный, чуть
не желательный.
Так погибает по божией милости
Русской земли человек
замечательный
С давнего времени...

Эти строки Некрасова, написанные на смерть Шевченко, так кстати пришлись сегодня, когда умер, а вернее сказать — погиб, единственный истинно великий из наших современников и соотечественников. Единственный великий гражданин и Родины нашей, и всего человечества. Единственный, кто в худшие, позорные годы оставался для нас нравственной опорой и кем могли мы погордиться перед миром — из пропасти нашей духовной нищеты, задавленности и унижения.

Человек со всеми и для всех, ближних и дальних. Для чехов и китайцев, для евреев, армян и крымских татар, для русских мальчиков, которых вели умирать в Афганистан, и для тех афганцев, которых им приказывали убивать на их земле. Для всех, кто страдает, для всех, кто терпит какое бы то ни было насилие и несправедливость. И именно этим прежде всего — больше, чем мощью своего ума и таланта,— великий русский интеллигент.

И еще одна особенность отличала Андрея Дмитриевича Сахарова от всех нас: он был свободный человек. Свободный и от страха, и от корысти, и от тщеславия, и от власти чужих мнений. Даже будучи связанным, он всегда оставался внутренне свободным, всегда слушался лишь голоса собственной совести, и это давало ему особую силу.

Долгие годы имя Сахарова было окружено легендой. Казенная печать клеветала на него, живая народная совесть создавала в противовес ей образ героя из стали. И вот на наших экранах простой человек, не желающий помнить о мировой славе своего имени, терпеливо стоящий в очереди у трибуны. И, быть может, кому-то он показался даже слишком, разочаровывающе прост. Не оратор — и голос срывается, и старые губы прыгают, не сразу ловят нужные слова. Но это были всегда слова правды, и как бы ему ни затыкали рот, его голос звучал сильнее любых других голосов. «Не политик» — но что такое политика? Если понимать под политикой мелкие и крупные хитрости, ловкость рук, искусство манипулировать и повелевать, то, конечно, никто не был дальше от политики, чем Андрей Дмитриевич Сахаров. Однако если речь идет о политике, суть которой — служение народу и человечеству, то нет и не было на нашей земле человека, который мог бы сравниться с ним в безошибочной правильности и существенности каждого своего политического поступка.

Всеми своими мыслями и делами, всей своей уникальной судьбой Сахаров — символ поворота от прежнего, разделенного и грызущегося человечества к мирному и единому, трудно, но неуклонно открывающему в себе новые ресурсы человечности. И все, чем мы так широко пользуемся сегодня, не затрудняя себя ссылками на первоисточник: новое политическое мышление, отказ от борьбы двух миров, разумная достаточность в вооружениях, гласность и демократи-

зация, прекращение преследований за убеждения, правовое государство,— почерпнуто из статей, брошюр, интервью, за которые его сживали со свету.

Он был русский интеллигент и потому с равным уважением и доверчивой открытостью относился к людям любого положения и любого труда — крестьянам, рабочим, ученым, писателям, молодежи. По той же причине, неустанный и бесстрашный защитник людей, он плохо умел защищать самого себя. И мы его не защитили — ни раньше, ни в его последние месяцы и дни, не встали рядом, не приняли на себя хотя бы часть его ноши.

Сахаров на трибуне, прерываемый выкриками спереди и окриками сзади, торопящийся выговорить и прочесть то, в чем, он знает, наша нужда, наше спасение... Боже, какой стыд! Нам не отмыться от него никогда. Сахаров умер. Не выдержало сердце, на котором было столько старых и новых рубцов. Тайный — да что там! — почти явный вздох облегчения у одних, у корыстного меньшинства, горе и чувство огромной, зияющей пустоты у других. Мы, которые так долго, с эгоизмом детей, уверенных, что отец и мать будут живы всегда и всегда придут нам на помощь, оставляли его в одиночестве, вдруг почувствовали бессильными и одинокими самих себя. И произошло это в дурной, смутный час, когда могущественные силы инерции того и гляди возьмут верх над едва начавшимся движением.

Я думаю, это чувство одиночества испытывают сегодня очень разные по своим взглядам люди, кажется, совершенно неспособные прийти к какому-либо согласию между собою. Атеисты и верующие, люди, уверенные в неоспоримой правоте марксизма и со страстью его отвергающие, сторонники социализма, такого или этакого, и те, кто убежден, что всякий социализм себя исчерпал, не оправдал. Но если в них живет сегодня одно и то же ощущение невосполнимой утраты, то не значит ли это, что и своей смертью Андрей Дмитриевич еще раз старается нам помочь? Указывает на ту точку, в которой могут сойтись столь различные идеологии и программы? Эта точка, а вернее обширнейшее пространство, где всем хватит места, где даже крайние антагонисты могут существовать бок о бок, оспаривая, но не истребляя, а взаимно обогащая друг друга, может быть определено разными словами. На политическом языке оно называется демократией. Союз всех демократических сил — за действительную и последовательную демократизацию, против тоталитаризма, против межнациональной и межгосударственной вражды, против насилия и застоя — вот завет, который оставил нам ушедший.

Если такой союз возникнет, он по справедливости должен носить имя Андрея Дмитриевича Сахарова.

Михаил ГЕФТЕР

Занавес поднялся

Ушел всего лишь один из миллиардов людей, населяющих Землю. Опустела всего лишь одна из московских квартир. Мы продолжаем жить, говорить, негодовать и жаловаться, часами просиживаем у телевизоров, воспроизводящих чохом и вразбивку народных избранников и тех, кто дирижирует этим форумом, в котором если не все у нас, то многие хотели бы видеть новое (по смыслу, а не по счету) Учредительное собрание. И здесь также нет всего лишь одного...

Несколько лет назад мое сознание оцарапали слова, принадлежащие Гарсиа Лорке. Он сказал, что когда за пределами его Испании приходит смерть, то занавес падает, в Испании же иначе — там в этот момент занавес подымается. Я подумал, что так же и у нас, только мы это не замечаем либо забываем. Но когда нескончаемой чередой шли к мертвому Сахарову люди, отстоявшие многие часы перед входом во Дворец молодежи, ощущение поднятого занавеса охватило меня и не отпускает по сей день.

Занавес поднялся — и мы увидели друг друга. Не станем льстить себе. Мы увидели себя не в лучшем свете. Приметнее стали не только добрые начала, не истраченные вовсе, но и все, что поперек им. Страшное поперек. Это чувство не сегодня пришло, но в те прощальные часы оно как бы сгустилось, сжалось в один комок. Я вычитывал в лицах мерно идущих людей, печальных и задумчивых, сознание нашей общей причастности к смерти человека, имя которого не нуждается в самых почетных на свете званиях.

В некрологе, опубликованном московской молодежной газетой, есть такие слова: «Он был из породы победителей и побеждал не раз». Я был бы счастлив согласиться с этим, если бы это было так. На самом же деле это не так.

Нет, он не был из породы победителей. Все его человеческое существо тяготело не к победе, а к истине. А истина чаще всего в стане побежденных. Поражения преследовали Андрея Дмитриевича до последних дней жизни. Но чем были бы мы, мы все, если бы не эти его поражения?!

...Не в ответ, а лишь на тему вопроса — крохотное воспоминание.

В памятный день 1978 года я отправился в Люблино на процесс Юрия Орлова. Это было мое первое открытое вступление в среду, которую я знал до того лишь в порядке личных связей, отделенный от нее не только образом жизни, но и несовпадением во многих суждениях о былом и предстоящем. Мне казалось необходимым для начала привести потребность в поступке в соответствие с тем, что именуют мировоззрением. Не стану говорить, удалось ли это мне и в какой мере. Сошлюсь только, что в это время готовился выйти в свет первый номер свободного московского журнала «Поиски», к определению исходных позиций которого я был причастен. Тогда же, в то майское утро, перед судейским зданием, в квадрате из штакетников, я чувствовал себя чем-то вроде инопланетянина... Разобравшись на несколько небольших групп, шушукались между собой «диссиденты», отбывали очередное дежурство иностранные журналисты, между теми и другими шныряли лица в штатском, явно не принадлежащие ни к тем, ни к другим. И как бы отдельно, то переговариваясь с близкими, то отвечая на вопросы корреспондентов, двигался человек, опознать которого не представляло особого труда. Он выделялся и ростом, и выражением лица: не то чтобы даже спокойствием, скорее грустным признанием привычности обстоятельств, как и непременности той работы, которую в этих обстоятельствах приходится выполнять, поскольку ее нельзя не выполнять. Именно так, и даже не больше того: нельзя не выполнять.

Прошли годы. Оборвалась вахта «Поисков», мои молодые друзья изведали Бутырки и лагеря. Пришла развязка и одиссеи Сахарова. Гибель друга — Анатолия Марченко, умершего в чистопольской тюрьме после четырехмесячной голодовки во имя освобождения всех узников совести, больно отозвавшись в сердце Андрея Дмитриевича, изменила и его судьбу. Считанные часы прошли между тем событием и другим — телефонным звонком, которого оказалось достаточно, чтобы закрылся в Горьком «персональный» концлагерь. Но в отличие от гомеровского героя Андрей Дмитриевич возвратился не один — вслед за ним и усилием его духа вернулись домой и многие из инакодумающих и инакоживущих. Так обозначился один из наших рубежей, выявив и доступность, и хрупкость обновления, зависимость его от безвестного человеческого действия, чуждого славе и тем открытого людям.

Вскоре после возвращения Андрея Дмитриевича в Москву мне довелось сидеть с ним рядом в доме Ларисы Богораз. Он был тих, неразговорчив. На нескладный вопрос мой: «Как вы, Андрей Дмитриевич?» он ответил: «Трудно жить. Люди пишут, приходят, едут издалека, надеясь, что я смогу помочь. А я бессилен». В буквальном смысле он был прав — и тогда, и даже позже... Ибо именно сегодня, когда только слепой может не видеть перемен, и ощутимей и больней

стала властвующая бесчеловечность, какую никому не под силу переломить враз. Да и как переломить ее «извне», не переломивши ее внутри самих себя?

Он был прав и не прав. Столь часто бессильный изменить судьбу одного человека, как и общий ход вещей, он сумел вселить в нас стыд бессилия. Вовсе лишенный всякой склонности к назиданию и даже дара внушения, он сумел подсказать нам самое важное: еще не все потеряно.

...Предначертанное исполнилось им. И потому я говорю — его, Андрея Сахарова, земная жизнь только начинается. Она еще впереди. Она — в людях, которые ныне делают первые шаги к осмысленному существованию.

Лев ТИМОФЕЕВ

С тревогой и надеждой

Судьба современных пророков ничем не отличается от судьбы пророков всех времен. Солженицын, Сахаров, с ними другие...

Андрея Дмитриевича Сахарова называли пророком еще при жизни, но многие ли у нас в стране знают его пророчества, его публицистику? В чем пафос его знаменитых (знаменитых не у нас — за границей) «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»? Как написаны, составлены его многочисленные, постоянные, упорные обращения к правительствам разных стран, к мировому общественному мнению? Что именно говорил он в своем письме о вторжении в Афганистан?

Многие ли могут сказать, что знали, читали, слышали его пророческое слово?..

И все-таки мы знали силу этого слова, его значение для страны. Мы верили ему, не читая и не слыша, лишь угадывая, улавливая смысл — часто в пересказах знакомых, случайно поймавших обрывки текстов по радио, даже не уточняя подробностей, да сквозь радиоглушилки они могли и не расслышать подробности. Важно было то, что он говорит. Говорит за всех молчащих, за всех, кто хотел бы, но боится или не умеет сказать вслух,— как бы от их имени, как бы сквозь их страх и скованность,— принимая на себя всю ответственность, все последствия.

Сахаров был пророком, принявшим на себя благословение Божие. И тяжелую мирскую ответственность.

Ему верили, не читая. Верили не на слово, а как бы помимо слова — верили в него, верили его жизни, его судьбе, его личности. За потоками грязи старались угадать его жизнь и в Москве, и в Горьком. Ему верили, потому что не верили его врагам, его притеснителям... И когда 17 декабря Москва прощалась с Сахаровым, под ветром, под косым мокрым снегопадом в многосоттысячной очереди люди стояли не потому, что были читателями его публицистики, но потому, что верили ему все эти годы помимо слова.

И вот теперь последнее, что открывается нам в его жизни, в его деятельности,—это его слово, публицистика. То есть как раз то, с чего и началась некогда его прямая и открытая борьба... Нам открывается содержание его пророчеств. К какому времени отнести их? К прошлому, настоящему, будущему? Какую именно Благую Весть почерпнем мы из них?

С надеждой и тревогой задаемся мы вопросами о нашей нынешней жизни. С надеждой и тревогой обращаемся к пророчествам.

Наши пророки не в будущем видят апокалипсические картины, но в настоящем и в ближайшем прошлом, которое все остается нынешней, неушедшей реальностью. Солженицын, Сахаров, с ними другие... Нет, не пророки — свидетели!

Диалектика — один из величайших соблазнов человеческой истории. Миф о необходимости жертвовать настоящим ради светлого будущего дорого обошелся России... Но сопротивление соблазну никогда не угасало у нас в стране. От Достоевского и авторов «Вех» усвоили мы понимание: из столкновения вчерашних грехов с нынешними не построится безгрешное будущее. Какое рукотворное завтра стоит уже пролитой крови и той, что еще прольется? Какое поколение советских людей будет жить при коммунизме?

Но, кажется, слава Богу, наша эпоха дала жестокий опыт познания метафизических истин. Кажется, начало нам брезжить: не имеет смысла спор о том, будет ли завтра лучше или хуже,— сегодняшний бы день правильно понять во всей его трагичности, во всех его противоречиях... Да что там во всех! Хотя бы то, что дано понять, не упустить бы из-за высокомерия и гордыни. История — таинство, а не романтическая дорога в светлое завтра.

Само взаимопроникновение прошлого, настоящего и будущего — таинство, требующее уважения. Кровь, пролитая сегодня, не только протечет в завтрашний день, но таинственным образом окрашивает и прошлое.

Апокалипсис — наша сегодняшняя реальность: только что была уже в истории и саранча в броне и с человечьими лицами, и треть человечества умирает уже от огня, дыма и серы, и научились мы уже называть горе множественными именами: одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя... два ли только?

По времени и пророки. Солженицын, Сахаров, с ними другие. Не предсказывают они скорый конец света, но свидетельствуют: вот и первый Ангел протрубил, и второй... И не в исторической последовательности раздаются эти трубные звуки, но все одновременно — и седьмой Ангел трубит среди них — тот, что возвещает: царство мира сделалось Царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков...

Умер Андрей Дмитриевич Сахаров. Он показал — так наглядно, как, может быть, никто другой,— что свобода не есть обязательно продукт общественной диалектики. Что свобода и рабство, апокалипсический ужас и Царство Божие живут одновременно. Или, вернее, вне времени — всегда. Он всегда был свободен. Свободен в своем мышлении, свободен в своей речи... В апокалипсическую атмосферу заседаний и залов он входил как праведник-свидетель. И самой мощной музыкой времени стала стенографическая запись: «Сахаров: (не слышно)».

Проходя у его гроба, люди шептали: «Прости нас!» Не только шепотом произносилось, но и криком, сквозь слезы: «Прости нас!». Это «Прости!» было написано на тетрадных листках, которые складывались, закрывались гвоздиками, и опять появлялись новые листки: «Прости нас!»

За что простить? За то, что молча смотрели, как на себя одного взвалил он эту ношу? За то, что позволили, допустили насилие над ним и над собой тоже? «Прости!» — за бессилие?.. Но любовь к нему — это сила!

Сквозь ветер, сквозь мокрый косой снегопад прощаться с ним приводили детей. Даже грудных несли — зачем? Чтобы приобщить их и к горю, и к истине, и к мужеству, и к любви.

Таинственно взаимопроникновение прошлого, настоящего, будущего. Любви не убывает в мире — праведники уходят, оставляя миру свою Любовь, растворяя ее в мире. И Царство Божие, и свобода — в каждом из нас есть.

Любовь моя, Россия, где твои пророки?.. Один — в изгнании, другой — в могиле. И трубят Ангелы: первый, второй, третий — все до седьмого. Все одновременно.

А. САХАРОВ

Мир, прогресс, права человека

Нобелевская лекция *

Глубокоуважаемые члены Нобелевского комитета!
Глубокоуважаемые дамы и господа!

Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Такова главная мысль, которую я хочу отразить в этой лекции.

Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, волнующей награды — Нобелевской премии мира — и за предоставленную возможность выступить сегодня перед вами. Я с особенным удовлетворением воспринял формулировку Комитета, в которой подчеркнута роль защиты прав человека как единственного прочного основания для подлинного и долговечного международного сотрудничества. Эта мысль кажется мне очень важной. Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разоружение и международная безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора страны проживания. Я убежден также, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а также является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав. Таким образом, я защищаю тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб человечества. Эта точка зрения существенно отличается от технократических концепций, согласно которым определяющее значение имеют именно материальные факторы, социальные и экономические права. (Сказанное не означает, конечно, что я в какой-либо мере отрицаю значение материальных условий жизни людей.)

Все эти тезисы я собираюсь отразить в лекции и особо остановиться на некоторых конкретных проблемах нарушения прав человека, решение которых представляется мне необходимым и срочным.

В соответствии с этим планом выбрано название лекции: «Мир, прогресс, права человека». Это, конечно, сознательная параллель к названию моей статьи 1968 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», во многом близкой по своей направленности, по содержащимся в ней предостережениям.

Имеется много признаков того, что начиная со второй половины XX века человечество вступило в особо ответственный, критический период своей истории.

Создано ракетно-термоядерное оружие, способное в принципе уничтожить все человечество,— это самая большая опасность современности. Благодаря экономическим, промышленным и научным достижениям несравненно более опасными стали также так называемые «обычные» виды вооружения, не говоря уже о химическом и бактериологическом оружии.

Несомненно, успехи промышленного и технологического прогресса являются главным фактором преодоления нищеты, голода и болезней, но они одновременно приводят к угрожающим изменениям в окружающей среде, к истощению ресурсов. Человечество таким образом столкнулось с грозной экологической опасностью.

Полностью сборник статей А. Д. Сахарова «Мир, прогресс, права человека» публикуется в журнеле «Звезда», 1990, №№ 2—3.

Быстрые изменения традиционных форм жизни привели к неуправляемому демографическому взрыву, особенно мощному в развивающихся странах третьего мира. Рост населения создает необычайно трудные экономические, социальные и психологические проблемы уже сейчас и неотвратимо угрожает гораздо более серьезными опасностями в будущем. Во многих странах, в особенности в Азии, Африке, Латинской Америке, недостаток продовольствия продолжает оставаться постоянным фактором жизни сотен миллионов людей, обреченных с момента рождения на нищенское, полуголодное существование. При этом прогнозы на будущее, несмотря на несомненные успехи «зеленой революции», являются тревожными, а по мнению многих специалистов — трагическими.

Но и в развитых странах люди сталкиваются с очень серьезными проблемами. Среди них — тяжелые последствия неумеренной урбанизации, потеря социальной и психологической устойчивости общества, непрерывная изнуряющая гонка моды и сверхпроизводства, бешеный, безумный темп жизни и ее изменений, рост числа нервных и психических заболеваний, отрыв все большего числа людей от природы и нормальной, традиционной человеческой жизни, разрушение семьи и простых человеческих радостей, упадок морально-этических устоев общества и ослабление чувства цели и осмысленности жизни. На этом фоне возникают многочисленные и уродливые явления — рост преступности, алкоголизма, наркомании, терроризма и т. п. Надвигающееся истощение ресурсов Земли, угроза перенаселения, многократно углубленные международными политическими и социальными проблемами, начинают все сильней давить на жизнь также и в развитых странах, лишая (или угрожая лишить) многих людей ставших уже привычными изобилия, удобства и комфорта.

Однако наиболее существенную, определяющую роль в проблематике современного мира играет глобальная политическая поляризация человечества, разделившая его на так называемый первый мир (условно назовем его «западный»), второй (социалистический), третий (развивающиеся страны). Два крупнейших социалистических государства фактически стали враждующими тоталитарными империями с непомерной властью единственной партии и государства над всеми сторонами жизни своих граждан и с огромным экспансионистским потенциалом, стремящимся подчинить своему влиянию обширные районы земного шара. При этом одно из этих государств — КНР — находится пока на относительно низком уровне экономического развития, а другое — СССР,— используя уникальные природные ресурсы, пройдя через десятилетия неслыханных бедствий и перенапряжения всех сил народа, достигло в настоящее время огромной военной мощи и относительно высокого (хотя и одностороннего) экономического развития. Но и в СССР уровень материальной жизни населения низок, а уровень гражданских свобод ниже даже, чем в малых социалистических странах. Очень сложные общемировые проблемы связаны также с третьим миром, с его относительной экономической пассивностью, сочетающейся с растущей международной политической активностью.

Эта поляризация многократно усиливает и без того очень серьезные опасности, нависшие над миром,— опасности термоядерной гибели, голода, отравления среды, истощения ресурсов, перенаселения, дегуманизации.

Обсуждая весь этот комплекс неотложных проблем и противоречий, следует прежде всего сказать, что, по моему убеждению, любые попытки замедлить темп научно-технического прогресса, повернуть вспять урбанизацию, призывы к изоляционизму, патриархальности, к возрождению на основе обращения к здоровым национальным традициям прошлых столетий — нереалистичны. Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации.

Еще не так давно люди не знали минеральных удобрений, машинной обработки земли, ядохимикатов, интенсивных методов земледелия. Есть голоса, призывающие вернуться к более традиционным и, возможно, более безопасным формам земледелия. Но возможно ли осуществить это в мире, где и сейчас сотни миллионов людей страдают от голода? Несомненно, наоборот, необходима дальнейшая интенсификация и распространение ее на весь мир, на все развиваю-

щиеся страны. Нельзя отказаться от все более широкого применения достижений медицины и от расширения исследований во всех ее отраслях, в том числе и в таких, как бактериология и вирусология, нейрофизиология, генетика человека и генохирургия, несмотря на потенциальные опасности злоупотребления и нежелательных социальных последствий некоторых из этих исследований. То же относится к исследованиям в области создания систем имитации интеллекта, к исследованиям в области управления массовым поведением людей, к созданию единых общемировых систем связи, систем сбора и хранения информации и т. п. Совершенно очевидно, что в руках безответственных бюрократических, действующих под покровом секретности учреждений все эти исследования могут оказаться необыкновенно опасными, но в то же время они могут стать крайне важными и необходимыми для человечества, если их осуществлять под контролем гласности, обсуждения, научного социального анализа. Нельзя отказаться от все более широкого использования искусственных материалов, синтетической пищи, от модернизации всех сторон быта людей. Нельзя отказаться от возрастающей автоматизации и укрупнения промышленного производства, несмотря на связанные с этим социальные проблемы.

Нельзя отказаться от строительства все более мощных тепловых и атомных электростанций, от исследований в области управляемой термоядерной реакции, поскольку энергетика — одна из основ цивилизации. Я позволю себе вспомнить в этой связи, что 25 лет назад мне, вместе с моим учителем, лауреатом Нобелевской премии по физике Игорем Евгеньевичем Таммом, довелось стоять у начала исследований управляемой термоядерной реакции в нашей стране. Сейчас эти работы приобрели огромный размах, исследуются самые различные направления, от классических схем магнитной термоизоляции до методов с использованием лазеров.

Нельзя отказаться от расширения работ по освоению околоземного космоса и по исследованию дальнего космоса, в том числе от попыток приема сигналов от внеземных цивилизаций — шансы на успех таких попыток, вероятно, малы, но зато последствия успеха могут быть грандиозными.

Я назвал только некоторые примеры, их можно умножить. В действительности все главные стороны прогресса тесно связаны между собой, ни одну из них нельзя отменить, не рискуя разрушить все здание цивилизации; прогресс неделим. Но особую роль в механизме прогресса играют интеллектуальные, духовные факторы. Недооценка этих факторов, особенно распространенная в социалистических странах, возможно, под влиянием вульгарных идеологических догм официальной философии, может привести к извращению путей прогресса или даже к его прекращению, к застою. Прогресс возможен и безопасен лишь под контролем Разума. Важнейшая проблема охраны среды — один из примеров, где особенно ясна роль гласности, открытости общества, свободы убеждений. Только частичная либерализация, наступившая в нашей стране после смерти Сталина, сделала возможными памятные всем нам публичные дискуссии первой половины 60-х годов по этой проблеме, но эффективное ее решение требует дальнейшего усиления общественного и международного контроля. Военные применения достижений науки, разоружение и контроль над ним — другая столь же критическая область, где международное доверие зависит от гласности и открытости общества. Упомянутый пример управления массовым поведением людей, при своей внешней экзотичности, тоже вполне актуален уже сейчас.

Свобода убеждений, наличие просвещенного общественного мнения, плюралистический характер системы образования, свобода печати и других средств информации — всего этого сильно не хватает в социалистических странах вследствие присущего им экономического, политического и идеологического монизма. Между тем эти условия жизненно необходимы не только во избежание злоупотреблений прогрессом, вольных и по неведению, но и для его поддержания. В особенности важно, что только в атмосфере интеллектуальной свободы возможна эффективная система образования и творческой преемственности поколений. Наоборот, интеллектуальная несвобода, власть унылой бюрократии, конформизм,

разрушая сначала гуманитарные области знания, литературу и искусство, неизбежно приводят затем к общему интеллектуальному упадку, бюрократизации и формализации всей системы образования, к упадку научных исследований, исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду.

Сейчас, в поляризованном мире, тоталитарные страны благодаря детанту приобрели возможность своеобразного интеллектуального паразитизма — и похоже, если не произойдет тех внутренних сдвигов, о необходимости которых все мы думаем, скоро им придется встать на этот путь. Один из возможных результатов детанта именно таков. Если это произойдет, взрывоопасность общемировой ситуации может только возрасти. Миру жизненно необходимо всестороннее сотрудничество между странами Запада, социалистическими и развивающимися странами, включая обмен знаниями, технологией, торговлю, экономическую, в частности продовольственную взаимопомощь. Но это сотрудничество должно происходить на основе доверия открытых обществ, как говорят, с открытой душой, на основе истинного равноправия, а не на основе страха демократических стран перед их тоталитарными соседями. Сотрудничество в этом последнем случае означало бы просто попытку задарить, задобрить жуткого соседа. Но подобная политика всегда лишь отсрочка беды, которая вскоре возвращается в другую дверь с удесятеренными силами, это попросту новый вариант мюнхенской политики. Устойчивый успех детанта возможен только, если с самого начала он сопровождается непрестанной заботой об открытости всех стран, об увеличении уровня гласности, о свободном обмене информацией, о непременном соблюдении во всех странах гражданских и политических прав — короче говоря, при дополнении разрядки в материальной сфере разоружения и торговли разрядкой в духовной, идеологической сфере. Об этом прекрасно сказал президент Франции Жискар д'Эстен во время своего визита в Москву. Право, стоило пережить упреки некоторых недальновидных прагматиков из числа его соотечественников ради того, чтобы поддержать важнейший принцип!

Прежде чем перейти к обсуждению проблем разоружения, я хочу воспользоваться возможностью и еще раз напомнить некоторые свои предложения общего характера. Это прежде всего идея создания под эгидой ООН Международного Консультативного Комитета по вопросам разоружения, прав человека и охраны среды. Комитету, согласно моей мысли, должно быть предоставлено право получения обязательных ответов от всех правительств на его запросы и рекомендации. Такой Комитет явился бы важным рабочим органом для обеспечения общемировых дискуссий и гласности по самым важным проблемам, от которых зависит будущее человечества. Я жду поддержки и обсуждения этой идеи.

Я также хочу подчеркнуть, что я считаю особенно важным более широкое использование войск ООН для купирования международных и межнациональных вооруженных конфликтов. Я очень высоко оцениваю возможную и необходимую роль ООН, считая ее одной из главных надежд человечества на лучшее будущее. Последние годы — трудные, критические для этой организации. Я писал об этом в книге «О стране и мире», уже после ее выхода в свет заслуживающим сожаления событием было принятие Генеральной Ассамблеей (причем почти без обсуждения по существу) резолюции, объявившей сионизм формой расизма и расовой дискриминации. Все беспристрастные люди знают, что сионизм — это идеология национального возрождения еврейского народа после 2-х тысяч лет рассеяния и что эта идеология не направлена против других народов. Принятие подобной резолюции, по моему мнению, нанесло удар престижу ООН. Несмотря на подобные факты, часто порождаемые отсутствием чувства ответственности перед человечеством у руководителей некоторых более молодых членов ООН, я все же верю, что рано или поздно ООН сумеет играть в жизни человечества достойную роль, в соответствии с целями Устава.

Перехожу к одной из центральных проблем современности — к разоружению. Я подробно изложил свою позицию в книге «О стране и мире». Необходимо укрепление международного доверия, совершенный контроль на местах силами международных инспекционных групп. Все это невозможно без расшире-

ния разрядки на область идеологии, без увеличения открытости общества. В этой же книге я подчеркнул необходимость международных соглашений об ограничении поставок оружия другим государствам, прекращение новых разработок систем оружия по специальным соглашениям, соглашение о запрещении секретных работ, устранение факторов стратегической неустойчивости, в частности запрещение разделяющихся боеголовок.

Как же я представляю себе идеальное общемировое соглашение о разоружении в техническом плане?

Я думаю, что такому соглашению должно предшествовать официальное (не обязательно сразу открытое) заявление об объеме всех видов военного потенциала (от запасов термоядерных зарядов до прогнозов контингентов военнообязанных), с указанием примерной условной разбивки по районам «потенциальной конфронтации». Соглашение должно предусматривать в качестве первого этапа ликвидацию преимуществ одной стороны над другой, отдельной для каждого стратегического района и для каждого вида военного потенциала (конечно, это только схема, от которой неизбежны некоторые отклонения). Таким образом, будет исключено, во-первых, что соглашение в одном стратегическом районе (скажем, в Европе) будет использовано для усиления военных позиций в другом районе (скажем, на советско-китайской границе); и, во-вторых, исключены возможные несправедливости из-за трудности количественно сопоставить значимость разных видов потенциала (например, трудно сказать, скольким зенитным установкам ПРО эквивалентен один крейсер и т. п.). Следующим этапом сокращения вооружений должно явиться пропорциональное сокращение одновременно для всех стран и всех стратегических районов. Такая формула «сбалансированного» двухэтапного сокращения вооружений обеспечит непрерывающуюся безопасность каждой страны, непрерывное равновесие сил в каждом районе потенциальной конфронтации и одновременно радикальное решение экономических и социальных проблем, порождаемых милитаризацией. На протяжении многих десятилетий варианты подобного подхода выдвигаются многими экспертами и государственными деятелями, однако до сих пор успех очень незначителен. Но я надеюсь, что сейчас, когда человечеству реально угрожает гибель в огне термоядерных взрывов, разум людей не допустит этого исхода. Радикальное сбалансированное разоружение действительно необходимо и возможно как часть многостороннего и сложного процесса разрешения грозных, неотложных мировых проблем. Та новая фаза межгосударственных отношений, которая получила название разрядки или детанта и, вероятно, имеет своим кульминационным пунктом совещание в Хельсинки, в принципе открывает определенные возможности продвижения в этом направлении.

Заключительный акт совещания в Хельсинки в особенности привлекает наше внимание тем, что в нем впервые официально отражен тот комплексный подход к решению проблем международной безопасности, который представляется единственно возможным: в акте содержатся глубокие формулировки о связи международной безопасности с защитой прав человека, свободы информации и свободы передвижения и важные обязательства стран-участников, гарантирующие эти права. Очевидно, конечно, что речь идет не о гарантированном результате, а именно о новых возможностях, которые могут быть реализованы лишь в результате длительной планомерной работы, с единой и последовательной позицией всех стран-участников, в особенности демократических стран.

Это относится, в частности, к проблеме прав человека, которой посвящена последняя часть лекции. В нашей стране, о которой я теперь буду говорить преимущественно, за месяцы, прошедшие после совещания в Хельсинки, вообще не произошло сколько-нибудь существенного улучшения в этом направлении; в отдельных же вопросах замечаются даже попытки сторонников жесткого курса «завинтить» гайки.

Все в том же состоянии находятся важные проблемы международного информационного обмена, свободы выбора страны проживания, поездок для учения, работы, лечения, просто туризма. Чтобы конкретизировать это утверждение, я сейчас приведу некоторые примеры — не в порядке их важности и не стремясь к полноте.

Вы все знаете лучше, чем я, что дети, скажем, из Дании могут сесть на велосипеды и весело доехать до Адриатики. Никто не увидит в них «малолетних шпионов». Но советские дети этого не могут! Вы сами можете мысленно развить этот пример (и все нижеследующие) на множество аналогичных ситуаций.

Вы знаете, что Генеральная Ассамблея под давлением социалистических стран приняла решение, ограничивающее свободу телевизионного вещания со спутников. Я думаю, что сейчас, после Хельсинки, есть все основания для его пересмотра. Для миллионов советских граждан это очень важно и интересно.

В СССР качество протезов для инвалидов крайне низкое. Но ни один советский инвалид, даже имея вызов от иностранной фирмы, не может выехать по этому вызову за границу.

В советских газетных киосках нельзя купить некоммунистических зарубежных газет да и коммунистические продаются далеко не каждый номер. Даже такие информационные журналы, как «Америка», крайне дефицитны и продаются в ничтожном числе киосков, расходятся же мгновенно и обычно с «нагрузкой» неходовых изданий.

Каждый, желающий эмигрировать из СССР, должен иметь вызов от близких родственников. Для многих это неразрешимая проблема, например, для 300 тысяч немцев, желающих уехать в ФРГ (к тому же квота на выезд составляет для немцев всего 5 тысяч человек в год, то есть выезд распланирован на 60 лет!). За этим — огромная трагедия. Особенно трагично положение лиц, желающих соединиться с родственниками в социалистических странах,— за них некому заступиться, и произвол властей не знает пределов.

Свобода передвижения, выбора места работы и жительства продолжает нарушаться для миллионов колхозников, продолжает нарушаться для сотен тысяч крымских татар, 30 лет назад с огромными жестокостями выселенных из Крыма и до сих пор лишенных права вернуться на родную землю.

Заключительный акт совещания в Хельсинки вновь подтвердил принципы свободы убеждений. Но требуется большая и упорная борьба, чтобы эти положения акта имели не только декларативное значение. В СССР многие тысячи людей преследуются сегодня за убеждения в судебном и внесудебном порядке — за религиозные верования и желание воспитывать своих детей в религиозном духе; за чтение и распространение (часто простое ознакомление 1—2 человек) нежелательной властям литературы, обычно абсолютно легальной по демократическим нормам, например, религиозной; за попытку покинуть страну; особенно важна в моральном плане проблема преследования лиц, страдающих за защиту других жертв несправедливости, за стремление к гласности, в частности, за распространение информации о судах, преследованиях за убеждения, об условиях мест заключения.

Невыносима мысль, что сейчас, когда мы собрались для праздничной церемонии в этом зале, сотни и тысячи узников совести страдают от тяжелого многолетнего голода, от почти полного отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств (витамины и лекарства запрещено пересылать в места заключения), от непосильной работы, дрожат от холода, сырости и истощения в полутемных карцерах, вынуждены вести непрестанную борьбу за свое человеческое достоинство, за убеждения против машины «перевоспитания», а фактически слома их души. Особенности системы мест заключения тщательно скрываются, десятки людей страдают за ее разоблачение — это лучшее доказательство реальности обвинений в ее адрес. Наше чувство человеческого достоинства требует немедленного изменения этой системы для всех заключенных, как бы они ни были виновны. Но что сказать о муках невинных? Самое же страшное — ад спецпсихбольниц Днепропетровска, Сычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, Ленинграда, Ташкента...

Я не могу сегодня рассказывать конкретные судебные дела, конкретные судьбы. Есть большая литература (я обращаю здесь ваше внимание на издания

издательства «Хроника-Пресс» в Нью-Йорке, перепечатывающего, в частности, советский самиздатский журнал «Хроника текущих событий» и издающего аналогичный информационный бюллетень). Я просто назову здесь, в этом зале, имена некоторых известных мне узников. Как уже вы слышали вчера, я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира.

Вот некоторые известные мне имена: Плющ, Буковский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Калинец-Стасив, Ирина Сеник, Нийоле Садунайте, Анаит Карапетян, Осипов, Кронид Любарский, Шумук, Винс, Румачик, Хаустов, Суперфин, Паулайтис, Симутис, Караванский, Валерий Марченко, Шухевич, Павленков, Черноглаз, Абанькин, Сусленский, Мешенер, Светличный, Сафронов, Роде, Шакиров, Хейфец, Афанасьев, Мо-Хуи, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергиенко, Антонюк, Лупынос, Рубан, Плахотнюк, Ковгар, Белов, Игрунов, Солдатов, Мяттик, Юшкевич, Кийренд, Здоровый, Товмасян, Шахвердян, Загробян, Айрикян, Маркосян, Аршакян, Мираускас, Стус, Сверстюк, Кандыба, Убожко, Романюк, Воробьев, Гель, Пронюк, Гладко, Мальчевский, Гражис, Пришляк, Сапеляк, Калинец, Супрей, Вальдман, Демидов, Берничук, Шовковый, Горбачев, Верхов, Турик, Жукаускас, Сенькив, Гринькив, Навасардян, Саартс, Юрий Вудка, Пуце, Давыдов, Болонкин, Лисовой, Петров, Чекалин, Городецкий, Черновол, Балахонов, Бондарь, Калиниченко, Коломин, Плумпа, Яугялис, Федосеев, Осадчий, Будулак-Шарыгин, Макаренко, Малкин, Штерн, Лазарь Любарский, Фельдман, Ройтбурт, Школьник, Мурженко, Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менделевич, Альтман, Пэнсон, Хнох, Вульф Залмансон, Израиль Залмансон и многие, многие другие. В несправедливой ссылке — Анатолий Марченко, Нашпиц, Цитленок. Ожидают суда — Мустафа Джемилев, Ковалев, Твердохлебов. Я не мог назвать всех известных мне узников за неимением места, еще больше я не знаю или не имею под рукой справки. Но я всех подразумеваю мысленно и всех не названных явно прошу извинить меня. За каждым названным и не названным именем — трудная и героическая человеческая судьба, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство.

Кардинальное решение проблемы преследования за убеждения — освобождение на основе международного соглашения, возможно,— решения Генеральной Ассамблеи ООН, всех политзаключенных, всех узников совести в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах. В этом предложении нет никакого вмешательства во внутренние дела какой-либо страны, ведь оно в равной мере распространяется на все страны, на СССР, Индонезию, Чили, ЮАР, Испанию, Бразилию, на все другие страны, и потому, что защита прав человека провозглашена Всеобщей декларацией ООН международным, а не внутренним делом. Ради этой великой цели нельзя жалеть сил, как бы ни был долог путь,— а что он долог, это мы видели во время последней сессии ООН. США на этой сессии внесли предложение о политической амнистии, но затем сняли его после попытки ряда стран чересчур (по мнению делегации США) расширить рамки амнистии. Я сожалею о происшедшем. Но снять проблему нельзя. И я глубоко убежден, что лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных.

Не отказываясь от кардинального решения, сегодня мы должны бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости, нарушения прав человека — от этого зависит слишком многое в нашем будущем.

Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать, по моему убеждению, в первую очередь как защитники невинных жертв существующих в разных странах режимов, без требования сокрушения и тотального осуждения этих режимов. Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического использования достижений всех социальных систем. Что это — разрядка? конвергенция? — дело не в словах, а в нашей решимости создать лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок.

Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен. В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более «удачные», чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более «удачные», должны существовать бесконечное число раз на «предыдущих» и «последующих» к нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессознательного существования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадываемой нами Цели.

1/XII-75

Президиуму Верховного Совета СССР, Председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу

Открытое письмо

Копии этого письма я адресую Генеральному Секретарю ООН и Главам государств — постоянных членов Совета Безопасности

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности — об Афганистане. Как гражданин СССР и в силу своего положения в мире я чувствую ответственность за происходящие трагические события. Я отдаю себе отчет в том, что Ваша точка зрения уже сложилась на основании имеющейся у Вас информации (которая должна быть несравненно более широкой, чем у меня) и в соответствии с Вашим положением. И тем не менее вопрос настолько серьезен, что я прошу Вас внимательно отнестись к этому письму и выраженному в нем мнению.

Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев — не только партизан, но, главным образом, мирных жителей: стариков, женщин, детей — крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают непроверенные сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастает, и конца этой эскалации не видно.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а может, сделали вообще невозможной) ратификацию договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылка дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие ранее безоговорочно поддерживающие любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная милитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социалистических областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля.

Я не буду в этом письме анализировать причины ввода советских войск в Афганистан — вызван ли он законными оборонительными интересами или это часть каких-то других планов; было ли это проявление бескорыстной помощи земельной реформе и другим социальным преобразованиям или это вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля истины есть в

каждом из этих предположений. Я лично считаю советские действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета Афганистана. Но и стоящие на другой позиции, как мне кажется, должны согласиться, что эти действия — ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно скорей, тем более что сделать это с каждым днем все трудней. По моему убеждению, необходимо политическое урегулирование, включающее следующие действия:

1. СССР и партизаны прекращают военные действия — заключается перемирие.

2. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, способствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции 104-х ее членов

3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, и соседних с Афганистаном стран.

4. Страны — члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим — одно из условий урегулирования.

5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на международной основе, исключающей его зависимость от какой-либо страны; СССР принимает на себя определенную долю этой помощи.

6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает свои полномочия Временному Совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля.

7. Проводятся выборы под международным контролем; члены правительства Кармаля и партизаны принимают участие в них на общих основаниях.

Мои мысли, конечно, не более чем возможная основа для обсуждения. Я понимаю трудность проведения этой или аналогичной программы. Однако какой-то политический выход из возможного тупика должен быть найден. Продолжение и тем более дальнейшее усиление военных действий приведет, по моему убеждению, к катастрофическим последствиям. Быть может, мир именно сейчас находится на перепутье, и от того, как будет разрешен Афганский кризис, зависит весь ход событий ближайших лет и даже десятилетий.

Я также считаю необходимым обратиться к Вам по другому наболевшему для страны вопросу. В СССР за без малого 63 года никогда не было политической амнистии. Освободите узников совести, осужденных и арестованных за убеждения и ненасильственные действия, за попытку осуществить свое право получать и распространять информацию, право на свободу религии, на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны, право на ассоциации. В их числе — участники информационных, правозащитных и дискуссионных журналов, члены Хельсинкских групп, участники религиозных и эмиграционных движений. Такой гуманный акт властей СССР способствовал бы авторитету страны, оздоровил внутреннюю обстановку, способствовал международному доверию и вернул бы счастье во многие обездоленные семьи.

Я прошу Вас известить меня о получении и расследовании этого письма по адресу: Горький, 137, проспект Гагарина, 214, квартира 3. Я силой вывезен в Горький в январе 1980 года и считаю это абсолютно незаконным. Я до сих пор не знаю даже, какая инстанция или кто персонально приняли решение об этом. Вот уже много лет каждое мое общественное выступление приводит к репрессиям против моих близких, оказывающихся таким образом заложниками. Сейчас в этом положении Елизавета Алексеева — невеста сына, вынужденного эмигрировать два с половиной года назад. Она не получает разрешения на выезд к любимому, подвергается угрозам и шантажу, клевете в прессе. Личная драма двух молодых людей используется с целью давления на меня. За мои действия и выступления ответственность должен нести только я (в том числе и за это письмо). Практика заложничества — недопустима для любой группировки или отдельных лиц, тем более недопустима и недостойна для государства. Я повторяю здесь свою просьбу помочь выезду Елизаветы Алексеевой.

Андрей САХАРОВ,
академик, лауреат Нобелевской премии Мира.
Горький, 27 июля 1980 года.

Публикация Е. БОННЭР

Илья ПОЛЯК

Песни задрипанного ДПР

ПОВЕСТЬ

Нынешнего читателя удивить трудно. Но Илья Поляк, родившийся в 1937-м, вместе с семьей претерпевший все, что претерпевала страна, и не стремится к этому. Ни удивить, ни напугать, ни выбить слезу... История десятилетнего ленинградца, попавшего с братом и сестрой в детский приемник-распределитель, рассказана просто и жестко. Тут веришь каждому слову и, больше того, веришь, что автор ничего не утаил, ничего не упустил в угоду ложно понятому приличию или беллетристическим канонам. Он и себя не щадит, рисует таким, каков был, удерживаясь от соблазна приукрасить задним числом собственную персону. Или хотя бы пожалеть — со взрослой мудрой колокольни. Нет, только выговориться... Только не унести с собой...

Так пишут обычно свою первую книгу. Так пишут последнюю свою книгу. Пишут, как живут,— один-единственный раз.

Руслан КИРЕЕВ.

1. Половодье

В полусонном сознании стыло ощущение надвигающегося несчастья, и только когда пригородный поезд нервно дернулся, загромыхал буферами, притормаживая у высокой платформы, притаившийся страх ожил и пробежал ознобом по телу. Выбираясь из душной утробы вагона, я пытался усмирить частые толчки сердца и подрагивание пальцев, скрыть сминавшую меня тревогу.

Поток пассажиров, запрудивший перронное русло, подхватил нас и, омывая здание вокзала, понес к массивным чугунным воротам.

Я с сестренкой шел вслед за женщиной в линяло-бордовом пальто, тянувшей за руку моего брата. Иной раз мы натыкались на ее мягкий широкий зад, и тогда кисловатый запах пота и лекарств ударял нам в ноздри.

За воротами толпа быстро поредела: люди торопились по своим делам. Мы свернули в пустынный узкий проулок, сжатый с обеих сторон высокими домами. Рядом был вокзал, слышался лязг вагонов, шипение и кашель паровозов, возбужденный гомон толпы, а здесь безлюдье и тишина.

Из-за угла показалась мама, ее сопровождали двое — мужчина и женщина.

— Прощайтесь, — спокойно приказал мужчина, подходя к нам, и обратился к женщине в бордовом пальто: — На Песочную?

— Да, — коротко кивнула она. — В Кресты?

— Да.

И в том, что маму везли отдельно от нас, в другом вагоне, и в том, что остановились мы, по-видимому, в заранее условленном месте, и даже в этих деловито-кратких репликах сопровождающих чувствовались обыденность и скука привычно совершаемого ритуала.

Сдерживая рыдания, мама с лихорадочной торопливостью прижала к себе маленькие головки сестры и брата, целовала и целовала их исступленно, отчаянно. Потом повернулась ко мне.

Темный с проседью завиток спадал на ее лоб. И сейчас же свет и тьму заслонили огромные, полные прозрачных слез глаза. В них бились невыносимая боль и тоска...

Эта давняя, застывшая в памяти боль иногда оживает, разгорается, выжигая горечью и печалью случайные ростки безмятежности и благодушия. И тогда слышу, как дрожащие губы мамы безнадежно шепчут:

— Ты теперь старший. Смотри за ними!

— Время! — гремит неумолимая команда, и немые спины заслоняют искаженное болью дорогое лицо. Три темных, сливающихся силуэта плывут на фоне белесого неба и вдруг пропадают за серой стеной. Все! Лишь недобрая пустота в груди, мамины слезы на моих щеках да равнодушие в глазах сопровождающей.

На остановке трамвая в меня пытливо и доверчиво вглядывались две пары родных заплаканных глаз. Я держался, не пикнул, хотя слезы душили. Я держался и тогда, когда красный трамвайный вагончик с металлическими барьерами-дверцами покатил вдоль нескончаемой череды домов. Барьерчики были составлены гармошкой у входа. В открытые дверные проемы тянуло сквозняком.

Предчувствие беды сжимало душу еще с раннего утра, когда мама хлопотала над нами, совала остатки черствого хлеба, натягивала разномастную одежонку. На меня поверх рубашки и свитера она напялила трофейную лисью шубейку, купленную по дешевке у демобилизованного солдата. Сейчас, в трамвае, мне не терпелось скинуть жаркую шубейку и поскорее добраться до места — своего нового обиталища, в котором предстояло жить долгие годы.

Пытаясь отвлечься от горьких мыслей, я принялся читать вывески. Читал по складам:

— Га-стро-ном. Ап-те-ка — это понятно. Но что такое «Оптика»? Наверное, тоже аптека, только ошиблись в написании?

Сестра притулилась рядом, посматривая мне в рот с доверчивым уважением: читать она еще не умела.

Людные жилые кварталы сменились заводами и пустырями. Проурчал грузовичок, вывернула из-за угла легковушка, промелькнул одинокий прохожий, процокал ломовик. Мы сидели молча, пригорюнившись, и оживились только однажды, когда в развалинах увидели копошившихся пленных немцев.

Усталые, мы вышли на пустынной набережной у темной громады моста. Маслянистая темень воды зыбилась и вспухала буграми, полизывая замусоренный песчаный берег. Закопченный буксир со связкой плотов усердно выгребал против течения, густо дымил.

Мы подошли к проходной с табличкой:

ДЕТСКИЙ ПРИЕМНИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ДПР)

Управление Министерства Внутренних Дел (УМВД)

Вдоль просторного коридора выстроились два ряда белых больничных дверей. У одной из них мы понуро ждали решения своей судьбы. До нас доносились препирательства: напористый голос нашей провожатой и чьи-то резкие ответные реплики. Вдруг издалека выплеснулся глухой детский галдеж, и сразу же зачастила упругая топотня множества ног. Орава стриженых мальчишек высыпала в коридор и ринулась к одной из закрытых дверей. Задние напирали, дверь распахнулась, послышалось гулкое бряканье посуды, вкусно потянуло горячими кислыми щами.

Из толпы послышались недовольные выкрики:

— Снова щи, хоть портянки полощи!

— На второе перловка!

Столовая легко поглотила ребят, а к нам вышла расстроенная провожатая с незнакомой женщиной. Женщина размахивала рукой и убежденно доказывала:

— Начальство то же скажет. И приемник, и колония переполнены. На кроватях спят по двое. К тому же карантин. Не можем принять!

— Дождемся начальства. У меня направление. Не имеете права!

— Зря время теряете. Если б одного привезли, а то...

— Так маленького возьмите. Он устал, спать хочет. С утра маемся.

— Еще с блокады было указание — братьев и сестер не разлучать!

— Дак то про блокадных сирот, а эти...

— Не можем, поймите!.. Дети пусть во дворе подождут, здесь нельзя.

Темная туча с белой рваной каймой волочилась низко над крышей. Ветер гулял в вышине, но к нам во двор не задувал. Сопровождавшая нас женщина куда-то скрылась, а мы остались одиноко сидеть на скамейке напротив широкого балкона, огражденного балюстрадой с лепными балясинами.

Балкон поначалу пустовал, но вскоре на нем показалась группка девочек в одинаковых серых платьях. По-видимому, они оставили открытой дверь во внутреннее помещение. Оттуда послышалось тягучее пение:

...А по углам четыре башни, посередине дом большой.
Это не дом и не больница, а настоящая тюрьма.
Сидел там мальчик православный, да лет семнадцати дитя.

Голос звучал так чисто и жалостно, что я невольно привстал, рассматривая женские фигурки, теснившиеся на балконе. Одна из них, перехватив мой любопытный взгляд, скорчила гримасу. Я смущенно отвернулся и, не поднимая головы, сосредоточенно вслушивался в печальную, безнадежную песню-плач. Девушки тихо подпевали красивому, долетавшему из глубины комнаты голосу:

Я живу близ Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток,
Я живу без нужды и без горя,
Строю новый стране городок...

— Колонистки, обедать! — прервал песню повелительный окрик. Балкон опустел.

Вернулась наша сопровождающая, и мы устало поплелись за ней. Обедали в милиции, потом потерянно мотались по Ленинграду на трамваях. Побывали еще в двух ДПР, и в каждом раздраженная неудачами провожатая требовала зачислить нас. Но везде не хватало мест, везде ее напористость и запальчивые угрозы натыкались на непробиваемый карантинный барьер. Начальники всех ДПР как будто сговорились нас не принимать.

— Вот морока! Свалились вы на мою голову! — негодовала озабоченная женщина, устало отдуваясь и вытирая лоснящееся от пота лицо. — Куда вас девать? Одного бы давно спихнула...

Мы потерянно и робко жались друг к другу. Братишка совал мне в руку свою горячую ладошку, а в трамвае, прислонившись к моему плечу, уснул. Сестренка выжидательно заглядывала в глаза, молчала понимающе: виноваты, ничего не попишешь.

Заморенные, в полусне поздним вечером добрались до нашего дачного поселка и заночевали в детской комнате милиции.

Следующие два дня были безотрадно похожи на первый: сурово и бесстрастно нас выпроваживали из переполненных приемников.

Брат умаялся и ныл, когда приходилось топать пешком. Скисла и похныкивала сестренка. Я, старший, старался держаться, понимал: стоит распустить нюни, и брат с сестрой поднимут рев. Но и я чувствовал: силы мои на исходе. Изматывающая одурь туманила сознание.

И дозволили нам отдохнуть.

День, проведенный в детской комнате, запомнился нам обильной кормежкой. Мордатые, благодушные милиционеры вызывали доверие. Один из них приволок нам полный поднос тарелок с дымящейся кашей и кусками хлеба. Горячая тяжесть в раздувшихся животах успокоила: если так будут кормить — жить можно!

Горемычной стайкой бродили мы по улочкам, пока не притопали к своему дому. Нашу убогую клетушку опечатали. Никто с нами не заговаривал, даже не улыбнулся, — лишь невидящие взгляды вскользь, в спину. В этом знакомом мирке мы оказались чужими и ненужными. Только дворовая псина, только она взорвалась невоздержанной радостью, ласкалась и целовалась, как с близкими, и так усердно махала хвостом,

что весь зад крутился вместе с ним. Она увязалась следом и, понурив морду, до вечера добровольно таскалась за нами.

Доброта собаки согрела нас последним теплом.

Утром наша унылая, осточертевшая всей милиции компания пополнилась двумя мальчишками и маленькой цыганочкой.

Поспешные сборы — и поезд снова помчал нас на поиски приюта.

2. ДПР

— Здесь очень трудные дети, — говорила начальница детского приемника нашей провожатой. — Добрая половина из концлагеря, во время оккупации он был рядом, за городом. Некоторые из неметчины вернулись. Понимаете, какова обстановочка? Может, передумаете, другой приемник поищете?

— Что вы! В ленинградских карантин. И мест нет.

— И у нас нет. Ума не приложу, как новеньких устроить.

— Берите, обратно с ними не поеду!

— Ладно, — сдалась начальница. — Документы на всех есть?

— Пожалуйста.

Мы устроились рядком на обшарпаниом кожаном диване. Сидели сковано, не ерзая: чуть шелохнешься, его продавленная утроба недовольно взвизгивала.

Допрос учиняла начальница. Белый халат плотно охватывал ее дородную стать, студень необъятных грудей разлился по письменному столу, по пачкам разлинованных анкет.

— Фамилия?.. Кличка?.. Происхождение?.. Национальность?.. Был в колонии?.. Кто из родственников был под судом и следствием?.. Был ли в плену или на оккупированной территории?.. Где родители?..

Обычная анкета, не всегда понятные и потому казавшиеся каверзными вопросы, въедливая манера выспрашивания. Запнешься — холодные дробинки глаз хмуро выстреливают в тебя, плоское, с выпирающими скулами-картофелинами лицо подозрительно замирает, становясь похожим на стоящий в углу металлический сейф. Начальница листает документы, сличает, медленно шевелит мясистыми губами, вырисовывая каждую буковку.

Я робел под ее неуютным взглядом, боязливо поджидал роковое слово «тюрьма» и не мог уразуметь: что значит «оккупированная»? То же, что и блокада? И о родственниках мало что знал. О некоторых слышал от мамы, кажется, один из них был осужден. На вопрос о родственниках, замирая от стыда, отрицательно качнул головой. Тут же пожалел: разнюхают, нагорит за вранье.

У девятилетнего мальчишки, Толика, мама тоже сидела в тюрьме, и это несколько ободрило и успокоило меня. Пацан постарше по кличке Дух удрал из какого-то приемника. Порой начальница прерывала допрос и надолго исчезала. Оформление тянулось нудно, как строгий обряд посвящения в неведомое праведное братство. Я прел в своей лисьей шубе, поглядывал в окно и думал о необходимости немедленно выслать тетке наш адрес, как было условлено с мамой.

...В этот город мы прикатили час назад. Рваный лик войны проглядывал отовсюду. Квартал разметанных взрывами строений краснел обширными россыпями битого кирпича. Черные проплешины застарелых пепелищ с закопченными культями печных труб щетинились реденьким бурьяном и прущими вверх ярко-сиреневыми цветами. Одичавшие палисадники заросли густыми кустами облетавших акаций и непролазными дебрями бузины.

Кое-где в этом хаосе чернели расчищенные островки огородов, белели венцы новых срубов и ребра непокрытых стропилин. Попахивало смолистой мякотью свежетесаной сосны. По расхлябанному настилу деревянного моста мы перешли затянутую водорослями речушку. Сразу за мостом, на пологом береговом склоне, раскинулась обширная усадьба, обнесенная редкой городьбой зеленого штакетника. От скособоченных, широко раздвинутых ворот дорога вела в глубь двора к двухэтажному деревянному дому с нависшими над крышей кронами деревьев.

По двору разбрелись неказистые подслеповатые постройки. Крохотная халупа, рубленная из толстых черных бревен, жалась к ограде слева от ворот. На ее сколоченных из горбылей дверях висела продолговатая полоска бумаги с надписью: «ИЗОЛЯТОР». Из окна канцелярии эта полоска белела светлым пятном на потемневшем от времени дереве.

Пепельно-серый дом, обветшалые серые сараюхи, серая земля, усыпанная истлевающими серыми листьями, нагоняли серое отупение. Что б ни сулил нам этот дом, выбирать не приходилось, и я с надеждой подумал: только бы приняли.

Тем временем в канцелярию пришаркала согбенная старушенция с продавленной переносицей и запавшими глазами.

Покончив с трудами праведными и выудив из нас все сведения до третьего колена, начальница приказала:

— Тетя Дуня, обработайте детей! Этих, — кивок в сторону сестры с братом и цыганочки, — в младшую группу.

«Страхолюдина», — думал я, пока расторопная тетя Дуня обрабатывала нас в баньке за домом. Блестящей машинкой она ловко и быстро остригла всех наголо, потерла мочалкой спины, раздала чистое бельишко с черными расплывшимися штампами «ДПР».

Я избавился от своей шубы и влез в серую казенную форму. Тоненькая бязевая рубашка с черными металлическими пуговицами и широченные шаровары из ситца сидели на мне мешковато, но чувствовал я себя легким перышком, способным воспарить к потолку. Сплющенные к носку кирзовые рабочие башмаки радовали новизной.

— В мешки с домашними пожитками не забудьте сунуть записочки с фамилиями, чтоб потом не искать, — гнусавила тетя Дуня. — Польта цепляйте на гвозди.

Я набил три мешка скомканными шмотками и внезапно затосковал: листки с фамилиями показались такими исчезающе маленькими; затеряются — не найдешь.

В приемнике было две группы: мужская, для подростков школьного возраста, и младшая, для девочек и мальчиков-дошколят. Двери обеих групп, столовой и коридора выходили в зал, расположенный в центре первого этажа. Здесь на отскобленном до белизны полу празднично поблескивало черным лаком пианино. Над ним висела в серебристой раме выцветшая картина «Утро в сосновом лесу».

Чувствуя холодок, струившийся по стриженому темени, переступил я порог группы. Она была пуста. Справа до самого потолка возвышалась круглая, обитая железом печка. Над чугунной дверцей топки расползлось прокаленное темное полукружье. Друг к другу впритык стояли растрескавшиеся голые столы с черными щелями. Оспины порезов, неприличных рисунков и похабных надписей испещрили каждый сантиметр их поверхности. Разнокалиберные стулья и табуретки лепились вдоль обшарпанных стен. Спертый воздух пропах табачным дымом.

Всю противоположную от входа стену занимали широкое окно и стеклянная дверь, запертая снаружи на огромный рыжеватый от ржавчины амбарный замок. Окно и дверь выходили на открытую веранду с крыльцом. По-видимому, раньше здесь был парадный вход.

Перед верандой, среди деревьев, кустов и цветочных клумб, обрамленных зубчатыми кирпичными бордюрами, копошились дети. Они сгребали палую листву и жгли ее на костре.

Мы не сразу заметили, что с порога нас пытливо обшаривает пронзительным взглядом светлоголовый шкет с плешинками на темени, совершенно белыми бровями и губами-нитками на острой мордочке. Во взгляде его сквозили наглость и неприязнь, и я поспешно отвел глаза.

— Нагнали фитилей-заморышей, — буркнул он. — И так спать негде... Приказали всех впущать, никого не выпущать!

Комната наполнялась возвращающимися с прогулки ребятами. Здесь было густо намешано пацанвы разного возраста, но большинство выглядело лет на тринадцать — пятнадцать. Выделялся один: здоровенный отечный увалень с тестообразным лицом, узким покатым лбом и всклокоченными лохмами черных волос. Он единственный не был острижен, и в первый момент я принял его за воспитателя, но тут же смекнул, что ошибся: из-под широких бровей его тлели бездумно-холодные узенькие глазки.

— Эй, черти! — крикнул он нам. — Гроши есть?

Я замотал головой. Толик кротко заморгал. Ответил Дух:

— Есть на колу шерсть!

— Где бегал?

— В Харькове.

— Да, ну, халява! И я там бегал, глаз отдам!

На миг выражение его мятой физиономии оживилось. Он неуклюже завертел черной башкой на короткой шее, как бы призывая всех в свидетели такого удивительного совпадения. Внезапно спохватился и нахмурился недоверчиво:

— Заливаешь?! Божись!

— Сукой буду! Век воли не видать!

— Где там балочка, помнишь? — последовала проверка.

Дух сбивчиво рассказывал, как добраться в Харькове от вокзала до базара, а на лохматого верзилу сходило довольство. Он окинул угрожающим взглядом группу и сказал Духу:

— Никого не бойсь. Тронут, ко мне бежи!

— Э, волки! Позырьте! Ну и рубильник! — взвизгнул над ухом светлоголовый шкет и нахально ткнул пальцем в мой выразительный нос. — Откеда, красивый?

Тоскливо засосало под ложечкой, я не мог собраться с духом и молчал.

— Рахитенок к нам затесался, ни бе, ни ме, ни поиме! — глумливо застрекотал светлоголовый.

— Молчишь, пигмей заморенный! — присоединился к поддразниванию лохматый.

Страх перед враждебным окружением охватил меня. И не зря. Лохматый скосоротился и, ухватив мой нос костяшками пальцев, больно дернул:

— Ходячий труп, тяни нос до губ!

Я ошарашенно отпрянул, отбив его руку.

— Да ты ярый, протокольная морда! — Он вывернул губы и громко рявкнул мне в лицо: — Только рахитов нам недоставало!

Что-то оборвалось внутри: этот стопчет просто так, без повода. И из толпы не вырваться, мы обложены, как волчата. На лицах обступивших нас пацанов застыли презрительные гримасы, одна враждебнее другой.

Грохнула распахнутая пинком дверь. В комнату влетел горбатый гномик, придерживая руками отвисший, тяжело нагруженный подол. Горбатый опустился в углу на корточки и вытряхнул на пол кучу мелкой, пыльной картошки.

— Никола, Педя, пособляйте! — с трудом переводя дыхание, позвал он.

Оплывший верзила и светлоголовый шкет принялись торопливо прятать картошку за печку.

Я получил передышку. Ошеломленный таким приемом и беспричинной скоротечной расправой, вытирал потекший нос и жалкие слезы. Подташнивало, дрожали руки. Первое побуждение было — реклануть погромче! Но начинать жизнь на новом месте с жалобы было нельзя. И некому жаловаться. Придется терпеть. Возможно, теперь, когда знакомство состоялось и обряд соблюден, меня оставят в покое? А если не оставят? Приметили слабину и прохода не дадут!

Лохматый Никола, безгубый Педя и Горбатый привольно расположились у печки. Явно — они здесь заправилы: держатся расхлябанно, будто в комнате никого, кроме них. Переговариваются громко, отрывисто, уснащая речь похабщиной и развязными жестами.

— К нам Пигмей прибился, — с заметной угодливостью проверещал Педя.

— В натуре?

— Клык отдам! — Педя рванул зуб ногтем большого пальца, брезгливо растянув тонкие губы. — Зырь, вон!

Горбатый привстал и повел вокруг сморщенным рыльцем. Был он тщедушен, косоплеч, с несуразно длинными мослатыми руками. Водянистые глазки сверкнули цепко и недобро.

— Пигмей труский, лик плюский, совсем русский! — осклабился он вызывающе и обложил меня матом.

Недоброе внимание Горбатого всколыхнуло страх.

Я невольно сжался и потупился, подавляя нервную дрожь. Мне не нравилось рассматривать увечных и больных. То ли я считал это неприличным, то ли опасался ненароком обидеть и без того несчастных людей. Еще неприятнее было встречать их ответный взгляд. Взгляд же Горбатого был не просто неприятен, он таил в себе угрозу, давил и оскорблял.

Никола набил полную топку дров, вздул огонь. Подымив, осиновые поленья занялись неярким, шипящим пламенем.

За окном темно-фиолетовая туча драконом ползла к предзакатному солнцу. Лучи солнца дробились и играли золотистыми бликами на стеклянной глади реки. Пыльная дорога, по которой мы притащились в ДПР, кралась к серому горбику деревянного моста, а левее, на другом берегу, над разрушенными домами и пегими купами деревьев, одиноко маячил грязно-зеленый купол колокольни. Он торчал, как часовой, стерегущий этот отвоевавший, отстрадавший городок.

«Церковь уцелела», — подумалось с тихой радостью. Видимо, построена очень прочно. Вот где прятаться от бомбежек и обстрелов.

Справа, за излучиной реки, расстилалось плоское заречье с низкими пойменными лугами. Бурые подпалины испятнали увядающие луга, далеко у горизонта окаймленные темной полоской леса.

Открывшийся из окна простор был чист и широк, хотелось всматриваться в его бескрайнюю даль, не отрываясь. Солнце исчезло в чреве тучи-дракона, огнем запалив ее кайму. День догорал багровым заревом.

Призывное треньканье звонка возвестило о времени кормежки.

— На линейку, малокровные! — всплеснулись обрадованные голоса сорвавшихся с мест ребят.

Все хлынули в зал, галдя, выстроили неровный живой частокол стриженых голов. Голос Горбатого проверещал:

— Кто последний? Я за вами брить на попе волоса!

Мы, новенькие, замкнули строй. Рослый мальчишка с едва пробившимися темными усиками бойко рапортовал воспитательнице:

— Группа построена на линейку перед ужином! Староста Захаров.

Гуськом потянулись в столовую.

Два громоздких, составленных буквой Т стола распростерлись на всю комнату. Их опоясывали грубые, топорно сработанные скамейки.

На ядовито-сизых досках столов теснились ровные ряды алюминиевых мисочек с размазанной по донышкам перловкой, залитой жиденькой мучной подливкой. Возле мисочек лежали тоненькие, строго взвешенные порции влажного, ноздреватого ржаного хлеба с одним, иногда двумя крохотными довесками.

— Из столовой хлеб не выносить! — предупредила воспитательница. Она ужинала за отдельным столиком в углу.

Настал желанный миг. Глухо, вразнобой заскребли, забарабанили ложки. Кашу уписывали сосредоточенно, не поднимая глаз, а прикончив, насухо вылизывали языками потертые донышки. Трапезу завершили чаем, подслащенным сахарином.

С хлебом расправлялись по-разному. Одни торопливо хватали пайки и жадно запихивали их в рот, другие старательно обкусывали корочку, а кисловатый мякиш боязливо хоронили за пазухи или в карманы.

Горбатый демонстративно глянул на кухню сквозь поднесенный к глазам почти прозрачный хлебный ломтик и негромко изрек:

— Видно, как повар обжухивает!

Его поддержали приглушенными выкриками, в которых сквозили озлобление и страх.

— Навар гребет.

— В шалгун к начальнице!

— Поладили, падлы!

— Он ей, она ему!

Словно услышав ребячьи реплики, из кухни выплыл малиновощекий огромный брюхан. Под съехавшим набекрень тюрбаном поблескивало потное бритое темя, а из-под замусоленного передника выглядывала

расстегнутая мотня. Повар невозмутимо обогнул столы и, не взглянув на нас, как будто столовая была пуста, скрылся в зале.

Перестук ложек затих. Блаженные мгновения скудного ужина истекли.

Секунда за секундой, словно капли воды из ржавого крана, просачивались через мой утомленный мозг впечатления первого вечера в приемнике.

Тонкий волосок лампочки, прикрепленной к стене над дверью, еле тлел в сизых сумерках. В глухой норе копошилась, попискивала живая масса ребят, предоставленных самим себе.

Охаяниый и униженный, устроился я на подраненном колченогом стуле. От избытка впечатлений, незнакомого окружения, новых звуков и запахов голова шла кругом. Одолевал сон, но я крепился и украдкой всматривался в диковинный мирок, казавшийся значительным, сплоченным непонятным мне прошлым.

У окна мальчишки резались в фантики. Прерывистый гул их голосов вплетался в ровный гуд печной трубы. За приоткрытой дверцей топки опадало пламя, бурые головешки покрывались черным налетом. Горбатый расшуровал, раздолбал их кочергой, высекая снопы искр, потом разгреб жар и в дотлевающие угли и горячую золу побросал и зарыл картошку.

«Чужой я здесь, совершенно чужой», — подумалось тоскливо.

Рядом склонился над пухлой книгой рыжеватый мальчишка с оттопыренными ушами. Он был чуть старше, но не казался опасным. С ним изредка заговаривали ребята, обращаясь по кличке Царь: фамилия его была Царев.

В уши назойливо лезло повторяемое на разные лады имя «Никола», и вскоре я догадался, что всю тройку кличут Николами: Никола Большой, Никола-Педя и Никола Горбатый. Была еще пара Никол помладше. Сплошные Николы — по-свойски и просто, мне бы такое имя вместо оскорбительных и унизительных кличек.

— Слышь, Дух! Я в Харькове с урками спознался, — мотнул Никола Большой плоской, слегка раскосой мордой. — Подфартило, лабаз огребли. Хлеб, бацило, консервы — невпроворот! Нарубались — не шелохнуться, гадом буду! Неделю гужевались. Покемарим — и снова штефать. Да наследили, попухли. Замели нас менты, повязали — и в воронок! Жратвы осталось — уйма!

Речь Николы, уснащенная матом, походила на лягушечье кваканье.

Дух приоткрыл рот, завороженно, с немым восторгом погружаясь в сказочные прелести вольной жизни.

— А потом? — с нетерпением спросил он.

— Упекли баланду с заварухой хлебать. — И, завершая ритуальные откровения ритуальной же угрозой, Никола устрашающе бросил группе: — Слягавит кто, из земли выну! Раздавлю, как мокрицу!

Пока Никола «выступал», мне припомнилась давняя мамина знакомая, которая опухла после блокадной голодовки и так и не поправилась, оставшись серокожей, рыхлой. Пожалуй, Никола выглядел еще хуже. Его бугристое лицо отдавало нездоровой желтизной, набрякшие подглазья сползали на щеки, уголки мутных глаз сочились гноем.

Окружающая троицу ватага внимала Николиным рассказам с откровенным восхищением.

Лишь рябоватый Царь не поднял головы от книги. После ужина он выудил из кармана хлебный мякиш и принялся давить его в ладонях, пока не скатал плотный глиняный комочек. Не отрывая глаз от страниц, Царь размеренно и привычно мял катышок, как тесто. Иногда, не глядя, откровывал микроскопические щипки и, смакуя, сосал их. Осторожно, словно побаиваясь, мяли хлеб и другие ребята, изредка трогая пальцем сдавленный комок и подолгу слизывая налипшую крошку.

Погас огонь в печи. Священнодействуя, Горбатый принялся выкатывать из золы обугленные клубни. С сухим потрескиванием они падали на прибитый к полу металлический лист.

Группа замерла. Десятки собачьих глаз, одни с нетерпеливым ожиданием, другие с тоскливой безнадежностью, впились в черные картофелины.

Кто-то не выдержал, привскочил и придвинулся поближе. Несмело, потом громче, вразнобой нестройный хор заканючил:

— Дай куситы!

— Оставь малости! Корочку горелую!

— Махнем на пайку! С обеда вынесу, сукой буду!

— Дай пошамать!

— Подкинь картохи! Падлой буду, не забуду!

Попрошайки выклянчивали подачки, а Горбатый фальшиво мурлыкал:

Падлой буду, не забуду этот паровоз,
Поломало рунн-ногн, оторвало нос!

И делил печеную картошку.

По картошине перепало трем-четырем избранным, льнувшим к троице весь вечер. Оделили и Духа, хотя он не цыганил унизительно, как другие. Львиная доля досталась троице: Николе, Педе и Горбатому.

Обжигая пальцы, они надламывали дышащие горячим парком клубни, припадали к ним губами и, оберегая каждую крошку, втягивали в себя и рассыпчатую, пропеченную мякоть и горелую кожуру.

Никола жадно почавкивал, оглядывая краем глаза тянущих руки пацанят, как бы вспоминая и взвешивая их заслуги. Изредка отрывал измятые корочки и скармливал им. Но не всем. Иным он хмуро бурчал:

— Отвали, курва! Жуй свою пасты! А ты, глот, не подчаливай! Не обломится!

Облизывал черные пальцы, вытирал их о темя ближайшего попрошайки, скалился:

— Люблю повеселиться, особенно пожраты!

Горбатый широко растягивал выпачканные губы, шамкал, обнажая десны и выкрошившиеся зубы. Физиономия его была такой же искривленной, как и тело. Ел он быстро, но успевал огрызаться:

— Ху-ху не хо-хо, лизоблюд кукуйский?!

Поиздевался над кем-то, надломив руку в локте:

— На...
Конце сидела вошь.
На...
Понюхай и положь!

Насытившись, Горбатый покровительственно кивнул двум мальчишкам. Прижимисто прикрывая свое богатство и набивая ему цену, он выторговал по пайке с каждого, отдав взамен по картофелине.

Педя отвернулся к стене и пировал в одиночку. С побирушками собачился нервно и зло:

— Не шакалы!.. Бортиком, бортиком!.. Перебьешься!.. Компот рубай, он жирный!

Неприятны были и попрошайки, и дарители, но хоть ослепни: ноздри чуют дурманящий аромат, рот заливает слюной, и рождаются тоскливые мысли, и сам себя ощущаешь несчастным заморышем, заброшенным в чужую, недобрую стаю.

Но детские силенки не безграничны. Глаза слипались, спать хотелось больше, чем есть.

Картошка съедена. Втягивая в рукав пальцы с мерцающим чинариком, Никола выдувал к потолку мелкие колечки дыма и сосредоточенно поплевывал крошками махры. Отряхивал пепел кому-то за шиворот, блаженно мурлыча:

Чтоб как-то жить, работала мамаша.
Я потнхоньку начал воровать...

Никогда не слыханная песня, потом еще одна. Пела троица и ее прихлебатели. Измочаленный бесконечным днем, я клевал носом под разноголосое выстанывание. Смысл песен шел мимо сознания, но дурман блатной тоски пленял и околдовывал.

Отбой!

Под предводительством воспитательницы мы поднимались по осклизлым ступеням деревянной лестницы. Подозрительно пованивало. Пролет взбегал круто, и я боялся оскользнуться вниз.

На верхней площадке было две двери: прямо и направо. Последняя привела нас в маленькую безоконную прихожую, соединенную пустым

дверным проемом с длинной, как кишка, спальней. Три широких окна темно блестели вдоль правой стены. Свободных мест здесь не нашлось. Мы вернулись на лестницу и через другую дверь вошли в просторную квадратную палату — женскую спальню. Девочки были в постелях, и я заметил, что сестренку уложили вместе с цыганочкой.

Пройдя еще дальше, мы оказались в комнате поменьше, занимаемой мальчиками младшей группы и теми из старшей, кому не хватило мест в первой спальне. Почти все спали по двое, и я лег с братом, юркнув под простыню, заляпанную черными штампами «ДПР». Свет низко свисавшей с потолка лампочки, мерцая, поплыл перед глазами мутно-желтыми кругами. Тревожный, тяжелый сон навалился мгновенно, словно беспамятство.

3. Пробуждение

Неразборчивый говор, возня, пение врывались в бессвязные картины сна. Сон не отпускал, держал крепко, и я продирался в явь с усилием, ломая мешанину невнятных видений.

Тишина и неподвижность ночи удивили меня. Пошатываясь, побрел к параше. Переполненная бадейка плавала в смердящей луже. Ручейки потеков уползали далеко под кровати.

«Не подступиться»,— посетовал я и устремился в уборную. На лестнице, пахнущей холодной затхлой сыростью, взгляд утонул в сплошной тьме. Как слепой, ткнулся я вправо, влево, нащупал перила и, поеживаясь, остановился в нерешительности: спускаться вниз полусонному, впотьмах,— на такое трудно отважиться. Поколебался секунду и поступил естественно и непристойно, пустил струю в пролет на ступени, перила, стены — куда попало. Спешил, замирая от стыда, страха обмочить когонибудь внизу и быть пойманным на месте преступления.

Ковыляя обратно по проходу женской спальни, почуял недоброе и поднял глаза: полураздетый Никола, позевывая, сползал с постели. Рядом по подушке разметалась копна спутанных женских волос. В груди шевельнулись тошнота и жуть: рядом сестренка, он может залезть и к ней.

Вернулся к себе, лег, но сон уже ушел. Я всматривался в сизый сумрак оконных проемов, чутко прислушивался к малейшему шороху за дверью. Было тихо, только брат посапывал да Толик сладко причмокивал губами на соседней койке.

Не привиделся ли мне Никола спросонок?..

Я вынырнул в очередной раз из-под кроватей и, пыльный и грязный, замер потерянно посреди спальни. Поиски напрасны! Сомнений больше не оставалось: выданную мне чистенькую одежонку ночью украли. Со спинки моей кровати свисали замызганные, без поясной резинки портки и засаленная рубашка с протертыми локтями. Стоптанные, разбитые чоботы валялись в проходе.

Комната быстро пустела, ребята торопились на зарядку. Разбитной плюгавенький шкет больно ткнул меня в бок и угрожающе прошипел:

— Похерил барахлишко и прикидываешься. Цепляй что есть!

Другой подходя пнул ногой и рявкнул:

— Кончай хипиш! Настучишь — нос откусим, сука!

До меня и самого дошло, что брошенную на спинку койки рванину придется принять взамен чистых шмоток, и по полу я ползал просто так, от безнадежной растерянности.

С отвращением, сдерживая слезы, влез в отрепье, закрепил кое-как штаны и поплелся вниз.

Но приемнику-распределителю сегодня было не до моих бед. Перед завтраком вместе с воспитательницей на линейку явилась начальница и с ходу понесла:

— На картошку позарились! Кто паскудил, мазурики?

Над застывшим строем повисло настороженное молчание.

— Трусите? Воровать по соседству мастаки? И у кого? Муж и сын этой старухи погибли. Вас защищали! Вашу прекрасную родину! По-хорошему спрашиваю: кто крал картошку?

Строй не шелохнулся. Начальница рыскнула гневным взглядом по непроницаемым лицам, затем крутнулась на каблуках в сторону воспитательницы и, заалев разводьями нервных пятен, сорвалась, взвинчивая себя каждым выкрикнутым словом:

— Так-то вы надзираете детей? Где они у вас ошиваются? Огороды грабят, завтра магазины громить попрут?! Вы что, в богадельне с дармовой похлебкой?

Воспитательница дрогнула и застыла с вымученной гримасой. Тишина воцарилась такая, что из комнаты малышей явственно послышался одинокий слабенький голосишко:

— Что за умница козел! Он и по воду пошел!

Мы понуро вперились в серые доски пола. Было неловко наблюдать замешательство онемевшей женщины. Подумалось: мама бы такого не стерпела.

— Будем сознаваться? Нет? Что ж, поторчите на линейке. Эй, на кухне! Группа наказана, завтракать не будет!

И начальница понесла к выходу свое необъятное, подрагивающее тело. За ней застучала каблуками и всхлипывающая, давящаяся кашлем воспитательница.

«Чего она боится?» — удивлялся я про себя, все еще ощущая неловкость.

Строй всколыхнулся, зашептался и, наконец, загудел.

Горбатый пророчески объявил:

— И этой простушке у нас не светит!

— Отчехвостила ее как шестерку!

— Теперь вытурит, стервоза!

— Что, волки, зубарики заведем! — Горбатый сыпанул чередой грязных ногтей по своим неровным гнилушкам, выбивая частую дробь. Весь строй забелел скособоченными оскалами, зубы зацокали, будто копыта табуна.

Педя, гримасничая, напевал:

> — На рыбалке у реки кто-то стибрил сапоги.
> Я не тырил, я не крал, я на шухере стоял.

Мы стояли, переминаясь с ноги на ногу и подгоняя застывшее время.

Начальница не показывалась. Лишь воспитательница набегала с уговорами и угрозами.

— Злыдни, чего молчите? Все одно дознаемся. Тогда миндальничать не станем. Виновного — прямиком в колонию!

— Заладила: ко-ко-ко, ко-ко-ко! — проквохтал Никола себе под нос.

Женщина не расслышала и продолжала брюзжать:

— Оглоеды несчастные! То дерутся, то воруют! Что за дети такие?!

— Мы дети заводов и пашен! — пояснил Горбатый с издевкой.

— Не кощунствуй!

Все понимали, что и она страдает без завтрака с нами за компанию.

Строй распался. Мы стояли реденькой толпой, готовые в любой момент скакнуть к своему месту. Неровный гул голосов наполнял зал.

«Новеньких за что морят? Мы же только прибыли»,— сокрушался я. Так и подпирало напомнить об этом взрослым. Но Дух и Толик помалкивали, не стоило и мне высовываться.

За окном опавшие листья густо усыпали покатые крыши приземистых развалюх, лепившихся к бесформенной, обвалившейся стене разрушенного кирпичного дома. Солнце почти неподвижно висело над самой стеной, его косые лучи врывались в окна и высвечивали мельтешащие пылью полосы над нашими головами.

Горбатый перекидывался отрывистыми репликами с Николой и Педей.

«Никогда не признается, пусть зудят хоть до вечера»,— подумалось мне.

— Атас! — шумнул кто-то.

Секундная неразбериха, и строй выровнялся.

— По вашей милости срывается репетиция,— завела начальница с порога в той же напористой манере.— Сознавайтесь, а то хуже будет!

— Поклеп это! Лепят напраслину! — пробасил Никола.

Начальница возмущенно присела и отпустила удила:

— Ты, дубина стоеросовая! Привезли раздутого, вшивого, в лишаях!

Знала — не малолетка! Пожалела, приняла!.. По тебе же колония плачет!.. И фамилия, поди, липовая?! Документы твои сыскать не могут!

— Отстань, не блажи! — огрызнулся Никола.

Взбеленившаяся начальница вплотную придвинулась к Николе и так гневно костила его, что казалось, вот-вот вцепится ему в лохмы. Никола, не уступая, отлаивался.

Хвост линейки, где стоял и я, загнулся, и мы оказались за спиной начальницы. Пацаны шипели:

— Николе вину паяет!

— Берет на понт!

Грызня разгоралась, и Горбатый реванул громче:

— Завтрак зажали! Нет такого права!

— Права качать? Я вам права покажу!

— Кажи! Ревизии пожалимся!

— Сидора полные домой прешь!

— Что за ахинея? — Начальница теряла терпение. — Это ты, Большой, всех баламутишь, ты и отвечать будешь! Раздеть его и не кормить!.. Проучить бы тебя палкой, сквозь строй прогнать! Да советские законы мягкие, не дозволяют!

Она сделала шаг к двери, но в этот момент Горбатый слегка выдвинулся из строя и захлопал реденькими ресничками:

— Это я...

— Ты? Ты! Субчик! А молчал! И с этого все снять и не кормить, пока не разрешу!

После обеда Горбатый поделился с Николой пайками, доставшимися в обмен на картошку.

Галдеж в насквозь продымленной группе не стихал долго.

— Накрылся завтрак!

— Жаловаться нужно!

— Дуй в райком за пайком — бодягой накормят!

— Суп из трех круп, крупинка за крупинкой бегает с дубинкой!

Раздраженные голоса наперебой поливали порядки ДПР, перемывали кости начальнице и повару. Начавшийся на линейке скандальный ор то вспыхивал, то гас, но постепенно его смысл стал от меня ускользать, отдаляться, и только, как и вчера, непотребный мат выпадал из общего гуда.

Я немного забылся и приободрился. Моя персона выпала из круга пугающего внимания обитателей ДПР, а о большем пока не мечталось.

И зачесался язык, подмывало завязать с кем-то разговор, услышать если не доброе слово, то хотя бы спокойную речь и, главное, выспросить хоть что-то о ДПР. Я испытующе поглядывал на Царя, костлявого мальчишку, уткнувшегося в книгу.

— Что читаешь? — наконец решился я на вопрос.

Царь прикрыл книгу и показал обложку.

«Железный поток», — медленно разобрал я.

— Третий раз мусолю. Дать почитать?

— Не, — с сомнением покачал я головой, глянув на мелкий шрифт. — Не осилить.

— Здесь мало книг, всего две полки. У нас дома столько стеллажей было... И в коридоре, и в комнатах.

— Ты давно в приемнике?

— С прошлого года. Путевки в детдома приходят редко, и то сперва старших увозят. Нам здесь долго припухать.

— Мы в школу пойдем или прямо здесь будем учиться? — вступил в разговор Толик.

— В приемниках не учат, только в детдомах учат... Толик, ты в школу ходил?

— Да, год. Но читаю плохо. Снова пойду в первый класс.

— Зачем же в первый?

— Только в первом читать учат. И уроков задают мало.

— Я в четвертый пойду, — сказал Царь.

— И зря, — заключил Толик. — Будешь уроки зубрить весь день. Поиграть некогда. Учиться, так опять сначала...

Истекли первые сутки дэпээровской жизни. Сколько их теснится там, в неоглядной дали?

4. Приобщение

Закрутилась череда дней, затренькала желанными звонками на завтрак, обед и ужин.

Я часто заглядывал к малышам. Брат и сестра понемногу приспосабливались к новой обстановке, свыкались с незнакомыми лицами, играли и пели, как в прежнюю детсадовскую пору. Мы не говорили ни о маме, ни о детдоме, приняв случившееся, как принимали до сих пор все: кротко, без капризов.

Довольный тем, что опекать брата и сестру не нужно, ненадолго забывал о своих бедах и я. До первого наскока или окрика. А сыпались они непрестанно. «Рахитенок, Пигмей, Параша, Фитиль...» — то и дело бросал кто-нибудь мне в лицо оскорбительно и угрожающе, и было ясно, что неприязнь нарастает, и с агрессивным окружением никогда не сжиться. Оживал я тогда лишь, когда выпадал из поля зрения заводил.

...Застревая в дверях, орава мальчишек вырвалась из столовой и понеслась в группу. Заядлые игроки нацелились захватить шашки, остальных гнала надежда завладеть заветным местечком у окна, подальше от прохода.

Шашек мне не досталось, зато я проворно угнездился в дальнем, наискосок от печки, углу, в самой гуще ребят. Сзади стена, никто не заденет, не рубанет по шее. Впритык, стискивая плечами друг друга, жалась затурканная мелюзга старшей группы, да напротив ссутулился над книгой Царь.

Зыбкая безопасность тесного курятника взбадривала. И шашечная доска рядом, как на ладони.

Играли на высадку, и меня тянуло вклиниться в живую очередь. Казалось, обставлю любого, весь вечер проведу за доской!

Но горький опыт убеждал в безнадежности этой попытки, да и брошенное место хозяина не ждет! Разжился стулом — пристынь, прилипни, как улитка к раковине. Снимешься или сгонят — будешь болтаться как неприкаянный, попадая под ноги, натыкаясь на кулаки.

С утра настойчиво и неугомонно сыпал спорый дождь. Порывы ветра проносили сквозь открытую веранду распыленную водяную морось и хлестали ею в серый проем окна. Потоки воды медленно стекали по стеклу.

У печки сбилась в кучу элита: троица Никол и пять-шесть приятелей. Пускали чинарик по кругу, сосали до ожога пальцев, попыхивали в топку.

Перекрывая слитную воркотню группы и шум дождя, от печки неслись гогот, смачные угрозы, хриплые междометия, вызывающая матерная божба. От дерганых, ломающихся фигур исходила постоянная опасность. Я горбился, уводил глаза, боясь встретиться с прямым, жаждущим ссоры взглядом. Главное — избежать внимания, не ввязаться ненароком в перепалку, не вызвать наскока. Тогда вечер пройдет мирно.

Горбатый со сноровкой фокусника орудовал финкой, в бешеном темпе тыкая ее кончиком меж пальцев растопыренной на столе пятерни. Пофорсив, примерил лезвие поперек ладони:

— Зырь, два раза до сердца достанет!

Резко метнул финку в пол. Не воткнувшись, она загремела у нас под ногами.

— Спрячь перо, едрена вошь! — прикрикнул Никола. — Нарвешься на воспиталку, не отбояришься!

Горбатый унялся, но ненадолго.

— Положь ладонь на стол, — предложил Духу.

— Нашел чудака! Оттяпаешь палец не за хрен собачий!

— Никола, ты?

Никола охотно припечатал лапищу к щербатым доскам: все пальцы плотно сжаты, только указательный и средний образуют острый угол.

— Зыришь? — ухмыльнулся Горбатый. — Два пальца врозь — значит вор!

Никола расплылся от удовольствия. Потом выудил из кармана пятак, подкинул его щелчком и, поймав, предложил:

— Для затравки: кто умыкнет у меня из кармана — гоню пайку. Ущучу — пайка мне.

Смельчаков не нашлось. Однако пацанье у печки повставало и засуетилось, охваченное пьянящим возбуждением. Крадучись, будто все до последнего малолетки не понимали их намерений, они расползлись по группе, скользя между сидящими, засовывая руки в чужие карманы.

Ну, начинается. Теперь только держись!

Никола вырос за спиной Царя и осторожно, миллиметр за миллиметром, полез двумя пальцами в его нагрудный карман. Искушенный Царь, втянув голову в плечи, посасывал крохи давленого мякиша, обреченно, по-кроличьи тряс губой. Его, конечно, коробило, но, пока не больно, нужно терпеть и помалкивать.

Я сидел как на горячих угольях, неумело пытаясь изобразить безучастного зеваку. Происходящее, напротив, нервировало: чувствовал, что и мне достанется, но еще не знал за что.

Случайно уловил взгляд Царя; поразила его озаренная мыслью сдержанность на фоне тупого прищура верзилы-карманника.

— Не шелохнулся! Охмурел с книгами своими! — закатился Никола клокучущим хохотом. — Пыль с ушей стряхни, лопух! — Он шлепнул пальцами по раскидистым ушам Царя и исподлобья впился глазами в меня. От него резко несло табачищем, его близость гипнотизировала, вгоняла в дрожь.

— Что, отродье отвратное, лыбишься? Егозишь, как на гвозде! — Он навалился на спины и головы ребят и достал меня кулаком. Резко отпрянув, я шарахнулся затылком о стену. Искры брызнули из глаз. Я взвыл от обиды и боли.

— Шварк по сопатке! — одобрительно взвизгнул Горбатый.

Воришки пошманали по пустым карманам, взбудоражили группу: одного смахнули на пол, другого саданули под вздох, третьему «сотворили мазь». Раззадорившийся Никола довольно жмурился.

— Паханы! — призвал он свою ватагу. — Заведем по новой... Дух фигуряет по прошпекту, прядет бровьми. Горбатый лупит наперерез, ломит в него, с понта, конечно. Вы, черти, щипите карты. На, Дух, рассуй колоду по карманам.

Блатной азарт набирал силу. Царь, последив за представлением, шепнул соседу:

— «Оливера Твиста» читал? Там так же натаскивали... — И удрученно замолк.

Наскучила и эта забава. Горбатый извлек пузырек с тушью и иглу, плотно обмотанную ниткой.

Никола приспустил рубашку с округлых бабьих плеч, обнажив рыхлый торс, по серовато-белесой коже которого синими язвами расползлись пятна татуировок. Примериваясь, Горбатый устраивался поудобнее рядом. Потом макнул в тушь блеснувший из-под нити острый кончик иглы и принялся старательно выкалывать на груди Николы контуры солнца с расходящимися прямыми лучами, озарявшими пестрый татуированный мирок, где двуглавый орел, могила и якорь соседствовали с профилями всех четырех вождей один за другим. Вожди задумчиво взирали на раскинутые ляжки голой красотки.

Лицо Николы с прилипшим к нижней губе бычком напряглось: терпел, было больно. Горбатый усердствовал и чванливо, с менторским фарсом вещал:

— Половину тела исколоть — враз кранты! Не выжить, чтоб я сдох!

— Плешь! — возразил Никола. — У нас в ВТК урка был синий по шею. Шкандыбает раздетый, а на заду наколка ходуном ходит: мужик бабу дрючит. Урка в самодеятельности негру представлял, а я плясал.

— Педя, подставляй зад, наведу марафет, — предложил Горбатый.

— Мне и так личит, — отвечал Педя, задирая рукав рубашки и показывая вытатуированный пониже локтя номер. Потом завел, затосковал в упоении:

...В твоих глазах метался пьяный ветер,
И папироска чуть дымилася во рту.
Ты подошла ко мне небрежною походкой...

— Фискалам мы мушки меж глаз наведем, — вдруг заявил с угрозой Горбатый. — Куда потом ни прибороздят: в колонию, приемник или лагерь — не отопрутся, лягавые!

Никола слегка морщился под иглой.

— Кончаю, — сказал Горбатый. — Надо Маню-дурочку уломать рисуночек нанести.

Как всегда, многие ребята бережно давили липучие мякиши. Деловито, по-мужичьи старался конопатый пацан по кличке Лапоть, слепивший катышок чуть больше, чем у других. Видимо, терпел, не рубанул пайки с обеда и ужина, помня, как зверски хочется есть по вечерам. Его теребили назойливые попрошайки, выканючивая щипок.

— Не жмись, Лапоть, дай! До завтра, с отдачей.

Лапоть намертво стиснул катышок, огрызаясь полушепотом:

— Свой сшамал, на чужой заришься, тварюга!.. Не подмазывайся!.. Жирным будешь!

Но попрошайки не унимались.

— Куркулы!

— Скобарь псковской набит тряской!

— Не заедайтесь! Я вас не трогаю!

В этот момент резко подскочил Дух и вырвал у Лаптя мятый катыш.

— На хапок! — заорал довольный налетчик.

Растерянный Лапоть бросился за своими мякишем, но не тут-то было! Хлеб был переброшен Горбатому, затем Николе.

— Отдай! Отдай! — неистово вопил Лапоть. — Моя пайка, кровная!

— Нет ее! Нет! — Дух развел ладонь.

Грабитель и жертва взметнулись в стойку боевых петухов.

— Стыкнемся!

— Стыкнемся!

— Хиляй с дороги! — рявкнул Никола, врезаясь в толпу повскакавших мальчишек и легко расшвыривая их.

— Один на один! До первой кровянки!

Вмиг образовался круг.

— За кровянку не отвечаю! — отчаянно ревануа Лапоть и, зажмурившись, ринулся на таран головой вперед. Перепуганный Дух резко отстранился. Нападающий, промазав, вонзился лбом в грудь Горбатого и опрокинул его.

— А-а-а! — зашелся звериным воем Горбатый.

Никола размашисто саданул Лаптя в лицо и отбросил к печке.

— Блямс! Брык с катушек! — по ходу комментировал он, сохраняя полное самообладание. — Оглоушу! Одной левой...

Бедный Лапоть, забившись меж печкой и стеной, осел на корточки и спрятал лицо в колени, а подоспевший Горбатый люто сек его тараканьими ножками. Потом Никола и Горбатый встали над поверженной жертвой и проорали дружно, как заклинание:

— За кровянку не отвечаю!

Было жутко смотреть на лязгающего зубами мальчишку, когда он ковылял к своему месту растерзанный, с фингалом под глазом, когда горько плакал, уткнувшись носом в рукав рубашки. Предчувствие грядущих бед закрадывалось в сердце: если так избивают своего, дэпээрского мальчишку, то мне, чужаку, предстоят испытания похлеще. На этот раз повезло: Лапоть отвел удар, прикрыл ненароком. Завтра, может быть, мне предстоит разделить его участь...

Ничего, авось пронесет. Поостерегусь... Хорошо, что хоть сегодня надо мной не измывались.

Горбатый задрал рукав рубахи. Ниже локтя на обнаженной мослатой кости, обтянутой синюшной кожей, темнела продолговатая подсохшая ссадинка.

— За кровянку отвечаешь! — выставил он напоказ царапину.

Я украдкой вопросительно глянул на Царя и уловил в ответ едва слышное пояснение:

— За кровянку с него пайки рвать будут. Или бацило.

— Что?

— Маргарин с завтрака.

Тем временем Никола вынул мятый катышок Лаптя, сдул с него крошки махры и разломил на три комочка.

— На зубок не хватит, — посетовал он, передавая приятелям их долю.

Главари вклинились в сидящих и, растолкав ребят, обступили избитого пацана.

— Кровянку зарыл? Завтра гонишь пайку! — Горбатый обхватил Лаптя костлявой клешней. — Зажилишь, сдерем две! И не дрейфь! Тронет кто — скажи!

В группу вошла начальница и недовольно втянула в себя воздух.

— Что происходит? — Быстрым взглядом отыскала меня: — В канцелярию!

Сердце дрогнуло и забилось шальной надеждой: путевки в детдом! Прощай, ДПР?.. Вдруг совсем уж безумная догадка взорвалась в мозгу: маму освободили! Правда всегда торжествует, не могут невиновного человека держать в тюрьме!

Сердце бухало в груди, толкало вперед, и я рванулся к двери как угорелый. Начальница, посторонившись, пропустила меня и осталась в группе.

На знакомом диване зябко ежилась тетя Дуня.

Посредине канцелярии громоздилась женщина-почтальон. Из-под ее вымокшей плащ-палатки выглядывала открытая брезентовая сумка, распираемая торчащими пачками газет и журналов. В руке женщина сжимала серенький треугольник.

— Тебе письмо, — произнесла она громко. — Доплатное, без марки. Стоит рупь.

Я онемел. Что за доплатное письмо? Никогда не слышал.

— Если нет денег, пиши прямо на конверте: адресат от письма отказался.

Почтальонша сунула мне карандаш и продиктовала еще раз. Ничего не соображая, я царапал в просвете двух строк.

— И подпись!

В этот момент до меня дошло, что адрес написан маминым почерком.

Почтальонша заспешила прочь, но я все еще не понимал, что произошло. А когда сообразил, все помертвело внутри. Некоторое время я растерянно стоял, вперившись незрячими глазами в темную лужицу на полу, натекшую с плащ-палатки. Что ж я наделал, тугодум! Хоть бы прочесть попросил долгожданную мамину весточку!

— Зачем звали? — не преминул полюбопытствовать вездесущий Горбатый.

Пришлось все объяснять ехидному человечку.

Навалилось уныние. Как оправдаться перед братом и сестрой? Тупица несчастный! Схватил бы письмо и драпанул подальше: в туалет, под лестницу или в спальню под койки. Прочел бы, адрес запомнил, а там пусть забирают. Письмо-то к маме вернется. Изболится сердцем, изойдет ревом. От этих мыслей проняло окончательно, и я расхлюпался.

Ко мне наклонился Царь:

— Не тужи, все образуется. Получишь еще письмо... Мне бы только шепнули, что мама жива...

Я долго попрекал себя, корил, настраивал на решительную встречу с почтальоншей в следующий раз.

День истлевал, оставляя на душе тяжесть еще и новой утраты. За окном рыдали небеса. Дождь безжалостно лупил по мокрым деревьям и кустам, булькал в лужах. Бурлящий поток срывался с угла крыши в переполненную пожарную бочку. Косые струи, мерцая, омывали черные зеркала стекол, в которых отражались тусклая лампочка, двери, рассыпавшаяся в беспорядке ребятня. Сквозь шум воды что-то высвистывала печная труба. Дребезжали окна, гремела кровля. От страха и голода сосало под ложечкой.

Педя тихо засвистел мотив, потом затянул вполголоса. Ему искренне, жалобно вторили, и скоро вся группа протяжно завыла.

Песня смягчила боль, развеяла страх. Неясная печаль охватила нас. Только в песне можно было пожаловаться на несправедливую участь. Песня, как исповедь, вобрала в себя и горькие слезы, и неотвязную тревогу. Затихло острое подсасывание в пустом желудке. Обманчивый покой снизошел на наши души.

Как изголодавшиеся волчата, уставшие от грызни и драк, мы скулили вразнобой под нестихающий шорох дождя.

Вот умру я, умру я, похоронят меня,—
И никто не узнает, где могилка моя...

5. Ожидание в толпе

Наползала зима. И рассветы, и закаты тонули в мутной серости облаков. Чуть развиднеется к полудню — и сразу же, словно передумав, кто-то опускает на окна непроницаемый занавес тьмы.

Лениво ковыляла череда близнецов-дней, бесконечно растянутых голодом и ожиданием. В наших тупеющих мозгах тлела одна мысль: когда же, когда эвакуаторша привезет путевки в детдом? Мы знали заранее о ее деловых поездках в Ленинград и нетерпеливо гадали: добудет или нет? Когда она возвращалась, нам не сиделось в группе. То один, то другой выскакивал в коридор и робко заглядывал в канцелярию. С замиранием сердца, с молитвенной искренностью ловил безучастные взгляды взрослых, и возбуждение сразу спадало: нет, и на этот раз нет!

С путевками было глухо, но сознание не могло, не желало мириться с безысходностью. И казалось, время текло вспять.

Первые недели на каждый поскрип дверей, громкий возглас в зале я вскидывал голову и ждал: сейчас выкрикнут мою фамилию и прикажут немедленно, безотлагательно, не теряя ни секунды, собираться и спешить на вокзал.

Меня жгло, раздирало и доводило до отчаяния нетерпение. Я не просто ждал, я жаждал, мечтал, призывал и молился бы, если б умел, этим недосягаемым путевкам. Неведомый детдом представлялся райским уголком. Но за всю долгую зиму этот мирок не вобрал в себя и десятка счастливцев.

До нас доходили слухи о долгих мытарствах эвакуаторши в очередях какой-то шарашкиной конторы, ведавшей распределением детей.

Раз за разом она возвращалась ни с чем: выбить путевки в переполненные детские дома было во много раз труднее, чем попасть в ДПР.

Утлый ковчег ДПР дрейфовал во тьме непогоды и забвения. Горизонт сузился и поглотил берега, забившие трюм пассажиры тупели и грезили о чуде. Чудес, как назло, не случалось. Но вопреки всему наивная надежда не гасла, да и выбора у нас не было: оставалось ждать и надеяться.

Дальше в зиму — муторней на душе. Не разобрать, откуда это ощущение глубокого несчастья, изводящая тоска, с которой не совладать, не отогнать даже воспоминаниями. Временами я не находил себе места, с трудом скрывая от окружающих свербящую внутреннюю боль, когда казалось, что ничего больше в жизни не будет, кроме занудных дэпэзровских будней.

А капли сиротского половодья все сочились. Приводили и привозили вполне ухоженных малышей, закутанных по-домашнему в пальтишки и мамкины платки, с заботливо собранными, чистенькими, помеченными метками чемоданчиками и баульчиками. Таких на санобработку не гоняли и в казенные шмотки не облачали.

Росло понимание: мы застряли в этой дыре надолго.

Только воспитатели здесь не задерживались: увольнялись, бежали и от видавшей виды прожженной бродячей братии, и от вздорной и властной начальницы. Воспитательниц сменилось так много, что их будто и вовсе не было. В группе мы почти всегда оставались одни, без взрослых. И была у нас своя жизнь, со своими вожаками, законами, ценностями.

Сосредоточением всех устремлений, интересов и забот была еда. Жгучий уголек тлел в пустом желудке от кормежки до кормежки. После отбоя мы просто шалели от голода. Есть, есть и есть! — требовала пожирающая самое себя утроба.

Нас не оставляла злая убежденность в воровстве повара. Даже прозвище ему досталось необычное: Жирпроммясокомбинат, или — коротко — Жирпром.

— Рахит привалил! — Из-под навеса сараюхи, где которой были навалены толстые лесины, вышло несколько пацанов — сегодняшняя артель пильщиков. Я здесь появился впервые, и это их удивило.

— Пособи, пособи! — деланно обрадовался Никола и уступил место у козел, на которых громоздился толстый березовый комель. Пила наполовину врезалась в его белую мякоть.

Я ухватился за ручку пилы — ни с места! Потянул двумя руками — куда там!

— Давай, давай! — веселились пильщики.

— Кишка тонка!

— Он спец по колке.

— На колун!

Сгорая от стыда за собственную никчемность, рубанул я по круглой, только что отпиленной чурке. Кругляш полетел в одну сторону, колун в другую, задев меня обухом по шапке.

— Мотай в группу, позорник! — приказал Никола. — Чтоб духом твоим здесь не пахло! Пальтуху отдай Захарову, пусть выходит ишачить!

Эта демонстрация немощи стоила мне дорого: всю долгую зиму я безвылазно просидел в доме: в ДПР не было зимней одежды. Поначалу нам разрешали гулять в привезенных из дому пальто и шапках, но уже осенью их разворовали. Спохватились поздно: к наступлению холодов по рукам гуляло полдюжины драных стеганых ватников. Их с трудом хватало на артель пильщиков.

Печи ДПР пожирали уйму дров, а в огромную кухонную плиту можно было швырять поленья, как в прорву.

Дровоколы не только вкалывали. Они успевали на часок-другой смотаться в город, потолкаться в очередях и базарной толпе, пошарить по ледяным помойкам и у овощехранилища, что-то стянуть или найти. Такие отлучки помогали им сохранять здоровый настрой, отвлечься от занудной тоски, забыть хоть на время о ДПР.

Приносимые ими новости были единственной ниточкой, связывающей нас с волей. Мы ловили каждое слово вернувшихся с прогулки, жадно впитывая недоступные нам уличные впечатления. Поэтому пилка дров считалась привилегией, которой слабаки были лишены.

Красномордые заготовители слетались в группу, потирая онемевшие от мороза пальцы, постукивая негнущимися ботинками. Обнимали с блаженством печку, плотно льнули к ней промерзшими на ветру телами. От них струился пьянящий запах морозного воздуха, свежих опилок и вольной жизни.

Лапоть разжился сахарной косточкой. Пряча глаза, тут же принялся за нее. Грыз смачно, по-собачьи урча, громко высасывая таявшую в тепле жирноватую влагу.

Захаров набил запазуху мерзлым черным картофельным гнильем. Он вынимал и раскладывал картофелины на коленях, отирал о рубаху и шаровары талую грязь.

Дух сосредоточенно выуживал из карманов замусоренный овес, сдувал соринки и рассказывал:

— У базара кляча с торбой на глазах. Жует овес, сука! Дерганул — не поддается! Ухватил за уголок — и ну трясти. Что просыпалось, собрал. Не шакалил, падлой буду!

Кое-кто из ребят ухитрился раздобыть жмых или, как мы выражались, дуранду: темные каменные брикетики с вкрапленными ошметками мякины.

— Что в клювиках, черти? — любопытствовал Никола, досматривая и оценивая немудрящий фарт.

Все, кто промышлял в городе, настреляли чинариков и теперь охотно отдавали их главарю.

А Горбатый притаранил хлеб — жалкий, объеденный кусочек. Разломил, подумал и большую половину вручил Николе.

— У церкви сшибал? — хмуро спросил Никола, посматривая на мизерное подношение.

— Ага, — сдержанно ответил Горбатый, искательно взглянув на предводителя. Ничего оправдательного не придумал и, решившись, возбужденно заговорил: — Нищих на паперти — не разгрести! Я в сторонке.

Запахнул полуперденчик, согнулся, зырю! — Горбатый скорчился, став еще меньше, и скривил сизую мордочку. — Канючу:

Жил я когда-то
С мамой и с отцом,
Жил, как вы, богато.
Все прошло, как сон.

Вдруг вижу — фря. Роскошная, буфера — во! За версту духами шибает. Сует мне что-то, я и в толк не возьму!.. А ридикюль открыт, и там гроши пачками!

— Упустил, гад! Рванул бы — и деру!

— С фраерком шла, сука! А то б... Пожалела-таки, раскошелилась. Отвалила вот что.

Горбатый стискивал в кулаке деньги, радостно и немного обеспокоенно.

— Зажал? Много там? — потянулся к нему Никола и внезапно коротким движением перехватил цыплячью лапку счастливца. Без видимых усилий разжал его кулачок и прикарманил все, без дележа.

— Отдай! — безнадежно канючил Горбатый, еще минуту назад такой довольный.

Видимо, не впервые получая полной мерой за свое хвастовство, он плакал злыми слезами и грозил:

— Сорвусь к фиговой матери!

— Попутный ветер в спину дует!

— До весны покантуюсь. Потеплеет, ничто не удержит!

И впрямь, чего он здесь застрял? На воле запросто бы прожил. Хлеба приносит больше всех шестерок, как ни натаскивает их Никола, как ни усердствуют они в учебе, шмоная наши пустые и дырявые карманы. Сбежал бы Горбатый, было б здорово и нам, и ему!

— Подкинь хоть рубчик!

— Чо-чо? — Топорная морда Николы угрожающе напряглась.

— Через плечо... — забрехал Горбатый, но в его брехе ясно слышались покорные нотки.

По углам открыто и втихаря вершили обмен и дележ. Препирались и ссорились, пытаясь за фантики, гнилую картошку или жмых выжилить законную шамовку: пайку или бацило.

Торжище длилось недолго. Скудные трофеи разбежались по карманам.

Никола свежевал чинарики, ссыпал табак и махру, иногда восклицая:

— Во надыбал! Не раскурена! Живут же, черти!

Притихший Горбатый что-то писал, усердно мусоля языком химический карандаш.

— Донос намарал? — полюбопытствовал Никола.

— Не, святое письмо.

— Просвети-ка!

Запинаясь, Горбатый прочел:

— «Святое письмо. Мальчик двенадцати лет увидел бога в белой ризе. Сказал бог: «Передай это письмо. Ты получишь счастье». Молитесь богу, святому духу! Не забывайте святую богородицу! Не обижайте нищих! Одна семья передала письмо, девять раз переписывая. Получила счастье. Другая порвала, получила неизлечимую болезнь. Передавайте письмо, кому желаете счастья, и загадайте желание. Исполнится через тридцать шесть дней. Продержишь письмо три недели, получишь горе. Слава святому духу! Амины!» Перепишу девять раз. Молиться буду, свечу поставлю. Распрямит бог, в монахи постригусь.

— Тоже мне, святоша! Вали к врачу!

— Не учи ученого!

— Иди к знахарке. Заговорит, заворожит.

Набожный Горбатый насторожился, но, подумав, сказал:

— Не бывает такого. Только бог может распрямить. — И продолжал писать.

Дальше в зиму — скуднее стал фарт заготовителей дров. Постепенно Никола наложил лапу на все их находки и подаяния. За утайку грозили мордобой и отлучение от артели пильщиков.

Скудность добычи и дэпээровского рациона разжигали воображение. Не заладилось с трофеями — можно загнуть что-нибудь криминально-во-

сторженное, пережитое или услышанное в мутных рассказах грозной поры. Как влага насыщает воздух туманного дня, так всю атмосферу группы пропитали упоительные истории о лихих налетчиках и грабежах с чудо-отмычками и зэковскими фомками, о пальбе из обрезов и «пушек» по «ментам», о черепах предателей, проломленных цепями и матросскими бляхами со свинчаткой, о малинах и хазах, где золото гребут лопатами.

Карманы блатных представлялись распухшими от похищенных перстней с бесценными бриллиантами, от гирлянд золотых часов на толстых золотых же цепях. Тюрьма им — дом родной, где отдыхают среди своих и набираются сил.

Светлое будущее сияло всем. Только не сверни с праведной дорожки, будь безгранично предан «правому делу». А кто не с ними — тот против, тот враг, легавый мент. Сомнения о правильности таких воззрений или иные представления о жизни законного статуса не имели и вслух никогда не высказывались.

У Николы и его приятелей готовность пойти на настоящее дело била через край, но по причине всеобщего разорения высмотреть подходящей фартовой добычи не удавалось. Заветные желания совершались в воображении, изливались пустым трепом.

В разговорах не было недозволенных тем, запретных границ. Вспоминались не только немецкие концлагеря и приюты, но и наши колонии и спецзаведения. Сравнивали, где сносней баланда, откуда легче бежать. Бахвалились, кто сколько сменил фамилий и имен. Рекордсменом был признан Никола Большой; божился, что записан под тринадцатой фамилией, а настоящую оставил в колонии Горького еще до войны.

Зима выбелила заоконный мир. Мертвящий покой распростерся над заснеженной рекой и дальним полем. Загудели ветрами ночи.

Ночной дежурной числилась все та же кастелянша тетя Дуня. Наверх она поднималась редко, предпочитая покой теплой кухни и скрип мягкого канцелярского дивана.

В спальнях мы оставались совсем одни, как потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове. И наступала разрядка после полуподнадзорного дневного томления в группе. Каждый мог вытворять здесь все, что взбредет в голову.

Ночами не только развлекались, но и шарили по всем закуткам дома от каморки со швабрами под лестницей до чердака. Тащили любой хлам в надежде сбыть на толчке и разжиться съестным.

Одно время потрошили темный чулан с домашней одеждой, изымая все, что поприличнее. С уменьшением запасов лежалое барахлишко перетряхивалось вновь и вновь с переоценкой его значимости. При каждом шмоне как бы снимался новый слой убогой добычи. Настал вечер, когда Горбатый вернулся из кладовой с пустыми руками.

— Ну? — спросил Никола.

— Безнадега! Все выудили.

— До низу-то докопался?

— Вали, пошуруй сам! Ни фига не осталось. Мешок Царя вообще пустой.

— А мой? — с робкой надеждой спросил я.

— Ты что, рыжий?

После таких сообщений меня охватывало беспокойство: в чем уеду из ДПР? Обнаружат, что одежды нет, и оставят здесь навсегда.

Не впервой я спрашивал о своих шмотках, это не возбранялось. Наоборот, похитители бравировали осведомленностью, а особо дотошные так часто проникали в кладовуху и так тщательно ее изучили, что после очередного набега скрупулезно перечисляли оставшиеся и исчезнувшие манатки.

— Не трухайте, — снисходительно утешал нас Горбатый. — Без порток отсюда не увозят. Не дотумкали. А в детдоме казенное выдадут.

— Кто дошку Рахита стибанул? — спросил как-то Никола, обращаясь к сборищу у печки. — Если кто тихарит — все равно дознаемся!

— Дунька, наверное, — предположил Горбатый. — Тоже не дура.

— Хранительница! Мешки худеют, а она не трубит.

— Шмонает на равных, будь спок! Тертая перетырщица!

— Нищий у нищего портянку свистнул!

— Ладно, айда кемарить. Маруха ждет.

Прихлебалы, как всегда, жуликовато заухмылялись и потянулись за вожаком.

Николина Маруха пригрелась в углу женской спальни с самого начала, когда приемник только организовывался. Она и в немецком концлагере была уборщицей, и у нас пристроилась посудомойкой.

Это была бесформенная волоокая клуша лет тридцати со свалявшимися патлами неопрятных волос и низко болтающимися грудями под мешковатым балахоном. Помогая на кухне, она часто и подозрительно подолгу запиралась там с Жирпромом. Никола грозился пришить и повара, и Маруху перед побегом из ДПР. Закончив работу поздно вечером, забитая женщина тишайшей поступью, как больная собака, прокрадывалась к своей койке, уступая дорогу всем, даже малолеткам из девчоночьей группы.

Маруха и тетя Дуня давно прижились в ДПР. Упрямо липла к приемнику и Маня-дурочка. Ходил слушок, что ее собираются поселить в женской спальне, — она подходила малышам и готова была возиться с ними с утра до вечера: укладывала их спать, умывала, читала им и рисовала смешных сказочных персонажей.

Маня владела божьим даром: быстрый взгляд, несколько точных росчерков карандаша — и с листа бумаги таращится физиономия, необыкновенно смахивающая на оригинал. Схватывала Маня самую суть.

Мой нос заприметился ей с первой встречи и был начертан крайне изысканно и, конечно, очень похоже. Все потешались, а я, по обыкновению, разобиделся и порвал рисунок.

Мане не повезло из-за болезненного пристрастия к вождю, будившему ее творческое воображение. Беспрестанно набрасываемые ею рисунки на всем, что попадалось под руку, изображали Сталина, но не в официально узаконенном виде, а в лихой, рельефной манере: усы топорщились как у моржа, составляя добрую половину рисунка, глаза и губы подернуты блаженной улыбкой юродивого, улыбкой ее, Мани.

— Нельзя Сталина рисовать! — стращала воспитательница, махая пальцем перед Маниным носом.

Упрямый каприз дурочки со временем приобрел определенную направленность, и Маня, пообвыкнув в ДПР, стала во всеуслышание бесхитростно объявлять:

— Я выйду замуж за Сталина!

На увещевания Маня не поддавалась, даже дразнилась резковатым противным голосом:

— Выйду за Сталина! Выйду, выйду!

Все это отрезвило начальницу и решило судьбу дурочки: в ДПР ее не поселили. Но теплый приют привораживал. Нередко одинокая фигурка маячила у ворот или в палисаднике под окнами канцелярии в надежде на начальническую милость. С неменьшим упорством дежурила Маня и у кухни, куда вел отдельный ход со двора. Куда еще можно было ей податься? Тюрьма и больница не про нее.

Пускали Маню в приемник с оглядкой перед праздниками или в банные дни. Обычно же, когда она измозолит всем глаза, начальница кричала через приоткрытую фрамугу:

— Иди, иди, гуляй отсюда!

Маня безропотно поворачивалась, медленно пересекала двор и свободная исчезала за воротами. Как и у всех нас, у нее не было ни родных, ни постоянного занятия, кроме бесцельного кружения по улицам.

Мне было жаль Маню, и было непонятно, почему нельзя впустить ее хотя бы погреться.

Ей вслед летели истошные вопли:

— Чокнутая!

— Кикимора!

Ребята корчили рожи, крутили пальцами у висков, довольные развлечением, а Маня ковыляла меж деревьев, скользя грубыми башмаками по протоптанной в снегу тропинке, путаясь в длинных полах пальто. Ветер трепал ветхие полы, хлестал ими по ногам в перевязанных шпагатом обмотках.

Ухмылки постепенно гасли, и мы снова погружались в отупелое безделье.

Показная насмешливость ребят не смогла погасить во мне тягостного чувства жалости и кровной близости ко всеми отторгнутой дурочке, и от этого усиливалось ощущение одиночества и безнадежности.

А однажды пришло долгожданное письмо от мамы, было вручено мне бесплатно, и я написал ответ:

«Здравствуй, дорогая мама. Мы очень обрадовались твоему письму и тому, что твоя работа в химцехе не тяжелая. Мы тоже живем хорошо, но не учимся. Гулять не ходим. Не играем, потому что игрушек нет. Ждем путевки в детдом. Поздравляем тебя с Великим Праздником Октября и желаем поскорее выйти из тюрьмы. Твои дети».

Потом письма от мамы стали приходить регулярно. Теперь я ждал от судьбы еще и писем.

6. Кабала

Вьюжной ночью горбатый сугроб накрыл крыльцо веранды. К перилам примерзли лохматые снежные комья. Грязно-сивая пена облаков цеплялась за вершины голых деревьев. Кружила поземка. Озноб продирал от одного взгляда на зябкие ветви, трепещущие под беспокойными порывами ветра. Над темными квадратиками печных труб курились дымки, быстро рассеиваясь и пропадая.

Рассеивались и пропадали надежды на отъезд.

Дуло из окон. Печи топили с утра до ночи.

Зима стерла последние краски с лиц обитателей ДПР. Лица словно выцвели, побелели. В группе царило уныние. Вылазки в город уже никого не радовали. Улицы обезлюдели, собирательство исчерпало себя. Напрасно петляли по полупустому базару окоченевшие, потерянные добытчики: поживой и не пахло. Вваливались в группу пришибленные невезением, выворачивали тощие карманы: махорочная пыль да фантики — вот и весь фарт.

Исчезла картошка — главное подспорье скудного нашего рациона. Если и перепадали одна-две гнилушки, то уж такие вонючие и склизкие, что с души воротило.

Лапоть где-то нарыл скоробившихся, промерзлых до черноты картофельных очисток, но испечь их не удалось — сгорели дотла.

Мешки с домашней одеждой опустели: убогое барахлишко новичков расхватывалось ушлыми пройдохами в первый же день, к ночи ничего стоящего не оставалось.

В банные дни Никола со свитой учинял досмотр выданного нательного белья. Все приличное, годное на обмен или продажу, безоговорочно отбиралось. Не гнушались даже портянками. Взамен всучивали полуистлевшее шмотье. Месяц-другой — и на смену не выдавалось ни одних целых кальсон, ни одной нижней рубашки без желтых пятен и бахромы на рукавах.

Вечерние сборища у печки потускнели, лишились прежнего полусытого довольства, предвкушения заветной печеной картофелины. Ее-то, единственной, возможно, и не хватало каждому из нас для обретения душевного и телесного покоя. Уныло выли:

*Эх, зачем я на свет появился?
Эх, зачем меня мать родила?*

Пустая, набившая оскомину болтовня крутилась вокруг жратвы. Смаковали байки о былой сытости, изобилии ржанухи, лоханях с горячими клецками.

Наклевывалось рисковое дельце: ладились обчистить хлебную лавчонку, сорвать жирный куш. Никола гнул и точил толстую проволоку — мастерил отмычку.

— Из бердан обрезы пилил, а это бирюльки! — бахвалился он.

Операцию собирались провернуть ночью, и Никола уже оговаривал свою долю, но, когда настал срок, трезвый Горбатый отмахнулся от смелой затеи как от придури:

— Ночью там крыс ловить! В очереди бьются с пяти утра, к обеду все расхватают.

В воров только играли.

Хищное выражение не сходило с мордочки Горбатого. В городе он не по-доброму примелькался. Лишь замаячит его шакалья тень у рынка, ледащие крестьянские лошаденки взволнованно всхрапывали и лягались. Пару раз местные барыги наподдавали ему, и он заглядывал на рынок с опаской. О милостыне тоже думать забыл: калеки и нищие не признавали Горбатого за своего и гнали с паперти почем зря.

В группе голодным стервятником озирал он наше шевелящееся живое стадо: кого избрать на заклание? Потаенное чутье верной добычи безошибочно вело его к цели.

Все чаще ощущал я на себе его пристальный взгляд.

В моем детстве не было ничего более прекрасного и желанного, чем кино. Я любил его беззаветно, как праздник, как награду за тягомотину детсадовских и школьных будней. Цирк, театр, зоопарк — все это было почти из области фантастики. Кино было реально и доступно. Что бы ни крутили: бравурные довоенные ленты или захватывающие картины о фронте, партизанах, летчиках и разведчиках, я смотрел их с неподдельным интересом, с искренней верой в подлинность. Я вживался в этот яркий мир, так непохожий на наш каждодневный, и расставался с его героями с нескрываемым сожалением, как с родными или друзьями.

Кино посулили нам еще к празднику. Долго тянули — что-то не вытанцовывалось, и вдруг...

— Киношка едет! — оглушили нас новостью.

После обеда в зал сволокли стулья из всех групп, прикрепили к стене простыню-экран и стали привычно ждать: заняться-то все равно нечем.

Ранние сумерки зачернили окна. Стекла поблескивали бисером капель. Сквозь неумолчный говор, плескавшийся по залу из конца в конец, мы настороженно вслушивались в заоконную тьму.

Часа через два-три во дворе приглушенно зарокотал мотор. Прикатил фургон с движком и проектором. Радость.

Привезли драную-предраную ленту «Чапая». Я видел ее не раз, но предвкушал новый просмотр с неподдельным восторгом.

Установили узкопленочный аппарат. Мы торопливо считали блестящие жестяные коробки с лентами и оглушительно орали:

— Шесть!

— Восемь!

— Десять!

Нетерпеливое ожидание достигло предела, пока механик тянул кабеля и настраивал динамик, а потом долго трапезничал в столовой.

Словно заманивая на сцену надутого артиста-знаменитость, малыши били в ладоши, овацию ему устраивали.

Показ не заладился с первых же кадров, когда Чапай вывалил на стол чугунок аппетитной картошки и заговорил назидательно. То ли движок барахлил, то ли пленку заело — кто разберет? Подвыпивший механик взопрел от усердия, разбирая и собирая аппарат.

После каждой части ленту мотали в обратном направлении и устанавливали новую бобину. Последовательность частей путалась, фильм крутился вверх ногами или задом наперед, пленка рвалась и раза два ярко возгорелась.

В перерывах мы развлекались. Мощный луч проектора прорезал полумрак. Как тут удержаться и не сунуть в сноп света растопыренные пальцы! По ярко освещенному экрану метались десятки теней ушастых зайцев и рогатых чертей: импровизированный театр теней.

На «камчатке» палили из резинок, боролись, ползали по-пластунски под стульями, верещали и галдели, азартно обсуждая волнующие моменты картины. Самые смирные мяли в ладонях хлебный мякиш, отщипывая по крохе.

Окрики воспитателей тонули в слитном гуле обеих групп, сбившихся в переполненной комнате. Ровный стрекот аппарата минут на пять прерывал галдеж.

Одна из пауз затянулась. Ко мне протолкался Горбатый с широким ремнем в руках. Страх прошил мою грудь: уж очень он был близок, ни улизнуть ни отвернуться.

— Слышь, сыграем! — вкрадчиво предложил он. — Все одно кина не будет.

Со дня прибытия я не слышал от него ни одного спокойного слова, только брань и мат. Напускная слащавость тона не оставляла никаких иллюзий, и все же она застигла врасплох, притупила всегдашнюю бдительность и готовность к защите.

До крайности истосковался я по доброму слову. А тут сам Горбатый снизошел до разговора, и льстило одно то, что я мог ему зачем-то понадобиться. Не ударил, не обозвал, хотя прозвищ и оскорбительных кличек у меня скопилась уйма. К тому же были у Горбатого какая-то притягательная внутренняя сила и властность, заставлявшая покоряться, идти на мировую, даже обманывая себя. И на этот раз я боялся ответить твердым отказом и робко пробормотал первое, что взбрело в голову:

— Я не умею.

И тут же ощутил неотвратимость того, что должно произойти.

— Зырь сюда! — напористо заговорил Горбатый, складывая ремень вдвое и туго свертывая его кольцо за кольцом. — Скручиваю ремень. Ты суешь палец в центр круга. Распускаю: палец внутри петли — с тебя пайка, снаружи — с меня. Допер? Все честно, без балды.

Я с трудом переваривал смысл сказанного.

— Суй!

Я силился овладеть собой, разгадать, где подвох, и законно отказаться. Мысли метались в панике.

Чтобы Горбатый расстался со своей пайкой, такого не могло привидеться и в кошмарном сне. Я своей и подавно не рискнул бы; если чему и научила меня жизнь, так это ценить хлеб.

— Суй! — настаивал Горбатый, теряя терпение.

— Я не умею... — пробовал потянуть я время, ощущая полное свое бессилие перед обманом. Но слова застревали в горле.

— Что с ним рассусоливать! — неожиданно забасил рядом Никола. — Трахни в харю!

Ситуация стала безнадежной. Из двух зол — мордобой или грабеж — требовалось выбрать меньшее.

— Дрейфишь сразу на пайку, давай разок спонту, для блезиру. — Горбатый почти насильно совал мою руку в ремень. Я трусливо отстранялся.

— Ты же клевый кореш, Рахит! Свой в доску! — поднажал он и жестко просипел: — Суй!

От предчувствия неминуемой беды мутило. Понимал одно: пропал, не выкрутиться!

— Не хочу...

— Кончай хипиш! К нему как к своему, а он... — Никола обхватил пятерней мою шею, пальцы впились в тело, почти сомкнувшись у горла.

Дикая боль диктовала одно — покорность. Я не выдержал и ткнул дрожащим пальцем в центр скрученного ремня. Ремень распустился и поймал палец.

— Должен пайку! — взвился Горбатый радостью. — Давай еще. Отыграешься — и квиты!

— Не надо, — заскулил я, но хватка на шее сошлась клещами.

Дальше упорствовать не было сил. Мухлевку вторично разыграли как по нотам.

— Должен две пайки! — сощурился хитрым монголом Никола и предостерег: — Заложишь, удавлю! Зенки выткну! — Растопыренными пальцами он ткнул мне в глаза, мазнул вниз по щекам.

— Не вздумай зажилить! Не вынесешь пайку — две стребуем! — пригрозил предусмотрительный Горбатый и, спохватившись, добавил мягко и вкрадчиво: — Тронет кто — свистни! В обиду не дадим!

— Ништяк! Айда арканить Царя!

Они поперли в самую гущу рядов, расталкивая малышей, отдавливая ноги зазевавшимся.

Все! Палец попал в капкан, и упорно зрела убежденность — останусь без руки.

Досматривал фильм в смятении. Мысленно искал спасения, снова и снова проигрывал про себя пререкания с Горбатым: возможно, что-то сказано не так и я смогу отпереться? Но все было чисто, придраться не к чему.

Я старался не думать о предстоящем обеде, когда придется потянуть в себя кисловатый аромат хлеба, почувствовать на ладони его упругость и тяжесть, представить хруст корочки на зубах и, захлебнувшись слюной, передать хлеб в чужие руки.

Как вытерпеть, не проглотить собственный кровный ломтик?

К мыслям о голоде примешивались и опасения другого рода. Воспитатели следили за тем, чтобы пайки из столовой не выносили. Любителей мякиша это не останавливало. Однако одно дело — спокойно мусолить кусок и сунуть в карман его часть, если удастся, а если нет — дожевать до конца. И совсем другое — вынести пайку во что бы то ни стало, целиком. Засекут, что пайка не тронута, — заставят съесть.

Мне досталась поджаристая горбушка с липким довеском. Я косился на желанный кусочек, опасливо озираясь кругом. И дождался окрика воспитательницы:

— Почему хлеб не ешь?

— Я ем...

Я сжался в комок и судорожно, как раскаленный уголек, схватил довесок.

Все видят, что влип. Соштефаю для показа довесок, а горбушку спрячу. Никола не должен озлиться.

Я надкусил довесок и принялся жадно дохлебывать постные щи. Воспиталка тут же отвлеклась, прошла на кухню перемолвиться с Жирпромом.

Я стрельнул глазами по сторонам, трясущимися руками впихнул горбушку в карман и замер в ожидании грозного окрика. Заметить мгновенное исчезновение пайки было проще простого. Но страхи были напрасны, внимания воспиталки моя персона больше не удостоилась. Оставалось дожевать довесок и поклевать второе.

Глазки Горбатого алчно сверкнули навстречу, когда я вышел из столовой. Налетев на меня, он нетерпеливыми руками хватал, выдергивал вместе с карманом непослушный, застрявший кусок.

Возбуждение спало; первый шаг удачен, завтра непременно рассчитаюсь и уж больше рисковать пайкой не буду, пусть хоть задавят. От такой решительности здорово полегчало, как вдруг я встрепенулся и замер, услышав:

— Жила! Закосил полпайки! Думал, не углядим! — Никола и Горбатый угрожающе надвинулись на меня. — За жглотство должен еще пайку! — последовал приговор.

На следующий день воспиталка заподозрила неладное в моем неловком дерганье за обедом и взбеленилась:

— Выкладывай, что заныкал!.. Почему хлеб не ешь?

— Голова болит, — залепетал я.

— Сдай хлеб на кухню. Эй, подите сюда!

Отключилось сознание, и, пока я приходил в себя, моя пайка перекочевала в пухлые лапы повара. Он изумленно таращился рыбьими зенками.

— Зажрались? Порции слишком большие? Излишки изымать будем! И как вам самим не противно есть мятую грязь?! — Воспиталка не сомневалась, что мы выносим хлеб исключительно из порочной склонности пожирать его в мятом виде.

В моем растерянном взгляде, провожавшем уплывающий кусочек, видимо, было что-то необычное, но она не отступила. Лишь приказала:

— Сходи в изолятор. Может, и впрямь заболел. Белый весь.

Меня не били, не тронули пальцем. Самодовольная ухмылка перекосила рыльце Горбатого, когда он с деланным негодованием напустился на меня:

— Ничего толком не можешь, фендрик! Все вынесли, одного тебя засекли.

Еще бы! Пока меня поносили за провинность, незадачливые горемыки, защелкнутые долговым капканом, под шумок прятали хлеб. И таких горемык набралось немало. Никола и Горбатый были не в состоянии за раз слопать перепавшее им богатство.

— Должен четыре пайки, — сказал мне Горбатый. — С обеда выносишь всегда, с завтрака и ужина — как засветит. Хочешь скорее рассчитаться — не скупердяйничай!

Он извлек бумажку со списком клиентов и поставил в ней загогулину.

Истлела неделя. Я барахтался в бесплодных потугах покончить с долгом. Напрасные старания! Не было сил преодолеть себя и совладать с голодом. Я лишь прикидывал, когда смогу рассчитаться, если совсем перестану есть хлеб. Получалось — через каких-нибудь три-четыре дня, — пустяк! Установленный срок проходил, а долг увеличивался. Вскоре с меня причиталось паек двадцать, и считать дальше стало бессмысленно. Это было скольжение вниз, в бездонную пропасть. С того момента, как Горбатый с ремнем в руках зацепил меня хищным оком, я предчувствовал несчастье, и предчувствие меня не обмануло. В моей жизни что-то сломалось навсегда.

Множилось число должников, еще скорее множились долги.

Поначалу сборщики мзды соблюдали видимость приличий: переговаривались полушепотом, пайки припрятывали. Вскоре же развернулись в открытую: что и от кого скрывать?

Горбатый, видимо, понимал чрезмерность и опасность ежедневных поборов. С его молчаливого согласия, не сговариваясь, мы выносили хлеб через день-два, смирившись с ростом задолженностей. Потянул с оплатой — жди расправы!

К покорным питали хозяйскую снисходительность: умолил, выдумал оправдание тому, что не вынес хлеб в этот раз, — простят до следующей кормежки. А что пригрозят и облают — к этому мы привыкли.

Настал день, когда Горбатый повелительно поманил меня согнутым пальцем:

— Махнемся?! Мне бацило, тебе пайки. Что, пайка не стоит бацила? Стоит, допендрил? Половину твоих долгов и обменяем.

Суть сделки не сразу дошла до меня, а язык, как всегда, не повиновался.

Горбатый без передышки заключил:

— С завтрева тащишь утром бацило, днем пайку.

Такие условия навязали и другим должникам. Пресытились вожаки, не по нутру стало глодать пустой хлеб.

А как Горбатый смаковал ломтик с маргарином, надо было видеть! При каждом укусе его верхние зубы как отвалом бульдозера соскребали и сдвигали намазанный слой, чтобы на последний укус приходился почти весь маргарин, вся вкуснятина.

Главари охомутали добрую половину группы: на решительный отпор, даже на открытое недовольство никто не дерзнул. Против закона не попрешь, проиграл — рассчитывайся.

Незадолжавшие, а это были в основном ребята постарше, четырнадцати, пятнадцати лет, держались крайне недоверчиво, боясь разделить нашу участь, да и осторожный Горбатый предпочитал с ними не связываться.

Первые недели закабаления Никола делал вид, что опекает своих клиентов, хотя это показное покровительство было ему явно в тягость. Слишком чуждой его мирку выглядела попавшая в сети шантрапа, слишком отличалась она от его приблатненной кодлы.

Все же в тот начальный момент мы засыпали спокойно, над нами, сонными, не измывались. Но такое состояние царило недолго. Игра в кислую сентиментальность, когда исполненный достоинства вор должен заступаться за презренного щенка, незаметно себя изжила. Этому способствовали подозрительность и воинственность вожаков, не устававших твердить, что легавого ждет неминучая погибель.

— У блатных руки длинные, достанем откуда угодно: с воли, из колонии или детдома! — стращал Горбатый. — Предателям — смерть!

Вожакам всегда мерещились предатели.

Подобные вопли звучали постоянно, нагнетая глубокую убежденность во всесилии вымогателей, в невозможности договориться с товарищами по несчастью о совместном неповиновении или защите. Первый же сообщник выдаст тебя из чувства страха и надежды облегчить свою участь, заслужить благоволение сильных. Побоями и угрозами нас так замордовали, что не хватало решимости даже у соседа по столу узнать величину его долга, а тем более искать сочувствия и понимания. Если раньше я зарекался молчать, то теперь был принужден к этому.

В назидание и устрашение блатные выстанывали «Мурку»:

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая!
Здравствуй, моя Мурка, и прощай!
Ты зашухарила всю нашу малину,
Так теперь маслину получай!

Опьяненный пением, Горбатый проникновенно выкрикивал поперед приятелей, не столько повествовал, сколько грозил.

Мы подобострастно внимали предводителям, искали их расположения, радовались любому спокойному обращению, незлобивому вниманию. Взгляд Горбатого вгонял в дрожь и оглуплял; похвалил за вынесенную пайку — счастью не было предела.

Трудно было противиться мощному влечению к сильным. Казалось бы, естественная неприязнь правителей к неверным и слабым должна была порождать ответную ненависть. Но этого не происходило. Во всяком случае, чувство не оформлялось в виде четких мыслей или направленных действий, а возможно, я даже про себя боялся плохо думать о вожаках, — страх подавлял разум.

Померк блеск детских глаз, закатилось солнышко, спряталось на всю нашу долгую зиму. Навалились серые, мучительные дни и черные, без единого проблеска, ледяные ночи.

Сугробы намело почти до окон, веранда скрылась под снегом. Белая равнина, однообразная и неподвижная, сливалась у горизонта с мглистым серым небом. Однообразные и неподвижные, стыли мгновения, их медлительный шелест был почти ощутим. Только за окно смотрел я без боязни встретить удрученный взгляд товарища по несчастью или, что еще хуже, злые глаза вожака.

7. Картошка

Я люблю тихо сидеть на кухне и чистить картошку. Отступают тревоги и заботы, неторопливые движения пальцев успокаивают возбужденный мозг. Мир сужается и упрощается до примитивности клубня. Тонкой змейкой ползет бледная кожура, иной раз мне попадаются сгнившие, высохшие до серого пепла вкрапления и вспоминается сводящий с ума запах полусожженных клубней, целиком состоящих из такого вот спрессованного праха.

В доме была непроглядная темень: электростанция выдохлась. Жизнь теплилась у золотого зева печки. Отсветы пламени выхватывали неподвижные тени с озаренными огнем красноватыми лицами. Свежий запах поленьев мешался с махорочным дымком. Когда дверцу топки прикрывали, лишь огонек цигарки сверкал во мраке звериным оком.

Позванивая кочергой о колосники, Никола выгребал из топки печеные гнилушки. Они чадили угаром и были почти неотличимы от остывающих углей. Никола разламывал картошку, наполняя комнату парным ароматом плоти, ароматом жизни и тления, и одаривая корочками своих приспешников и особо усердных должников. Счастливцы посасывали запеченный пепел до полного растворения во рту. Тихая радость нисходила к тем, кому повезло. Казалось, нет ничего вкуснее горелой кожуры. И не думалось о том, что картошку эту выменяли на базаре на наши пайки.

Картошка — жизнь моя! Тлеющий фитилек моей души выпестован тобой. Ты взрастила нас и вместе с нами — невиданные чудеса нашего времени. В тебе наша сила и слабость, порядок и хаос, праздник и повседневность. Поразительно щедра животворящая мощь неприметного клубня! Над фанфарами и похоронками, славословием и суесловием нашей жизни царили земляные картофельные будни.

— Картошечки хочется, — нудит брат, не желая засыпать голодным.

— Она не наша, — нашептываю я. — Терпи, старайся заснуть. Проснешься, будет завтрак.

— Сейчас хочу. Почему у них есть картошка, а у нас нет?

— Смотри, все спят. Закрывай глаза.

— Когда маму выпустят из тюрьмы?

— Скоро.

— Завтра?

— Нет, не завтра.

— Через много, много дней?
— Да, через много, много дней.
— А в детдоме дадут картошки? Хоть одну, малюсенькую?
— Отстань, а то побью!
— За что?
— За то! Не думай о еде, станет легче.

Брат обиженно поджимает дрожащую верхнюю губу и выпячивает нижнюю, готовясь заплакать.

— Терпи, — одергиваю я его. — Слезы не помогут.

«Нельзя думать о еде!» — убеждаю я себя, но мысли о завтрашнем дне, когда своими руками придется отдать кровную пайку, неодолимы.

С мамой было так хорошо...

Воспоминания приносили новую боль. Прошлое казалось погребенным глубоко-глубоко. Туда, в невозвратную даль, меня все чаще уносила память, хранившая такое, о чем я даже не подозревал.

Мама редко ласкала нас, но, приходя поздно с работы, опускалась на колени перед заснувшим братом, прижималась губами к его щеке и стриженым волосенкам, целовала бережно, боясь разбудить.

Какие мама готовила супы из картошки! Сварит, покапает рыбьего жира, прописанного нам врачом, плавают на поверхности янтарные крапинки, и суп не кажется постным.

Воспоминания доконают меня. Нужно спать.

Нас уплотняли и уплотняли. К Новому году поток сирот превзошел все мыслимые нормы. Нас укладывали спать по трое на койке. В группах на ночь ставили матерчатые раскладушки. Одинокими песчинками несло и несло к нам нечаянно выживших детей.

Каждый новый сосед по столу уменьшал шансы вырваться из приемника. Но об этом не думалось. Все воспринималось нами так, как оно есть, без ропота, с робкой надеждой.

Кто-то из малышей накапал начальнице о ежевечернем буйстве. Предъявил раскровавленный нос, поплакался о том, что мешают спать. Охрану мелюзги вменили в обязанность Марухе. Угрозой увольнения и выселения ее обязали никого не пускать к малолеткам.

Нас, ребят из старшей группы, прогнали в мужскую спальню, насквозь продуваемую всеми ветрами. Пронзительный холод властвовал безраздельно, легко проникал сквозь закупоренные окна, шутя одолевал жалкие струи тепла, исходящие от печки.

Вечера надвигались как пытки. Разгулье буйствовало допоздна, будто в полночном шалмане, и прошлые недели, проведенные в теплой спальне, казались теперь почти хорошими.

Моим соседом по постели стал Царь. Наша койка стояла у открытого стенного проема, выходящего в прихожую. Койка была не на месте, на нее натыкались и входящие, и выходящие. Клочья свалявшейся ваты торчали сквозь дыры матрасовки, пружинная сетка уцелела едва наполовину. По этой причине нам не «подселили» третьего, — нет худа без добра.

Царь орошал по ночам постель. Он очень деликатно жался к самому краю койки, но подтекало и под меня. И неожиданно, без внятных причин, эта беда пристала и ко мне. Вскоре недуг ночного недержания, как эпидемия, охватил добрую половину ребят. Прудил под себя и Горбатый, и спавший с ним Педя.

К утру спальня выстывала так сильно, что корочка льда схватывала потеки на полу под койками. Мы скрючивались улитками, поджимали колени к подбородкам, натягивали на уши тонкие байковые одеяльца, а ночью скатывались в объятия друг к другу. Проснувшись, не разбирали, кто подпустил.

Днем Горбатый и Педя меняли свою мокрую постель на сухую с любой койки. Со временем все матрасы задубели и отличались лишь различной степенью влажности. От них разило мертвящим, выедающим глаза и ноздри зловонием. Желтые, не менее вонючие простыни стояли горбами.

Воспитатели не любили у нас задерживаться. Понадзирают за укладыванием или пробуждением, хлебанут глоток-другой густых, почти осязаемых ароматов непросохших постелей и смердящих испарений параши и, задерживая дыхание и прикрывая рты, уматывают восвояси.

— Во душегубка! — гримасничал Горбатый. — Аж рыла воротят!

Принюхавшись, мы не испытывали особых страданий. К тому же вожаки курили до тошноты, и табачный дым отчасти перебивал неистребимый настой закисающей мочи. Словом, отнюхай свое и спи, а зябнуть и мокнуть во сне не так мучительно, как наяву.

Писунов развелось во множестве, а скопом к чему не притерпишься! И особых душевных переживаний ночной грешок не доставлял. Мочишься ты или нет, сидят твои родители или погибли в бою, огрубелая и жестокая у тебя душа или впечатлительная и ранимая, — кого это волнует?

8. Толик

Слабосильная шушера старшей группы несла хлебушек с обеда, пробавляясь водяной баландой да жиденькой перловкой, а Толик как-то умудрялся не попасть на крючок. Почуяв внимание Горбатого, он недоуменно хлопал длинными ресницами, выказывая постоянную готовность сорваться в громкий плач. И срывался при любом угрожающем окрике или подозрительных попытках заставить его играть на пайку.

Мне казалось, что он умело прикидывается смертельно запуганным. Видимо, ему и раньше приходилось добиваться своего плачем; в приемнике он усовершенствовал это умение, держал поток слез наготове и успевал пустить его вовремя. Мог он и увильнуть от опасного общения, выскользнув из группы.

Горбатый не очень наседал на Толика, очевидно, подозревая, что тот по малолетству может проговориться и выдать. Проходили дни, а Толик уписывал свою пайку за столом. Но везло ему до поры.

В спальне забавы ради Никола прицепил его штаны высоко над окном. Толик водрузился на хромоногую тумбочку и силился скинуть их кочергой. Неловкий взмах — и осколки разбитого стекла зазвенели по подоконнику, а один, крупный, угловатый, угодил Захарову в переносицу. Тоненькая темная струйка потекла из глубокой ранки.

— Кричи: за кровянку отвечаешь! — приказал Горбатый растерянному Захарову.

Пострадавший машинально промямлил заклятие.

Толик побелел от испуга, как будто осколок воткнулся в переносицу ему, а не Захарову.

— Оно само разбилось! Я ни при чем! — слезливо оправдывался он и бегал жалким взглядом по безучастным лицам Николы и Горбатого.

— Не канючь, жертва аборта! — непреклонно проговорил Горбатый. — Захаров задолжал... двадцать три пайки. Половину его долга перекинем на тебя, кретин малолетний! Должен двенадцать паек, ясно? Брось придурь, не блажи! Больше валандаться с тобой не будем. Как все, так и ты!..

Телячьи нежности в ДПР были не в чести. Даже нечаянно оброненное умильное словечко о маме или папе грозило осмеянием и оскорблением. В песнях — другое дело, там все дозволено. К тому же голод и страх притупили чуткость к чужим переживаниям и интерес к чужим судьбам. Наши заботы не простирались дальше собственной пайки да желанных путевок в детдом.

Но однажды Толик разоткровенничался передо мной и Царем и поведал о своей судьбе...

...Толик боднул подушку не в силах совладать с предутренним сном. Но Юлька зудела назойливо и упорно. Уймется она наконец? «Мамы нет дома», — понял Толик и решил проснуться. Протирая глаза, зашлепал к маленькой кроватке.

— Чего орешь, как резаная? — сонно пробормотал он, словно сестренка могла его понять.

В ответ Юлька наддала, и Толик покорно поплелся на кухню. Сухая пеленка, рожок с молоком... Почему холодный?.. Ладно, не барыня, проглотит, зато не обожжется.

Сестренка жадно поймала соску пухленькими губками и утихомирилась, почмокивая. Толик повернулся к своей постели с твердым намерением доспать, но что-то необычное удержало его.

В комнате царил форменный разгром.

Распахнутый платяной шкаф зиял пустотой. Одежда, книги, фотокарточки в беспорядке валялись на полу; в изножье маминой кровати серел обезображенный вспоротый ватный матрас.

Чем-то безотчетно зловещим пахнуло от этой неприглядной картины. Спать расхотелось. Неожиданно Толику смутно припомнилось пробуждение среди ночи. Растормошившая его мама пыталась с ним объясниться, кажется, поручала какое-то дело. В комнате белели чужие лица. Что за гостей занесло к ним так поздно? Толик старался восстановить в памяти разговор с мамой, но он уплыл, как сновидение. Мальчик поплелся в коридор, подергал входную дверь: заперта, ключа в замке нет.

Хныканье Юльки отвлекло его от тревожных раздумий. Морща нос, он ухватил ее за обе ножки, высоко задрал их и, как заправская нянька, быстро сменил пеленку. Приветливая мордашка с голубенькими глазками озарилась беззубой улыбкой, и словно солнышко вплыло в комнату. Склонившийся над кроваткой мальчик невольно улыбнулся в ответ.

Дети улыбались друг другу.

«Пора бы маме вернуться»,— неуверенно подумал Толик. Это уж чересчур! Не предупредила, не объяснила, исчезла — и с концом!

Вообще-то мальчик давно притерпелся к нраву сестренки. Им и раньше случалось оставаться вдвоем, хотя сейчас забота о Юльке отошла на второй план. Нарастала тревога: что-то неясное, чуждое вторглось в их жизнь.

Глаза мальчика задумчиво скользили с предмета на предмет. Он пытался понять, что произошло и что следует предпринять. В томительной тишине слышались неровные причмокивания Юльки, потягивающей пустышку, да шорох висящих на спинке кровати погремушек.

Мальчик побрел на кухню. Пустая, безжизненная без мамы кухня одним видом желтобрюхого примуса наводила уныние. Без аппетита пожевал хлеб и запетлял по квартире как пришибленный. Заныла Юлька, раздраженно выталкивая соску.

— Молчала бы, не до тебя! — сердился Толик.

Девочка требовала внимания, и было понятно, что она своего добьется.

— Что нужно?

— А... а!..

— Пить будешь?

Холодную подслащенную водичку Юлька отвергла.

— Не пищи. Скоро мама придет,— уговаривал он сестренку и отгонял от себя мрачные мысли.

Девочка обиженно топорщила губки и верещала все громче, раздражая Толика и мешая прислушиваться к шагам на лестнице. Он ждал, что мама вот-вот хлопотливо вбежит в квартиру и принесет с собой живую суету и успокоение.

Нервозность Толика незаметно передавалась сестренке, и та ревела все громче и требовательней. Мальчик ушел в коридор, здесь было потише.

Беспокойство не спадало. Воображение рисовало страшные картины: мама попала под трамвай; взорвался снаряд, затаившийся с блокады. Нет, все-таки нет. Исчезновение было связано с беспорядком в комнате и ночным разговором. Если бы его вспомнить!

Толик старался держаться спокойно, но раза два все же всплакнул жалобно, с подвывом. Тут же одернул себя: некому жаловаться.

В полдень Юлька проглотила несколько ложек вчерашней каши и допила молоко, но нытья не прекратила. Ее мокрая мордашка распухла, покраснела, залитые слезами глаза сверкали недоумением и укоризной. Толика она больше не признавала.

— Баю-бай,— терпеливо канючил мальчишка, но прошло еще часа два, прежде чем она задремала.

Передышка. Можно спокойно обдумать, как быть дальше. Толик вытянулся на носочках и выглянул в окно. С высоты шестого этажа открывалось хаотическое скопление крыш с чердачными окнами, печных труб, каменных обрывов. Даже внизу, под окном, краснела железная кровля двухэтажной пристройки, прилепившейся к их дому: мастерская по ремонту автомашин. Туда пригоняли работать пленных немцев. Нет, через окно не выбраться, об этом и думать нечего!

Он глянул в замочную скважину на лестницу. Напротив виднелась обшарпанная темно-коричневая дверь в соседнюю квартиру, где жила Клавдия Степановна с мужем, обожженным танкистом. Муж был слеп и месяцами лежал в госпиталях.

Нужно караулить здесь и позвать на помощь, как только послышатся шаги, решил Толик. Теперь он надеялся не только на возвращение мамы, но и на соседку.

Он гнал прочь мысли о несчастье, но во всех других случаях мама не могла забыть о них. На худой конец прислала бы кого-нибудь.

Проснулась Юлька и распалилась не на шутку. Ее беспрестанный плач выводил Толика из себя. Лежать в постельке она отказывалась совершенно, и мальчик до изнеможения мотался с нею по комнате, прижимая животиком к себе, как учила мама. Присаживался отдохнуть, не выпуская сестренку из рук.

Разбросанные вещи попадались под ноги, и Толик зло отфутболивал их, а потом сгреб ногами в большую кучу за шкафом. «Придет мама, отругает за безобразие»,— успокаивал он себя надуманной угрозой. Надежда на ее осуществление согревала мальчика.

— Наша Юлька ревушка, ревушка-коровушка, будет кушать кашку,— Толик соскреб с донышка кастрюльки остатки каши и пичкал ими сестренку. Зареванная Юлька придирчиво принюхивалась, прислушивалась к чему-то, в ней самой происходящему. Осознавала, что успокоительные ухищрения Толика — обман, мамы нет, и продолжала реветь. Она выплевывала пустышку, выплевывала подслащенную воду, и Толик отпаивал сам себя. Он пел ей мамины песенки, понимая все отчетливее, что это сюсюканье бесполезно и нужно придумать что-нибудь определенное, решительное. Но ничего не придумывалось.

Толик изо всех сил лупил погремушкой о спинку кроватки, пытаясь заглушить надоевший вой. Не помогало. Он снова, до онемения рук, носил и укачивал малышку, менял пеленки, баюкал и уговаривал, стыдил и ругал, удивляясь собственному терпению. Непокорное горластое существо не поддавалось. От натужного воя ее молочно-белое пузичко покраснело, разъеденные слезами щеки вспухли. Она нещадно скребла их ноготками, и мальчик всерьез опасался, как бы она не выцарапала себе глазенки.

День клонился к вечеру. Толиком овладело сознание полной безнадежности. С Юлькой не сладить и к ее незатихающему вою не привыкнуть. Он все дольше задерживался на кухне и в коридоре; приходил в себя, отдыхал от раздирающего душу крика, вслушивался в безгласный, недоступный мир лестничной клетки. Теперь он был почти уверен, что мама не придет и выпутываться придется самостоятельно. И в этом обжитом и родном мирке становилось страшно.

В который раз Толик пустил унылую слезу, но от громких рыданий удержался и твердо решил не поддаваться жалости, поменьше возиться с сестренкой. Нужно дожидаться помощи у входной двери. Толик надолго покинул комнату, застыв на карауле у входа.

Юлька орала напропалую, и мальчик разок-другой не выдержал, поил ее водой и умолял протяжно и жалобно:

— Потерпи, слышишь? Потерпи...

Смеркалось. Толик осветил квартиру всеми лампочками, даже настольную включил. Разгромленное родное гнездо выглядело удручающе неприятно и чуждо. И страх налетел новым порывом. Как долго придется сидеть одним взаперти? Умрут, никто и не спохватится. Выжил в блокаду, так сейчас непременно загнется... Если с мамой случилась беда, выручать некому.

Взвинченный до крайности мальчик с ужасом ощутил свою беспомощность и дал волю себе, заревел громко, со всхлипами и подвываниями, словно жалуясь кому-то и вымаливая спасение. Он горько рыдал в коридоре, а сестренка безутешно голосила в комнате.

Наплакавшись, почувствовал облегчение и неимоверную усталость.

Тупое равнодушие охватило его. Глаза слипались сами собой, сознание туманилось. Он рухнул в постель и, как убитый, мгновенно и бездумно уснул под неумолчный Юлькин скулеж.

Разбудили его тишина и беспокойство. Непотушенные лампочки едва мерцали в лучах бьющего в окно солнца. Живо вспыхнувшие в сознании волнения вчерашнего дня сорвали его с постели. Он опасался, не испустила ли Юлька дух, изойдя в надрывном плаче? Жива, посапывает.

Осторожно выбрался в коридор, приложился попеременно глазом и ухом к замочной скважине. Ни звука, ни шороха. Постоял, вслушиваясь в ненавистную тишину. Внезапно ему дьявольски захотелось есть. Пошарил по полкам в поисках съестных припасов: манка, сахарный песок, кусочек хлеба. Набил рот песком, сжевал хлеб, — немного полегчало, ожил.

Руки дрожали, но в голове было ясно. Сейчас утро. Соседка, Клавдия Степановна, приходит с работы часов в шесть-семь. Главное — не проворонить ее возвращения. Пусть Юлька хоть заорется, после обеда от двери ни ногой! Он притащил к двери табуретку, уселся на нее и замер, смиренно положив ладони на колени. Вытянув шею, он вновь припал ухом к замочной скважине, весь превратившись в слух. Далеко внизу затопали глухие шаги, прогудели невнятные голоса. Толик подобрался, соскользнул с табуретки и приник к двери всем телом: ему послышалось, что кто-то поднимается по ступеням... Но звуки замерли вдали и воцарилось прежнее безмолвие.

И что их занесло на самую верхотуру? Любую квартиру могли занять, хоть на первом этаже. К концу блокады дом был почти пуст.

Всхлипнула Юлька. «Начинается», — подумал мальчик и затаил дыхание: может, помолчит хоть немного? Напрасные надежды! Она завелась без подготовки, настойчиво и пронзительно.

Толик вбухал в кружку с водой побольше сахарного песку и подступил к сестренке. С грехом пополам напоил, но не успокоил. Она заливалась слезами обиды, уговоры заглушала требовательными криками.

Давно не осталось чистых пеленок, приходилось использовать те, что подсыхали.

Девчонка словно задалась целью извести брата. Непросыхающее лицо ее горело, голос потерял чистоту, хриплый кашель временами сотрясал маленькое тельце.

Толик забился за плиту на кухне, отгородившись от безудержного рева двумя закрытыми дверями, и плакал сам, тоскливо и обреченно. Спохватывался, устраивался на заветной табуретке и прислушивался, прислушивался без конца, обмирая при каждом новом звуке.

В очередной раз устроившись на полу за плитой, он нечаянно забылся, и ему привиделся сладкий сон-воспоминание. Незадолго до конца войны папа приехал на побывку после ранения. Толик часами елозил у него на коленях, перебирал звонкие медали, ласкал звездочки на погонах и прижимался к родному, сильному, лучшему в мире человеку.

Папа казался решительным и веселым, но за этой веселостью в его глазах хоронилась печаль. На прощание он вскинул Толика к потолку и пошутил:

— В кого ты такой недомерок? Лупят тебя пацаны? Вернусь, научу бороться...

Похоронку принесли после победы. Юлька еще не родилась.

Толик очнулся и бросился к замочной скважине. Юлька вопила сипло и натужно. Как можно так долго орать? О боже! Она обделалась и ухитрилась по уши вывозиться в зловещей зеленой слизи. Толик извел все сухие пеленки и слюнявчики, вытирая ее. Пачкотня полностью не оттиралась, размазываясь по тельцу девочки тонким слоем, и вскоре и Юлька, и Толик, и кроватка со всем содержимым обрели травянисто-темную вонючую окраску. Всего сутки назад Юлька улыбалась херувимчиком, а теперь выглядела настоящим исчадием ада.

Запеленав сестренку в простыню, Толик почувствовал, что весь пропитался ароматом изгаженных пеленок и благоухает, как переполненный ночной горшок. «Нужно умыться и переодеться», — подумалось ему вскользь, но по инерции, заряженный еще утренним настроем, он снова забрался на табурет, отложив переодевание. И сейчас же забыл о нем, поглощенный мыслями о спасении.

Одно было ясно: отходить от двери нельзя. Обострившимися чувствами он вбирал в себя запахи и звуки, прослушивал лестничную клетку снизу доверху.

Издалека донеслось слабое позвякивание ключей, стук захлопнувшейся двери. Откуда-то пробивалось кошачье повизгивание патефона: только высокие тона, остальное срезалось расстоянием и стенами. Совсем рядом пророкотал и захлебнулся унитаз. Сквозь щель у пола потянуло едва уловимым запахом жареного лука. В доме не затихала жизнь, скрывающаяся за толстыми стенами, перекрытиями, дверями, и только на их этаже словно вымерло все.

Юлька ревмя ревела, и Толику казалось, что он скоро свихнется. Снова из его глаз полились слезы обиды, и он, не сдерживаясь, забарабанил кулаками и ногами в закрытую дверь, закричал оглушительно и отчаянно:

— Мама! Мама!! Помогите!

Он ощущал, что голос его глушится дверью, удары слабы и все потуги жалки и безнадежны, но, стеная и плача, продолжал биться о дверь.

Когда силенок почти не осталось, опрометью бросился на кухню, выхватил из ящика с инструментами молоток и шарахнул по ненавистному замку. Дверь содрогнулась и клацнула. Эхо удара громыхнуло по этажам. «Это другое дело!» — обрадовался мальчик и принялся дубасить, напрягая остатки сил.

«Если сейчас никто не подойдет, можно ложиться и спокойно умирать», — зло думал Толик. Когда молоток попадал по железяке, оглушительный, как выстрел, грохот прокатывался по всему дому. Толик стал бухать по ней, забыв обо всем на свете.

Тревожный гул заметался по лестничной клетке.

Толик не гадал о случившемся с мамой, не терзался жалостью к голодной сестренке. Он отупел, одичал и лепил удар за ударом, так, что, когда совсем рядом раздался приглушенный голос Клавдии Степановны, он обмер и чуть не рухнул на пол от неожиданности.

— Замок сломался?

— Не... — давясь слезами, запричитал мальчик плаксивой скороговоркой. — Нас одних заперли. Мамы нет второй день. Помогите!

— Где же мама?

— Не знаю. Вчера проснулись — ее нет.

— Да вы же опечатаны!

Туманное слово «опечатаны» было тревожно, и Толика охватил страх, что Клавдия Степановна сейчас уйдет.

— Не уходите, только не уходите! — взмолился мальчик. — Нам есть нечего.

— Успокойся, Толя, помогу. Это Юлька там ревет?

— Ага, второй день... Изошлась.

— Боже мой, тебе и примуса не разжечь.

— Кашу еще вчера скормил!

— Ну дела! — В ее голосе звучало искреннее изумление. — Детишек одних запечатали... Что за ирод такое удумал?!

— Ночью какие-то люди приходили к маме, я спал... Выпустите нас!

— Без разрешения вашу дверь трогать нельзя... И ключа все равно нет. — Она помолчала в раздумье.

— Не оставляйте нас!

— Успокойся, не оставлю... Недоумки, прости господи, начудили... По всему выходит — в милицию топать надо.

— Нет, не уходите!

— Толя, сам посуди. Еще чуток подождешь, самую малость. Я мигом. Иначе-то нельзя!

— Только вы не забудьте про нас!

— Не забуду!

Клавдия Степановна тяжело затопала вниз, а Толик продолжал тихо скулить от радости, надежды и страха перед необходимостью еще сколько-то времени томиться в одиночестве.

У воспрянувшего мальчика сердечко облилось жалостью. Он извлек сестренку из новой порции ядовито-зеленой слизи, слегка пообтер, напоил. Нянчился ласково, терпеливо и плакал вместе с ней, роняя крупные прозрачные слезы на грязное тельце девочки. Было неимоверно тяжело от голода и тоскливого воя.

Однако страх за жизнь родного, беспомощного, вверенного ему судьбой существа вызвал прилив свежих сил. Он порывисто схватил сестренку, пристоил на плече ее мокрую, в темных разводьях мордашку, прижался к ее живому, трепетному телу. Укачивал, ковыляя по разгромленной квартире, приостанавливаясь у входа и настороженно прислушиваясь.

Чуткое ухо поймало приближающиеся голоса и шарканье ног за дверью.

— Сейчас вызволим,— раздался голос Клавдии Степановны.— Милицию привела.

— Кто вас запер?— раздался хрипловатый басок.

— Не знаю. Вчера проснулись, никого нет.

— Гм... Вскрывать таку печать не имею права.

— Ты что, старшина? Дети одни! А случись что?

— Что случись, что случись?! Говорят, не имею права!

— Кто имеет?

— Доложу по начальству.

— Дети не поены, не кормлены второй день!

— В блокаду не тако бывало. Обождут малость.

— Быстрей, дяденька! Юлька кричит!

— Потерпи, малец, я разом!

Шаркающей поступью он устремился вниз.

Разговор был скоротечен и обескураживающ. После него на душе осталась муть.

— Не робей, Толя. Я с вами,— заверила Клавдия Степановна.

— Юлька кушать хочет. Я ее сладкой водой пою.

— У меня и молоко есть, и хлеб. Как вас накормить, ума не приложу?

— Только не уходите,— попросил Толик, разглядывая в замочную скважину растерянную женщиину.

Так стояли они, разделенные опечатанной дверью как китайской стеной, и лишь сипловатый плач Юльки не смолкал в глубине несчастной квартиры.

— Толь, мне бы по хозяйству кое-что справить. Я свою дверь оставлю открытой. Кричи, если что.

Толик поджидал возвращения соседки, а мрачные предчувствия сжирали последние надежды на благополучный исход. Подспудно он опасался, что случившееся с мамой настолько страшно и непоправимо, что никто не окажется в состоянии помочь им.

Выходила причитающая Клавдия Степановна, успокаивала и мальчика, и себя.

Вконец оробевший Толик внезапно отчаянно заикал. От новой истерики его удерживало только присутствие соседки.

Терпение Клавдии Степановны тоже иссякло.

— Пойду в милицию. Что они там, поумирали?

Толик заныл протестующе, заикал еще пронзительнее, и перед уходом она недолго постояла у двери, уговаривая его потерпеть и чуть не плача сама.

Возиться с сестренкой Толик был не в состоянии. Его то охватывало острое чувство вины перед ней, то затопляли раздражение и злоба, и тогда хотелось схватить это визжащее существо за ноги и зашвырнуть куда-нибудь подальше. Оцепенев от горя, он отсиживался на кухне за плитой, скрючившись и спрятав голову в колени, чтобы не слышать Юлькиного воя.

Вернулась запыхавшаяся Клавдия Степановна и неуверенно затопталась под дверью.

— Доложили куда следует,— осторожно заговорила она.— Ответа ждут. Что ваша матка могла натворить?.. Арестовали ее.

Толику почудилось, что его хватили чем-то тяжелым по голове.

— Не могу, не могу больше! Юлька умрет скоро!

Клавдия Степановна всхлипнула за дощатой дверью, вставшей между ними неприступной гранитной скалой.

— Толь, а Толь! Слезами горюшку не поможешь. Покачай Юльку да ложись сам. Во сне времечко ой как скачет. До утра вас вызволят непременно. Иди, дорогой, иди, хороший. Я вас не оставлю.

Толик испытывал страшную опустошенность. Движения его стали медлительны и вялы. Одно прояснилось: с мамой стряслась огромная беда, хуже не бывает. Уже не обойдется, не образуется, не станет как прежде. Тьма надвинулась на него, и последнее, что он помнил, было желание лечь на полу у входа, чтобы не прозевать вызволения.

Под утро, когда сон стал чутким, он снова слышал кряхтение и постанывание Юльки, но не смог покинуть приютившего его мирка грез. В этом мирке вспыхивало и меркло одно видение: на пороге, входя, застыла возбужденная, озабоченная мама, а за ней выглядывало улыбающееся лицо отца. Едва Юлькины всхлипы вторгались в сознание, видение мгновенно гасло, и Толик истово гнал от себя губительные звуки. Когда это удавалось, желанная картина высвечивалась вновь: мама и папа в тех же позах и с теми же неизменными выражениями лиц. Толик потерял надежду на то, что они переступят порог и приблизятся, смирился с безуспешностью своих усилий броситься навстречу, ему было не сдвинуться с места, не пошевелиться. Глубоко, краешком мозга он осознавал нереальность, бесплотность сна, но не хотел с ним расставаться.

Юлькин кашель и крик спугнули дремоту.

Третье утро без мамы. То ли со сна, то ли с голодухи, но, взяв на руки сестренку, Толик ощутил предательское подрагивание коленей.

Что делать? Об их беде всем известно, но никто не бьет тревоги, не спешит с вызволением. Чем они провинились? За свою недолгую жизнь Толик еще не сталкивался с несправедливостью и даже недоброжелательностью взрослых. Он не мог допустить существования предлога или проступка, за который следовало бы так жестоко наказывать. Мир внезапно изменился, стал безжалостен и недоступен пониманию.

Толик снова засел за плиту, плотно прикрыв обе двери. Затих, пытаясь различить неясные шорохи чужой, счастливой жизни. Ничего не услышал. Черпанул ложку песку, запил водой. Промытый желудок потребовал чего-нибудь посущественнее. Набросился на манную крупу. Глотал поспешно, пока не ощутил тяжелого, неприятного насыщения.

Яростная трескотня звонка взорвала тишину злосчастной квартиры.

— Толя, как вы там?— спросила Клавдия Степановна.

— С Юлькой совсем плохо.

— Не плачь. Плачем не поможешь!.. Была в милиции, сказали— ждать.

Снова стояли они по разные стороны закрытых дверей и переговаривались, как жители разных миров. Растерянная, исполненная сострадания женщина и одичавший, заплаканный мальчик. Двое суток отсидки опустошили и надломили его. Теперь он боялся, что Юлька умрет, а сам он сойдет с ума.

Несчастная женщина с трудом сдерживала себя. С одной стороны, прочно въевшийся в плоть и кровь страх перед печатями и подписями, приказами и начальниками, с другой— всезатопляющая жалость к пропадающим детям. Порой ее захлестывал порыв гнева, и она была готова схватить давно припасенный ломик, подковырнуть проклятую дверь и одним рывком высадить ее ко всем чертям!

За войну Клавдия Степановна надолбалась ломом, намахалась киркой и лопатой. Ходила на окопы, разбирала завалы, вскапывала здесь, во дворе, выковыривая булыжники, свой малюсенький огородишко. На такую дверь плечом приналечь, она распахнется, как игрушечная. Но печать завораживала. Печать— не замок, не сорвешь, не сломаешь. Этой бумажной полоски с круглым, бледно-сиреневым оттиском женщина панически боялась.

— Потерпим еще часок,— удрученно уговаривала она не то себя, не то Толика.

Прошел не один час, прежде чем она решилась действовать.

Дети канючили в два голоса. Сгущающаяся за окном тьма подгоняла Клавдию Степановну. Оставлять их одних в квартире еще на ночь

нельзя. Если случится несчастье, она никогда себе этого не простит. С ненавистью глянула женщина на печать и поняла, что не отступится. Зачем тянуть?

— Толь, ты чем громыхал, когда я впервой подошла?

— Молотком, — оживился изнемогший мальчик.

— Топор у вас где, знаешь?

— Ага...

— Тащи его... Приес? Руби филенку внизу... Так, сильнее... Потрескивает, чуешь?

Толик чуял одно: его немощные потуги ничтожны, топор отскакивает от доски, как от камня.

— Отойди-кось. Пособлю чуток.

Сильный удар потряс дверь. Сперва треснула одна дощечка, потом соседняя, и не успел Толик опомниться, как в двери зияло квадратное отверстие. Все произошло так быстро и просто, что Толику не верилось в долгожданное спасение.

Женщина грузно присела, и они оказались носом к носу. Суровым, дрожащим от напряжения и страха голосом она шепнула в самое ухо мальчику:

— Скажешь, что сам порубал! Что пособляла, молчи! Я ж чуток приложилась... Тебе ничего не будет, ты маленький.

— Ладно, — обрадованно бормотал заплаканный Толик, высовывая наружу нос и глубоко, всей грудью вдыхая сыроватую прохладу.

— Тащи Юльку!

Часа через два, накормленные и притихшие, они покинули квартиру соседки. В полусотне шагов от милиции, в темной подворотне Клавдия Степановна бережно передала Толику укутанную, сипло сопящую девочку.

— Смотри, проговоришься, будет у меня беда.

— Не проговорюсь! Я сам дверь рубал.

Клавдия Степановна дождалась, пока за Толиком и Юлькой захлопнулись тяжелые двери.

9. Пирамида

Если бы вожаки обдирали одного меня, я не выдержал бы и двух дней. Ревел бы, скандалил, бросился жаловаться, — никакие угрозы не остановили бы. А в стаде чего не вытерпишь, к чему не приноровишься. Стадо — само себе закон и судья.

Уже давно отчаяние уступило место горькой безнадежности: как все, так и я. С долгами сладить было невозможно, даже если объявить голодовку. И не было случая, чтобы кто-то вырвался из тисков.

Никола уверенно подмял под себя запуганную массу. Его кулак днем и ночью висел над нашими головами. Чуть расслабился, не вынес пайку два-три раза подряд — жди жестокого вразумления.

Побои в группе можно было перетерпеть: близость канцелярии, взрослых сдерживала кураж, зато в спальне ему не было предела.

И все мы вдруг ополчились друг против друга. Драки, словно вехи, размечали и каждый наш день, и всю зиму. Мы сшибались, взвинчивая себя, и от диких матерных угроз дрожали стены.

Но даже в самые яростные моменты стычки во мне, как и во многих других ребятах, не гасло здравое чувство меры, боязнь серьезно покалечить противника. Никола же и его приближенные стервенели в драке, доводили себя до невменяемости, полностью теряя над собой контроль, и в приступе исступления могли нанести любые увечья — выткнуть глаза, пырнуть ножом, придушить. Эту беспредельную жестокость, способную на все, невозможно было не ощущать, перед ней невозможно было не пасовать.

Скоро каждый знал, кого он сильнее и кого слабее, кому может безбоязненно вмазать «в поддыхало», а перед кем должен приниженно молчать. Нити господства и послушания прочно оплели наше скопище. Даже в обиходе, в играх общение велось на повышенных тонах. Сильные властно и угрожающе покрикивали, смаковали оскорбительные клички. Слабые робко отбрехивались, не переступая дозволенных границ.

К иным слабакам благоволили главари. С такими следовало держать ухо востро, лучше поддаться и перетерпеть, чтобы не налететь на более серьезные неприятности.

Горбатый выглядел дохляком, но восседал на самом верху да еще Педю рядом придерживал, хотя тот почти ничего не приносил с воли и висел на его шее прожорливым нахлебником.

Прослойку между правящей троицей и должниками составляли шестерки; и в спальне, и в группе они располагались у печки полукругом, внутри которого восседали вожаки.

Привадить объедками приблатненных шкетов, неспособных по натуре противиться более сильному, было нетрудно. Большинство из них не избежало долгового ярма, попав в петлю среди первых. Даже поначалу обласканный Дух, шестеривший не за страх, а за совесть, тащил Горбатому свой хлеб.

По первому взгляду Николы преданные ему шестерки срывались с мест, набрасывались на неугодного, помогая выколачивать подати, или, выпендриваясь, доводили и били нас без причин.

В соперничестве, в стремлении перещеголять друг друга в ублажении хозяев, шестерки нередко ссорились и схлестывались между собой. Но их сплоченность в поддержке главарей ощущалась постоянно.

Кажущиеся хаотичными стычки вскоре привели к полной определенности места каждого из нас в пирамиде подчинения. Венчали ее Никола и Горбатый, господствовавшие безраздельно, знавшие буквально все обо всех, вникавшие в любые мелочи наших отношений.

Вид драки будоражил предводителей, зажигал их глаза азартным огнем. Воинственные вопли «Стыкнемся!», как боевые фанфары, срывали их с мест и бросали в гущу вспыхнувшей потасовки: наводить ими же установленный порядок, следить за строгими правилами драки.

Правила соблюдались главарями с точностью, когда дрались мы; сами они при избиении своих жертв никаких правил не признавали. Законным и справедливым считалось то, что в данный момент утверждает вожак.

Правосудие вершил Никола. Его слово было последним. Ему даже жаловались, просили милости, защиты и честного разбора ссоры.

Конечно же, сытые жаждали зрелищ. Заскучав без баталий, они науськивали заведомо слабых на более сильных, подначивали тихонь, сталкивали лбами малолетних шебутных психопатов. Побитые вымещали досаду на еще более слабых, и число драк не убывало.

— Толик сильнее Пигмея! — крикнул Горбатый, подмигивая обоими глазами приятелям. — Слабо стыкнуться!

Толик смущенно потупился и заскучал: причин для отказа или слез не находилось, но смыться его так и подмывало.

— А ну, Рахит, отвесь ему плюху! — осклабился вспухшим ртом Никола.

— Вперед, Толик, вмажь ему! — подхватил Педя.

— Не дрейфь, Пигмей! Рви ему ноздри!

Пришла пора и нам с Толиком выяснить отношения, разделить между собой ступени у самого подножия пирамиды. Сердце болезненно сжалось, было совестно обижать приятеля, без причины ссориться с безобидным мальчишкой. Как избежать стычки и с достоинством отступить, если живая изгородь уже раздалась по сторонам и ты с соперником в ее середине?

— Не нужно, мы вам ничего плохого не сделали! — невразумительно залепетал я.

Никола сгреб нас за шкирки и стукнул лбами, как баранов. Заслонившись, мы невольно задели друг друга и сначала слегка, а потом сильнее стали махаться.

После я долго ощущал зароненную в душу неприязнь, скорее всего к самому себе, хотя помирились мы быстро и через денек-другой вместе играли в фантики. Но прежнего доверия не было; причиной тому была моя неодолимая серьезность — я ничего не забывал и всегда был настороже, ожидая нападения в любой момент.

Клевали меня попросту: попробуй повернись спиной к группе — тут же летишь вверх тормашками через присевшего сзади шпендрика. Или

врежут пендель под зад, дескать, «по натяжке бить не грех, полагается для всех!»

Происходящее в группе волновало меня все меньше. Кого обирают, кого поборы еще не коснулись — не все ли равно? Пусть грабят хоть весь свет, только бы мне хлеб достался. Пусть лаются и грызутся до озверения, только бы на меня не сыпались пинки и брань.

Главный мздоимец, Горбатый, восседал в центре опутавшей нас паутины и подергивал за ниточки своих жертв. Тотальный учет был им поставлен со щепетильностью и размахом завзятого бухгалтера-крючкотвора. Он любил подолгу мараковать над потертыми на сгибах листочками с хитрой приходно-расходной кабалистикой, где за каждой кличкой, нацарапанной грязно-фиолетовыми каракулями, тянулись длинные хвосты загогулин — цифири нарастающих долгов. Горбатый вглядывался в заветные письмена, и гримаса довольства сглаживала морщины его лица. Шевеля губами и прикидывая на черновике, он дотошно исчислял набежавшие куски, отмечал сроки, принимал во внимание покорность, — все шло в дело у вершащих каждодневный суд вожаков.

Ему особенно нравилось поигрывать в честность, хотя никто никакого отчета или оправдания от него не требовал. Словно гипнотизируя, Горбатый давил жестким взглядом свою паству, перебегал глазами с одного должника на другого, на момент задерживаясь на каждом, возможно, вынося про себя приговор и решая, кого следует подстегнуть окриком, а кого наказать кулаком. Становилось понятно, что он и без писанины помнит назубок все и обо всех, а меркантильные подсчеты лишь доставляют ему удовольствие.

И каждый должник, не поднимая головы, кожей чувствовал неусыпное внимание Горбатого.

— Гони пайку! — кричал он растерянному, поникшему Толику.

— Очень рубать хотелось, не бей, не надо! — с обескураживающей наивностью молил Толик и заслонялся в испуге руками.

— Должен — гони! — неумолимо напирал Горбатый, шлепая ладонью по плечу мальчишке и тут же поддавая запястьем под подбородок.

— Завтра вынесу, сукой буду! — лязгнув зубами, плаксиво мямлил Толик, морщился и уползал за спины ребят.

— Зарекалась ворона... И вчера финтил: «Завтра, завтра!» — распалялся Горбатый, и, подражая Николе, сек худенькую повинную шею. — На малолетство не надейся, не проймешь!

Толик тоненько блеял. Он хорошо знал, что обещаниями никого не разжалобить, но каждый раз заводил ту же карусель с просьбами и посулами.

У меня так не получалось. Меня воспринимали как взрослого, без скидок на недомыслие.

Каждый раз внутренняя борьба при виде пайки возгоралась заново: что выбрать, голод или побои? Никто не посоветует, не подскажет. С настоящей бедой всегда остаешься один на один, как с тяжелой болезнью и смертью.

Хлебушек, вот он, желанный, лежит горьким искусом. Грядущая вздрючка тоже реальна, ее довелось испытать не однажды на собственной шкуре .

Каждый раз меня трясло и ломало, борьба шла с переменным успехом: то выносил хлеб и проводил в голодном покое остаток дня и ночь, то заглатывал, тешил слипшийся желудок и тащился в группу как на эшафот.

10. *Куча мала*

Я вцепился намертво в ржавые прутья койки. Двое шестерок, мерзко матерясь, пытались меня отодрать. Им помог Никола. Он орудовал у самой свалки, бросал пацанов одного на другого и придавливал сверху, вспрыгивая и давя кучу задом и башмаками.

Поодаль от извивающихся тел кружили шестерки, толкали и давили нас, не давая расползаться. Горбатый лягал вырывающихся мальчишек, норовя засветить в лицо. Педя подзуживал издали:

— Так ему, по сопатке! Попал! Кровянкой залился!

Смятенный и обезумевший, распластался я ниц под грудой барахтающихся тел и ошалело вертел головой в надежде избежать ударов в лицо. В кучу малу я попал впервые и еще не знал, что безопаснее всего скрючиться на боку, поджать колени и прикрыть голову руками. Куча давила. Припечатанный плашмя, я бился всем телом, как пойманная рыба, задыхался.

— Бей Рахита! — входя в раж, вопил Педя.

Накатывал смертельный ужас: грудную клетку сдавили — не вздохнуть, еще немного — и расплющат. Я закричал, и в тот же миг острый носок ботинка со страшной силой полоснул меня сбоку по ребрам. Свет померк...

Сознание возвращалось медленно и трудно. Оглушенный, я валялся в проходе у порога спальни, даже не представляя, долгим ли было исчезновение...

Полутьма, лишь размытые кресты оконных рам темнеют на свету.

Нестерпимо ломило голову, словно стянутую стальным обручем, кровь толчками билась в висках. Я хватал воздух судорожными глотками и не мог пошевелиться. Попытался встать, но пол вздыбился, кресты рам закачались, как живые. Пришлось снова лечь.

Кололо в боку, и эта боль пронзала все тело. «Отшибли нутро», — всплыла зловещая мысль, рожденная памятью о бесчисленных криминальных историях, заканчивавшихся избиением заарканенных несчастных воришек.

Я застонал и, напрягшись, потянулся к койке.

В постели очухался окончательно и дал себе волю. Рыдания распирали грудь. Солоноватая, с металлическим привкусом кровь вызывала тошноту. Я уткнулся в подушку, сморкался и плакал взахлеб.

За что меня бьют и ненавидят? Я мучаюсь и голодаю, как все! А в следующий раз могут забить и до смерти... Не лучше ли умереть сразу, чем терпеть издевательства и голод? Но умрешь насовсем, и ничего никогда больше не будет... Пожалей меня! Мне нужна такая малость, только бы не били...

В отчаянии, как в горячечном бреду, я истово творил сумбурные заклинания, шептал несуразные слова, каких раньше никогда не произносил.

Боль по-прежнему буравила ушибленный бок, голова раскалывалась, все во мне надрывалось и стонало. Я был близок к смерти или помешательству и безутешно скулил в мокрую подушку, исступленно моля о пощаде.

Сквозь собственные всхлипы и подвывания я угадывал приглушенный говорок. Я знал, что никто не спит, и, как только прекратил скулеж, откуда-то издалека, словно сквозь вату, донеслись внятные голоса:

— Оклемался!

— Не будет должок зажухивать!

— Вздумает финтить, с кожей сдерем!

— В лагере эту харкотину шлепнули бы почем зря!

— Может, и нет. Слабаки живучи, как тараканы.

— А сколько таких ухайдакали, не счесть!

— Этот сам копыта откинет.

— Шкелетина!

Если и впрямь загнусь, не выдержу? Тогда терять нечего... Дерзкое решение подкрадывалось исподволь, окончательно пересиливая ущербную приниженность, и, пока оно облачалось в слова, сердце бешено застучало.

Один выход — пожаловаться взрослым. Никто, кроме меня, не посмеет, никто так много не должен... Забьют потом до смерти или прирежут... Так и эдак — конец!

От страха перед неизбежной расправой было не отмахнуться, и желание выжить вздымало горячую, как бред, решимость убежать куда угодно, только подальше от этого страшного логова.

Найду, где голову приклонить, в миру хоть кто-нибудь посочувствует и приютит, есть же добрые люди! Нужно выдать вожаков и рвануть... Только куда уйдешь по морозу? А вожаков накажут, но из ДПР не вытурят, значит, кара неминуема. Безнадега, деваться некуда.

«Пусть меня убьют,— решил я вдруг до странности спокойно.— Зато остальных должников спасу. Поймут тогда, что и я не хуже других». Умереть бы и доказать всем... Что доказать, я не очень себе представлял и поэтому стал думать о доносе, о побеге, о наших немногих родственниках, оставшихся в живых после войны. Самая близкая родственница — тетка, жена маминого брата, погибшего на фронте. Ее адрес я затвердил перед расставанием с мамой. Пожалуй, напишу ей, может, приедет, выручит. Заберет к себе или устроит в детдом или хотя бы в другой приемник.

Планы намечались один смелее другого, но все были нереальны, и я это отчетливо ощущал. Зато стало ясно главное: нужно что-то делать, на что-то решиться, сами собой неприятности не кончатся.

Моя решимость созрела в тот вечер: последний, жуткий и верный, как самоубийство, шанс я упустить не должен.

Педя выскуливал тоскливую песню:

Звенит звонок, идет поверка. Монтер задумал убегать.
Не стал поверки дожидаться, а стал проворно печь ломать...

Песня гасила боль и настраивала на смиренный лад. Но теперь я знал, что не так одинок и беззащитен, как раньше, со мной заветная, грозная думка.

Скорбно плакали ледяные разводья, намерзшие на темных окнах спальни. От махорочного дыма и вони слезились глаза. Накатывала знакомая полуночная муть. Воспаленные мысли вязли в расползающейся реальности зыбких видений. «Наверное, заболел»,— подумалось с безразличием.

Мирный напев убаюкивал, словно колыбель, но, когда голоса замолкали, веки мои разлеплялись, и я подозрительно озирался: главарей и шестерок легко заносило от тоскливого воя к безудержному куражу.

Сегодня песни растрогали Николу, и он разоткровенничался:

— ...Родителей воронок умчал девять лет назад. И с концом, ни слуху, ни духу! Маманя на инженеров учила. У папани было два ордена, б... буду! На машине ездил с шофером, чтоб мне пропасть! Помню...

Ничего страшного, можно соснуть, тем более запели Николину любимую:

Черный ворон, ты не вейся...

И мне мерещилась не парящая в высоком небе хищная птица, а давно ставший притчей во языцех «черный воронок», мелькавший зловещим призраком в ночных проломах улиц.

Наконец издерганное сознание отключилось, и вновь я будто пережил пинок по ребрам, остановку дыхания и нестерпимую боль в боку.

— Спать не даешь,— тормошил меня Царь.— Брыкаешься, орешь, как дурной!

Я продирал залитые слезами глаза и, накрытый пологом ночи, снова соскальзывал в колеблющуюся тьму, с воплем срывался в бездну.

Непробудное утро, сварливая ругань уборщицы:

— Мордой бы вас да в свое дерьмо! Языком лизать! Все обдри... ли вдрызг! Не отмоешь вовек! Просыпайтесь, азьяты немытые!

...Горбатый с ухмылкой хапнул мою пайку, полоснул взглядом и изумленно гоготнул:

— Позырьте, волки! Пигмей окосел! Ну, умора!

В умывалке у тусклого, проржавевшего огрызка зеркала я долго рассматривал себя. Резкая черта отделяла иссиня черные, стриженые волосы от белого как мел лица. Левый глаз уползал в сторону, и заставить его смотреть прямо не удавалось.

11. Свиданьице

Мглистым полднем Толика вела по двору женщина, вызволившая его из опечатанной квартиры. Ее приезд никого не оставил равнодушным; ни одного из нас ни разу не навещали, редкие счастливцы получали письма.

Было странно видеть открытый, безбоязненный уход воспитанника из ДПР. Пильщики сматывались в город втихаря, через лаз в заборе, по задворкам и задам огородов.

С момента появления гостьи меня волновало одно: пожалуется Толик или нет? Живая надежда должников и страх вожаков незримо витали в притихшей группе, прячась за мутной кисеей табачного дыма. Молчали главари, молчали ребята, но гадали все об одном: выдаст или сробеет?

Их возвращение мы прозевали. С мест нас сорвал шум скандала. В зале воспитательница и начальница с трудом удерживали вырывающегося Толика.

— Заберите меня! — неистово вопил мальчик, захлебываясь потоком слез.— Пожалуйста, заберите! Работать пойду, обузой не буду, клянусь! Заберите, а то сбегу и замерзну под забором!

У высокой женщины в куцем полушубке, нерешительно топтавшейся у выхода, прыгала нижняя челюсть и растерянно кривился рот.

— Слезиночка моя горючая! — не выдержав, заголосила она.— Не терзай меня! Куда ж я тебя возьму? Муж пластом лежит, одна бьюсь... Потерпи, родной мой! Я ужо еще приеду, гостинчиков привезу.

Толик безнадежно выл.

Стало и мне невмоготу, защипало глаза. Я попятился в задние ряды, опасаясь, что сейчас у всех на виду зайдусь ревом похлеще Толика.

Гостья внезапно прервала причитания и, оттесняемая начальницей, боком отступила во тьму коридора к выходу.

А Толик еще долго пускал сопливые пузыри, как интернатский несмышленыш, впервые оставленный мамой, и стращал:

— Все равно убегу!

Оглянувшись назад, я ненароком наткнулся на хищный, немигающий взгляд Горбатого и поразился его звериному блеску. Откровенное ожидание добычи горело в нем диким мерцающим огнем: выследил, подстерег, остался последний разящий прыжок.

В группе он первым бросился к Толику:

— Со свиданьицем! Корешей с панталыку сбиваешь? За тобой должок числится, а ты мотать мылишься? Кого обдуть вздумал? Мы ж тебя отовсюду достанем, замухрыга! Что там заначил?

Горбатый грубо и жадно выгребал из карманов ноющего мальчишки диковинные яства: печенье, мятные пряники в бледно-розовой помадке, желтые мандаринки, конфеты в фантиках. Он фырчал от нетерпения и, чуя более сильного хищника, поскорее совал в рот мандаринку вместе с кожурой. Головокружительный аромат защекотал ноздри.

— Рви, давись! — вымученно цедил вспухший от слез Толик, обреченно подставляя свои карманы.

Подоспел Никола и хапнул весь гостинец. Печенье раскрошилось по полу, Горбатый подбирал крошки, хватал губами с ладоней.

Стало понятно: Толик не рассказал, побоялся.

Тупое безразличие охватило меня. Эти мандарины, конфеты — все мертвое. О них и думать нечего, и смотреть на них незачем. Мой хлебушек снова поплывет мимо, и что бы ни взбрело в голову, какой бы план избавления ни причудился,— все зря, беспросветно, несбыточно. Горбатого не стряхнуть. Ему и сейчас неймется.

— Тебе, шибздик, половину долгов скостим. Завтра штефай пайку, разрешаю,— отвалил он от своих щедрот. Его всегдашняя готовность половинить наши долги, но ни в коем случае не прощать их наводила на мысль о его опыте такого рода в прошлом, возможно, даже в качестве клиента.

12. Лапоть

Жизнь вожаков текла на удивление гладко, им сходило с рук все. И вот случилась первая неувязка: взбунтовался Лапоть.

В тот день Горбатый, устрашающе выпятив челюсть, гаркнул через всю группу:

— Опять не вынес?!

— Это моя пайка. Должок я вернул.— Лапоть говорил осторожно, но в этой осторожности слышалось запретное для должника нарушение субординации.

— Ты рыпаться? — Горбатый тянул слова.— Молчать, пока зубы торчат!

— Живьем жрете? Больше не обломится! Ни крошки! — строптиво набычился Лапоть.

— Выкобенивается! Слышите, волки?

«Волки» слышали. Никола без размышлений сграбастал заартачившегося мальчишку за ворот и поволок на середину. Лапоть не поддавался. Оторванные металлические пуговицы горохом запрыгали по полу.

— Сам нарываешься, придурок лагерный! — Николе надоела эта волынка и, резко бросив вперед напружинившуюся тушу своего грузного тела, он звезданул дерзкого пацана в подбородок.

Лапоть пролетел до двери и рухнул у порога.

Помедлив, приподнялся. Густая кровь текла из его рта, смешиваясь со слезами, глаза лихорадочно искрили, загораясь сумасшедшей решимостью.

— Убью, гад! — испустил он неистовый вопль и с разгону боднул обидчика в живот.

Верзила дернулся и запрокинулся навзничь, а непокорный мальчишка с кровавой пеной на губах подмял его и, закусив удила, ожесточенно гвоздил кулаками по вздутой морде, рыча истерически:

— Не дам хлеб! Не дам! Порушу крохоборов!

Ошеломленный и растерянный, взирал я на психическую атаку восставшего должника и вдруг с необыкновенной трезвостью заметил, что Лапоть, хотя и приземистый, но устойчивый и плотный, как будто литой, мальчишка с короткими голенастыми ногами.

Вопреки разуму, нелепая надежда трепыхнулась в груди. Неожиданно я обнаружил в себе отчетливый позыв помочь Лаптю, поднять всех должников. Всех не прирежут, даже не налупят. Шальное искушение, как озарение, толкало вперед. На миг почудилось, что оно овладело всей группой, что сейчас и без моего жиденького призыва произойдет всенепременное свержение власти. Я напрягся в готовности броситься на врагов по первому зову.

Впервые в жизни во мне взыграло неистовое желание ввязаться в драку; руки чесались в дерзком азарте. Для счастья нужно было шарахнуть кулаком по водянисто-серой роже Горбатого, крушить скулы вымогателям, видеть мольбу о пощаде в их стылых глазах. Представлялось даже большее: упоение яростной дракой, небывалая радость от ощущения собственных ловкости и силы, блаженство победы и освобождения из голодного плена. Участившееся дыхание распирало грудь, испарина выступила на лбу.

Николе никак не удавалось сбросить цепкого мальчишку.

Опомнившись, я зыркнул по напряженным лицам ребят, пытаясь распознать смельчака, способного поднять за собой всех. Чувство близкой опасности, риска еще пылало во мне, пальцы стиснулись до боли.

Но дальше сжатых кулаков дело не пошло, страх и осторожность взяли верх. Только стук крови в висках да противная дрожь остались позорным напоминанием о секундном мужском порыве, который угас, не успев разгореться. Никто не отважился поддержать смутьяна ни словом, ни жестом.

Сзади на разъяренного Лаптя наскочили Горбатый и Дух, с опаской отдирая его от поверженного вожака. Лапоть отмахнул Горбатого локтем, и тот кувыркнулся вверх тормашками, задевая столы и стулья, сминая столпившихся ребят. Однако это вмешательство оказалось решающим. Словно проснувшись, прыткая свора шестерок навалилась на бунтовщика. Всем скопом оттянули отбивающегося, рычащего мальчишку и позволили Николе подняться. Началось дикое избиение, и ватага позабавилась всласть.

— Гробь гада!

— Ломай его!

— Шибай по балде!

— Разрисую! — Горбатый взмахнул ножом, но ударить не решился. Только харкнул в лицо Лаптю и озлобленно призвал: — Добивай лягаша!

Растерзанный, с разбитым носом, Никола остервеиело, ребром ладони, рубал мальчишку по чем попало.

— Шалишь!.. Покурочу!..

Общими усилиями загнали смутьяна в угол и, наседая со всех сторон, рвали его беспощадно. Ослепленный злобой Лапоть яростно отбивался руками, ногами, едва ли не зубами. Но силы были неравны. В последний момент, когда подуставшая свора повалила его и начала пинать, Лапоть извернулся, продрался сквозь лес ног и тел и опрометью сиганул в дверь.

На душе было скверно, как будто я совершил подлость. «Пусть бы избили, — думал я с презрением к самому себе, — не впервой». Струхнул, упустил момент, которого, возможно, больше не представится. Подсобил бы — глядишь, что-нибудь и выгорело бы. И другие должники потянулись бы, вот хоть Царь. Еще человек пять-шесть, а там — стенка на стенку, да с нами никто бы не сладил! Тогда конец голоду и мучениям!

Запоздалые сожаления глодали меня.

Вокруг возбужденно потявкивали шестерки, готовые на новые изъявления преданности, оправлял одеяние остывающий Никола. К нему были обращены пришибленные, подозрительно одинаковые лица должников: с каждого липкой патокой текли вымученная угодливость и покорность. Я чувствовал, что и моя физиономия скисает бездумной, заискивающей улыбкой.

Мороз и метель отрезали Лаптю пути отступления. В запертый чулан с ватниками проникнуть ему не удалось, а бунтарская выходка одной потасовкой ограничиться не могла. Это не бесхитростная драчка неполадивших школьников, которая прекращается при первом жалобном писке или плаче.

Предстояла грозная ночь с искуплением дневных прегрешений.

Поначалу темная не задалась. Непокорный Лапоть разодрал пополам наволочку, наброшенную ему на голову. Орава шестерок навалилась на него в открытую, дубася кто чем. Никола торкал шваброй ему в лицо и взрыкивал свирепо, по-звериному. Лапоть огрызался ослепленным яростью дикарем, выплевывал кровь. Педя сидел в стороне, талдычил:

— В парашу его, в парашу!

Клубок дерущихся тел поволокся по проходу и выкатился в предбанник.

— Окунай подлюгу!

Загремела бадья.

— Сука! Опрокинул!

— Макай харей в дерьмо!

Внезапно с лестницы донесся крик:

— Шухер!

Голос Марухи пресек вакханалию избиения:

— Что, взбесились?! С ума сдурели?!

Застревая в дверном проеме, шестерки ворвались в спальню и стреканули по постелям.

— Хромай отсюда! — забасил Никола в прихожей.

Они негромко попрепирались, и Маруха увела его к себе.

Вернулся Лапоть, всхлипывающий, вонючий и мокрый, с длинной струйкой крови, протянувшейся из уха за ворот рубашки...

Отшумели страсти, от сердца отлегло, но мыслишки трепыхались совсем иные. Искушать судьбу желания не было. Хорошо, что удержался, не поддался соблазну во время дневной стычки, не полез на рожон. Атамана и его кодлу не одолеть. Горбатый чуть финкой не пырнул Лаптя, меня Никола придушил бы шутя...

Слава богу, куражились не надо мной, нужно терпеть, должны же прийти путевки.

Однако радость эта была мимолетной; впоследствии, припоминая расправу над Лаптем и свою трусливую нерешительность, я был мучительно противен самому себе.

Казалось, шальная смута пресечена и бунтовщику остается только смириться. Но утром Лапоть рванул из приемника.

На отлов беглеца отрядили команду во главе с покорябанным Николой, а к вечеру в погоню пошли и всполошившиеся воспитатели. Напрасно! Попутать его в тот день не удалось, и только через пару недель его привел милиционер.

Лаптя было не узнать. Под серой, прожженной на темени пилоткой топорщились толстые, словно приклеенные, обмороженные уши. Из-под

запахнутой на голой груди хламиды, свисавшей грязной бахромой, виднелись закрученные в ветхие обмотки ноги. К ступням были тесемками прикручены дырявые галоши.

— Личит ему клиф-то! — со знанием дела оценил наряд Никола. — Без порток, а в шляпе!

— Ливрея что надо! Пообтерлась самый мизер! — восхищенно поддакнул Педя.

— Что, убег? — торжествовал Горбатый. — В миру-то икру жрал?

— На тебе ж прямо вериги! Где прибарахлился? — удивлялась начальница.

Меня поразило не одеяние Лаптя и даже не его обметанные черным налетом губы и шмыгающий, в струпьях облезлой кожи нос. Поразили нервный тик и одичалый, затравленный взгляд.

Вот как воля привечает нашего брата!

Попутали его в родной деревушке. Завернули обратно, передавая из рук в руки по длинной цепочке городов и селений со множеством таких же заведений, как наше.

Попытка удрать не удалась и не удастся. Как затеряться в этом тесно-упорядоченном мире, повязанном нищетой и рабскими путами, где свободного жизненного пространства совсем не осталось?

С месяц Лапоть отлеживался в изоляторе.

Без главного работяги, усердного и сноровистого Лаптя, возникла трудность с заготовкой дров. Артель нерадивых пильщиков не справлялась с заданием. Им было не до пил и топоров, их прельщал все больше оживающий после войны и оккупации городок с его лавчонками, баней, кино, барахолкой и вокзалом.

И зима подзатянулась.

Начальница изругала филонов и повелела снаряжать после обеда вторую смену заготовителей дров. Теперь большинство ребят старшей группы раз-два в неделю бывали на улице. И только несколько запаршивевших доходяг, вроде меня, Царя и Толика, по-прежнему мечтали о прогулке, как о хлебе и светлом празднике.

Вожаки уверовали в безнаказанность и взлютовали. Хлесткие удары сыпались направо и налево, по поводу и без повода, возводились в повседневную норму общения, заменяя ненужные, теряющие смысл и действенность слова.

Вечерами вытворялось неописуемое: беготня по койкам, неуемная матерная грызня картежников, куча мала и еще какие-нибудь дикие выходки, — как тут уснешь?

И позже, когда все засыпали, легчало не всегда. Даванет удушье, вскинешься в ужасе, разинув рот, жадно хлебнешь тяжелого настоя и из последних сил сдержишь рвущийся из глотки предсмертный вопль. Почти задохнувшийся, приподнимешься на локте: ложиться страшно: удушье того и гляди сомкнет челюсти намертво и уже не проснешься. Ворочаешься измученный и гонишь мысли о смерти. Сон все-таки побеждает, голова клонится в вонючую прель подушки.

Попривыкнув, я решил про себя, что лучший способ превозмочь ночь — поскорее опять уснуть. Будь что будет! Я впадал в чуткое и тревожное забытье: какая-то частичка сознания бодрствовала и бдительно следила за дыханием, охраняя жизнь.

13. Отруби

Промерзший Дух в припорошенной опилками фуфайке, в заснеженном облезлом треухе ввалился в группу и быстро-быстро залопотал что-то Николе.

Я навострил уши и наполовину разобрал, наполовину угадал смысл сказанного: от стены конюшни отодрана доска, и есть шанс разжиться то ли овсом, то ли жмыхом.

— Заметано, — кивнул Никола. — Отобедаем, нарисуем!

«А что, если и мне испытать фортуну» — вдруг всплыло отчаянное желание. Пока у них пойдут сборы да хлопоты...

Соблазн разгорался вместе с боязливым напряжением.

Горбатый принял мою пайку, с кислой миной повертел ее, едва не обнюхал и пренебрежительно поджал губы: он меня не грабил, а делал одолжение, прямо-таки одаривал. Прошли времена, когда, шальной от нетерпения и жадности, он рвал куски вместе с руками. Забурел, пресытился.

Я отбросил сомнения: рискну!

Впервые за много недель выскользнул во двор.

Резкий порыв студеного ветра пронзил насквозь, я захлебнулся его пьянящей свежестью и чуть не повернул обратно. Но прилив безрассудной решимости подстегивал: возвращение сулило лишь безысходность и вечный голод. Мгновение постоял, пытаясь унять гулкое биение сердца. Тело сжалось, колючие глотки морозного воздуха обжигали горло.

Высоко в небе висели легкие облака. Все было бело, и лишь над мохнатыми снежными шапками домов торчали темные печные трубы. Ветер срывал с них жидкие дымки и, унося, быстро развеивал.

Низко согнувшись, отворачивая от ветра лицо, поковылял я неверной походкой между бугристыми сугробами. Высоченные сугробы скрывали с головой и взрослого, так что из окон дома я не был виден.

Громко скрипел сухой, свежевыпавший снежок. Подумалось: скопычусь и ткнусь в сугроб — хана, не выбраться, увязну.

У входа в конюшню было натоптано, напачкано, и я повернул в обход вдоль стены. Подгибались колени, зубы вылязгивали звонкую чечетку, слезящиеся глаза шарили по неровной, залатанной стенке из разномастных, заиндевелых досок и горбылей. Стоп! Словно по наитию потянуло меня прямо к заветному, повисшему на одном гвозде горбылю. Сдвинув его, я сунулся в узенькую щель. Тело проскользнуло сразу, а голова застряла. Подергавшись и ободрав уши, пролез внутрь.

Потемки дохнули в лицо острой вонью навоза и кислотой лошадиной мочи. Узкие полоски серого света окаймляли прямоугольник неплотно пригнанных дверей.

В нетерпении я вытянул вперед руки, ощупывая полумрак. Медленно прояснилось, по сторонам проступил тесный хлев с хомутами и упряжью по стенам, со стойлом в углу. Слева всплыли нечеткие очертания громоздкого, приземистого ларя. А рядом, на земляном унавоженном полу, — длинный, набитый чем-то под завязку мешок. Дрожащие руки нащупали туго затянутую перевязь. Рванул зубами ветхую дерюгу, она легко подалась. Протиснув два пальца в прокушенное отверстие и поднапрягшись, вспорол гниловатую, расползающуюся ткань. Из дыры вырвалось облачко пыльной трухи — отруби!

Я зачерпнул пригоршню муки и с жадностью припал к ней ртом. Пыль хлынула в глотку и нос, дыхание перехватило. Выворачивающий нутро кашель потряс меня.

Я долго кашлял, стараясь делать это как можно тише. Наконец отпустило. Слегка успокоившись, я погрузил ладонь в серую бархатистую мучицу и принялся хватать ее губами, как нервная лошадь.

Пыль забивала горло, я задерживал вдох, боясь снова поперхнуться, и жевал, жевал не переставая, стараясь поскорее смачивать слюной и заглатывать прогорклую, отдающую плесенью и мышиным пометом пищу богов.

Мир перестал существовать, я отрешился даже от страха. Был только мешок с теплыми отрубями и неуемное желание набить спекшееся брюхо.

Закоченели ноги, замерзла спина, а я с лихорадочной поспешностью, давясь пылью, уминал все новые пригоршни. «Стоп! — опомнился наконец. — Дорвался до бесплатного! Накроют с поличным — и хана! Вытащат из-под ларя и забьют, затопчут, как паскудного воришку».

Приникая к мешку, нагреб доверху карманы шаровар и с трудом привстал. Тянуло пошмонать еще немножко, вдруг наткнусь на жмых или овес, но неверная полутьма дальних углов таила опасность. Лишь запихнул напоследок полную пригоршню в рот и выбрался наружу. Яркий свет резанул по глазам. Подслеповато щурясь, я пригнулся и обомлел: серая пыль покрывала меня с ног до головы. Слегка пообмелся и тут же ощутил тонкую струйку муки, текущую через дыру одного из карманов в штанину. Штанину у щиколотки стягивала резинка. Все же я заторопился. Теперь, когда благополучный исход был близок, дрожь охватила меня. Я опа-

сался, что буду перехвачен у входа и силой лишен добычи. Пробираясь в дом, был уверен, что неприятность подстерегает у двери в канцелярию. На лестнице каждую минуту ждал внезапного нападения и ограбления.

Все обошлось, новичкам везет. Будто заговоренный, проскочил незамеченным несколько комнат, ни у кого не вызвав подозрения.

В спальне бережно ссыпал отруби на разостланное вафельное полотенце, осторожно смахнул остатки, налипшие на кальсоны и изнанку шаровар, отряхнул запудренные ноги.

Глянув на иззябшие тонкие икры, мимоходом отметил: ну и доходной же я стал! В последний момент, завязывая концы полотенца, не выдержал, размотал и заначил немного в карман, решив полакомиться в группе втихаря, как давленым мякишем.

Проржавевшая нижняя наволочка представлялась подходящим укромным тайником. Подпорол ее пошире с угла и припрятал сокровенный узелок в грязную вату. Подушка лежала маленькая, бесформенная, неотличимая от десятков других.

В группе я уже полностью уверовал в удачу и даже предвкушал, как после отбоя заморю червячка. Пожалуй, отруби не следует транжирить. Растяну на неделю, даже на месяц, слегка прикладываясь один раз в день, а то и два.

Я устремил взор в себя и проникновенно размышлял о том, что отруби — это мука, только погрубее, и из нее можно испечь хлеб. Вспомнилось, как мама заводила квашню и наделяла нас кусочками теста, как мы играли с ним, как наши самодельные фигурки ставились в духовку вместе с большим праздничным пирогом. Божественный аромат свежевыпеченного пирога замутил сознание. К отрубям потянуло неудержимо, и я осторожненько, несуетливо обмакнул в карман наслюнявленный палец и слизнул с него прилипшие пылинки.

Но разве можно утаить съестное в изнывающей от голода толпе?

— Что темнишь?

Мгновение — и меня вышвырнули на середину; еще мгновение — и Никола выдернул наружу карманы моих шаровар, рассыпав муку на полу.

— Отруби затырил! Жмот! На шарапа! — разнесся истошный вопль, и в комнате поднялся невообразимый переполох.

С голодным блеском в глазах пацаны повскакали с мест и, отталкивая друг друга, тучей свирепой саранчи бросились на рассыпанную горстку отрубей.

Давка, ругань, грохот сдвигаемых столов и падающих стульев. Рассеянная мука исчезла, слизанная в один миг.

Суматоха постепенно улеглась, и только парочка пацанят еще долго ползала под столами и, как магнитом, обшаривала доски пола наслюнявленными ладошками в поисках призрачных остатков.

До самого отбоя корил я себя за недомыслие: дурья башка, разве можно было тащить отруби в группу? А когда не оказалось заначки в подушке, загоревал всерьез. Недавнее везение обернулось новой издевкой. Раз в жизни разжился съестным и не уберег!

Затравленным звереныщем бросал я из-под одеяла осторожные, злые взгляды в дальний конец спальни. В стане Николы, как обычно, громко базарили, резались в карты. Я беззвучно скулил в подушку, не смея и заикнуться о пропаже. Не пойман — не вор!

14. Вторжение

Взбесившиеся зимние ветры развеивали сухую, острую крупу по подмерзшему насту, теребили нагие ветви кленов. Печные трубы выли пожарной сиреной, отодранное железо на крыше билось и бухало невпопад. Время умеряло свой тягучий ход, а иногда, словно забывшись, неподвижно зависало и прислушивалось к шорохам и вою взбалмошных вихрей. Казалось, сплошная зима продолжается уже много лет подряд.

И вот каким-то шальным потоком, плутавшим в глухих просторах зимнего безвременья, в наш заповедник занесло четверых подозрительно здоровенных лбов. Кто их направил сюда, понять было трудно. Бесприютная поросль лезла отовсюду, хлестала через край, и наш застойный омут, возможно, приглянулся в качестве предвариловки. Так или иначе неведомыми зигзагами больших дорог к ДПР прибился квартет великовозрастных верзил лет восемнадцати — двадцати.

Неспешной походкой бывалых бродяг вплыли они в группу, колыхнулись гулливерами над нашими стрижеными макушками и широко расселись на привилегированных местах у печки. Первые две-три минуты новички косились на наши изумленно-вытянутые физиономии, как бы оценивая казенный приют и его обитателей. Быстро поняли обстановку, отвернулись с откровенным безразличием и вниманием нас больше не удостаивали.

Большая часть комнаты была теперь оккупирована новоявленными пришельцами.

Мы удивленно пялились на широкие спины, растрепанные шевелюры и живописные лохмотья потасканных клифов; казенных одеяний подходящих размеров им, конечно, не нашлось.

Новенькие разительно отличались от нашего мышино-серого царства. От них исходил особый вольный дух: терпкий запах пота взрослых людей, зимних дорог, чеснока и водки.

Место Николы занял горбоносый губан с пронзительным взглядом нерусских миндалевидных глаз, с копной витых смоляных волос. Треугольный торс и медлительные движения его выказывали непомерную физическую силу.

Второй, поджарый хлыщ с впалой грудью и узкой птичьей головкой на тощей кадыкастой шее, торчал на табуретке покосившейся каланчой, далеко протянув ноги-ходули. Он то и дело приглаживал косой чубчик, острым концом коловший левую бровь, таращил глазки-пуговицы.

Еще двое новеньких, невзрачных, со стертыми, неприметными лицами карманных воришек, держались в тени, на подхвате, явно уступая лидерство.

Как ни внушительно выглядели пришлые, я не сразу оценил по-настоящему ситуацию, даже в душе раболепствуя и уверяя себя в том, что с компанией преданных шестерок Никола шуганет пришельцев с насиженных мест в один момент. Явится с прогулки, устроит потеху!

Как всегда, хотелось угодить «своей» приблатненной кодле. С ними вместе еще жить да жить, и, возможно, мне как-то зачтется такая глубокая, даже не выказываемая вслух, преданность. Преданность на всякий случай.

И вот исхлестанные метелью пильщики шумно ввалились в группу. Непорядок в распределении мест озадачил их, но напролом сразу никто не полез; вклинились в наш кишмя кишащий муравейник.

Лишь Никола запнулся у порога, недоуменно озирая странных пришельцев.

— Схлынь с места, хмыры! — наконец взъерепенился он. — Занято!

Первым нескладно привстал длинный Хлыщ, за ним разом взметнулись остальные.

— Ай, нэ хорошо! Вышибала. Нэгостэприимный какой! Накрычал: дэбош, галдеж, — гортанно выговорил Черный и хищно раздул орлиный носище. — Ты этот мэст покупал, лось? Сколька стоит?

— На кого тянешь? — гнул свое Никола. — Хиляй под нары! Вертухай дешевый!

Хрясть! Что-то хрустнуло, и одутловатая морда резко, как на пружине, мотнулась вверх. Бил Черный. Молниеносный разящий удар огромным кулаком снизу в горло. Удар кувалдой по живому телу.

Никола надломился и, вскинув руки к лицу, кулем плюхнулся на пол.

День за днем, месяц за месяцем сносили мы издевательства и побои, трусливо наблюдали за безжалостными расправами главаря над первым, кто подвернулся под руку. День за днем, месяц за месяцем учили нас вере во всесилие, неодолимость и абсолютную законность его власти.

Теперь, поверженный, он вызывал плебейскую раздвоенность: жгучее желание видеть его раздавленным и посрамленным — и глубоко внедрившееся неверие в возможность такого чуда. Что-то произойдет, Никола вывернется. У него натасканные шестерки, финка, верные кореша среди воров и громил всех мастей на воле и за решеткой. Радоваться рано и опасно.

Трудно было с ходу принять сторону чужаков. Конечно, главари отвратны и жестоки, но они свои, домашние недруги, я повязан с ними круговой порукой, кровно причастен к их тайнам и потому — к их безопасности.

Секундное замешательство — и ошалелый, дико орущий Никола взвился на дыбы.

— Покурочу!

Неукротимым огнем сверкнули калмыцкие глазки, Никола с нахрапом припадочного ломил на обидчика.

Хрясть! Его подбородок со всего маху напоролся на мощный кулак, как на камень, пущенный из пращи. Удар был не менее впечатляющ, чем первый.

Потрясало ледяное спокойствие Черного: блестящие, без тени страха глаза, неспешный поворот головы, расстегнутая верхняя пуговица синей косоворотки на высокой груди.

Никола шмякнулся рыхлым задом на пол, жутко забился, стеганул пронзительным матом:

— ...тебе в дых, в звучащую, мычащую, рычащую!

Он поднимался драться, не принимая поражения.

Мы повскакали с мест, теснясь к стенам, освобождая арену сражения. Неужели не ввяжутся шестерки, не поддержат хозяина и кормильца, не примутся терзать новую жертву?

Едва атаман привстал на колено, два коронных, сокрушительных удара — хрясть! хрясть! — сломали его, сшибли с ног.

Он бился в блатной истерике у порога и дурным голосом изрыгал ругательства, плача омерзительно, как никто ранее из его жертв. Попытался было угрожать, но жесткий тычок сокрушил его. Глухой удар затылком об пол — и все было кончено.

— Дэбош, рыла! — Скорый на расправу парень учащенно дышал, его хищные ноздри трепетали.

Произошло невероятное! На наших глазах всесильного атамана отделали, как последнего доходягу и дистрофика. Мы еще не знали, можно ли радоваться открыто, можно ли улыбнуться победителю и довериться ему, а торжественные фанфары уже гремели в наших сердцах.

Меня поразили ошарашенные, совершенно круглые и совсем белые глаза Толика. Тут же почувствовал, что все мы крайне возбуждены.

Захаров оторопело замер в неестественно скрюченной позе, широко разинув рот. Рядом Лапоть, упругий, изготовившийся к прыжку боец с оловянными, вылезающими из орбит зенками. Этот не обманывал себя никогда, был по-крестьянски прост и искренен в своих чувствах. Этого только кликни, не поколеблется...

Царь внешне спокоен, но, несомненно, тоже взбудоражен; отложил книгу, неотрывно всматривается в происходящее.

Потрясенная группа безмолвно пялилась на Николу и залетную стайку парней, никто не упустил ни малейшей детали экзекуции.

Хлыщ согнулся вопросительным знаком, прикурил от уголька и неожиданно разразился песней:

Ой, какой я был дурак,
Одел ворованный пиджак
И шкары, и шкары!
А теперь передо мной
Решетка, двери, часовой
И нары, и нары!
И вот на нарах я сидю,
Такую песенку дудю:
Свобода! Свобода!

Счастье свалилось нежданно, как оттепель среди суровой зимы...

Впервые я без страха смотрел на Николу, измочаленного, отхаркивающего красные сгустки. Лицо его — ком сырого мяса, волосы вздыбились в беспорядке, распухший нос пузырил кровавыми соплями. Новой психической атаки не предвиделось, хотя слезливые хрипы еще рвались из его глотки:

— Поплатишься!.. Умоешься кровянкой!.. Попадешься на кривой дорожке, берегись!.. Отольются мои слезы!

Я не испытывал никакого злорадства, только удивление и стыд: как мы могли покориться такому жалкому существу? Даже опасался, что побитый Никола зафордыбачит и его опять начнут метелить. Довольно! Учиненной расправы хватит с лихвой. Омерзительны драки, омерзительна кровь, даже если это кровь ненавистного вожака.

Наступил желанный миг освобождения, и все во мне ликовало. Не от чувства утоленной мести, а от крепнущей уверенности в том, что пайку за обедом съем сам.

«Урвать больше нечего, — осмысливал я произошедшее. — Суп и кашу в карман не спрячешь, из столовки не вытащишь, а потому — хуже не будет».

Ну и лбина этот Черный! Ну и здоровила!

Укрощенный Никола сразу увял и не казался неустрашимым и сильным даже собственным шестеркам. Щербатый рот его лез на сторону, волосы неряшливо косматились, изрезанное лицо долго не заживало. Стали особенно заметны его рыхлость и болезненность. Невидящие пустые глаза прятались, как будто в неподвластном ему мирке и смотреть-то не на что.

Бывшего вожака унижала и давила сама необходимость находиться среди нас, и мы не могли не ощущать этого так же, как и его неугасающей враждебности: избиение воспринималось всеми как фактическое заступничество за нас, должников, в душе враждовавших с ним ежедневно.

Нельзя было не ощущать его несмиренного духа и потому, что своего местечка в толпе, своей ступеньки в пирамиде у него не было. Мы по возможности сторонились низвергнутого повелителя, побаиваясь задеть ненароком и попасть в тенета его тлеющего злопамятства.

Нагнал Черный страху, а возможно, и радости на шестерок: прикусили языки, растворились в толпе, недавних хозяев признавать перестали.

Рассеялся агрессивный пыл Горбатого. Он съежился еще сильнее и весь обратился в зрение и слух: задумчиво оглядывал, будто оценивал, парней да еще страшился Лаптя пуще огня.

Спик и Педя в ожидании лучших времен; подолгу буравил глазами спину Черного.

Распался союз грабителей, и поборы прекратились сами собой.

Прорываясь в столовку, каждый из бывших должников хватал, не раздумывая, свою пайку и поспешно, ни на кого не глядя, уминал ее, давясь и напрягаясь, по-собачьи заглатывая непрожеванные куски, словно малейшее промедление грозило новой голодовкой. Трудно было до конца уверовать в спасение: рубаешь собственную пайку, а вроде бы объедаешь кого-то.

Мы будто дали зарок не упоминать ни о прошлых обидах, ни о невозвращенных долгах. Возможно, подспудно мы опасались подать соблазнительную идею новым хозяевам и повесить на шею старое ярмо. Никому и в голову не приходило жаловаться или рассказывать парням о повальной обираловке. Да те и слушать не стали бы. Поглощенные одной заботой — раздобыть паспорта и уплыть на волю, — они не замечали нас, объяснялись рваным языком полунамеков-полужестов, смысл которых поначалу до меня не доходил.

Черный нацелился раскурочить канцелярский сейф и увести все документы — воспитанников и воспитателей.

— Сварганим дэлцэ, заживем на воле! — мечтал он.

— Дохлый номер! — не соглашался Хлыщ. — Раскинь мозгой: на хрена нам ксивы малолеток?

— Липу в этой дырэ нэ выправишь, с паспортом труба: сплошные колхозныки, сами о ксивах мечтают.

— С сейфом засыпемся. Забреют, припаяют на всю катушку!

— Засыпемся, засыпемся! — гнул свое Черный. — На мели сыдим, верный дела боимся? Вспорем медведя — и айда! Как горны орлы! Мэтрик загоним, на ксивы махнем!

Нас их грешные дела не печалили. Всколыхнулся здоровым смехом затихший омут, загалдела, заверещала без удержу воспрянувшая ребятня. Ссоры и драки прекратились как по команде, никто не повелевал, и, пользуясь неразберихой, мне удалось вклиниться в артель пильщиков и проторчать на морозе пару часов.

Я пыхтел и отдувался, откатывал от козел мерзлые чурки и укладывал штабелями хмельные колотые полешки. Ноги подворачивались, как протезы, а я радовался упорхнувшим в прошлое злоключениям и уверял

себя, что с этой вылазки на работу уже не буду таким никчемным и бесполезным, что в изменившемся быте группы найдется и мне подходящее местечко.

И изо всех сил старался подсобить ребятам.

15. Блатная житуха

Парни, сковырнув Николу, могли взять бразды атаманства в свои руки, но не снизошли до этого. Возможно, не догадались или не успели снизойти. Их недолгое пребывание промчалось на одном пьяном вздохе.

— Новенькие! — обратилась к ним воспиталка, подозрительно принюхиваясь: к неистребимому, горьковатому душку махры, которым группа провоняла насквозь, примешивался сивушный чадок и кисловатый аромат сопревших портянок. — Быстренько, пилить дрова!

Молчание и полная невозмутимость. Лишь после значительной паузы Хлыщ, не оборачиваясь к воспиталке, замурлыкал:

Каждый знает, что в субботу
Мы не ходим на работу,
А у нас суббота каждый день, да-да!

Воспиталка стушевалась и, растерянно заикаясь, угрожающе повысила тон:

— Понятно вам?!

В ответ — только знаменитая песня:

Коль начальник прибегает,
На работу выгоняет,
Мы и с ним заводим тары-бары, да-да!

— Прекратите!

Если на работу мы пойдем, да-да!
От костра на шаг не отойдем, да-да!
Побросаем рукавицы,
Перебьем друг другу лица,
На костре все валенки пожжем, да-да!

Воспиталка немо трепетала. Черный обернулся, повел хищной носиной:

— Цыпа, от вас дурно пахнет!

— Да ты... — У женщины не хватало слов.

— Лапушка, зачем хипиш? Мы отлично поладим. — Черный скользнул откровенно непристойным взглядом по блеклым вдовьим прелестям.

Женщина вспыхнула всем своим забытым существом; краснота со щек поползла по шее под вырез платья. Она невольно попятилась и, распушив хвост, унеслась на всех парусах.

— Погодь, кроха, не ярись! — развязно хохотнул вдогонку хлыщ.

Парни фырчали, как кони.

Однако конфликт скоро был исчерпан. Новенькие разобрались в обстановке и зажили по собственному режиму. Поутру снаряжались с дровяной артелью и прямо от крыльца правили в город. Исчезали они и после отбоя. Слетались в спальню затемно изрядно выпившие, видимо, приворовывая по мелочам на стороне.

Всколыхнулись темные ночи старой блатной мутью на новый манер. Потом казалось, что парни пробыли в нашей глухой заводи одну-единственную, длинную, потрясшую нас ночь.

Как-то нас разбудило громыхание в предбаннике и разудалый хрип:

Когда качаются фонарики ночные...

Запрокинув затылок, судорожно дергая острым кадыком, Хлыщ забулькал из горлышка бутыли с белесым, будто хлорированным самогоном. За ним надолго, взасос, приложился Черный. Лил как в бездонную бочку. Наглотался, с отвращением содрогнулся всем телом, затряс одурело башкой:

— Хорошо!

Хлыщ грустно вымолвил:

— Если б не воля, хуже не было б этого городишки.

— И этого поганого питомника!

— Тошнотворная дыра! Ни баб, ни шалманов!

— А пивной ларек у толчка? — осторожно ввернул Горбатый.

— Сортирная будка на ледяном бугре!

— Где пьют, там и льют! — резюмировал Хлыщ и дребезжащим баском запел:

Завелась одна халява, Катя.
За нее пускали финки в ход...

— Тяпнем, допоем!

Хозяйничал Хлыщ, видимо, тянувший лямку главного добытчика. Хлеб и сало кромсал, как рубил, крупно, не скупясь. Уписывал неопрятно, роняя крошки. Хлебал сивуху, покрякивал, поперхивал — лезло обратно. Щедро угощал приятелей.

— Жизнь наша зэкова...

— Нас дерут, а нам некого!

— Говорят, скоро хлеба будет навалом.

— Ветвистая пшеница уродит?

— Сказки врагов счастливого народа.

— Ветвистыми прут рога у зэка!

Хлыщ порывался петь, но его хватало лишь на один куплет:

Я тебя как куклу разодену,
Лаковые корочки куплю...

— Пора сваливать.

— Ксивы нужны.

— С паспортом на работу возьмут, — неожиданно брякнул Захаров.

Парни изумленно заржали:

— Чей там голос из помойки?

— Работяг нашел! Придурок лагерный!

— Мы воры в законе, жмурик!

— Уродоваться ты будешь, дефективный!

— Где бы нэ работать, лишь бы нэ работать!

Долго не спадал чумной настрой. Парни хлебали самогон без просыпа. Хлыщ уже не пел, а хрипло плакался приятелям:

— Мать ишачила, и что? Повымели все до зернышка... Мать слезами изошла, поняла — безнадега! Ну меня гнать: «Иди через кордон, дите не тронут!» Мне и семи не было, а прошел и выжил. Всю деревню смерть прибрала...

Мы сотворили себе кумиров. И могло ли быть иначе? Пайки не отбирали, не били и вообще не баловали вниманием. Мы не сводили с блатных тузов преданных глаз: по всем установленным в группе канонам шикарная житуха и представлялась примерно такой.

Непрерывная пьянка мешала им развернуться, обстряпать прибыльное фартовое дельце и умотать, но чем больше они обалдевали от сивухи, тем большее восхищение вызывали.

Теперь мы знали все о блатной жизни, видели воочию, как роскошно, припеваючи прожигают ее рисковые хлопцы. Но как только они исчезали из поля зрения, мечталось об одном: о путевках в детдом.

...Это была всем ночам ночь. Отяжелевшие от выпитого, с огромной баклагой бултыхающейся браги парни ввалились в спальню раньше обычного. Громко орали, словно глушили себя песней:

Занюханный сто первый километр,
Меж двух отсидок передых чумной.
Вся водка выжрана, все песни перепеты,
Все шлюхи опаскудели давно.

Потом ругались обиженно:

— В собственный ДПР не пущают! Окно забили.

— Карга безносая...

— Это тетя Дуня, — услужливо пояснил Горбатый.

— Была б помоложе, замухрыга...

Снова хлестали самогон, разевая мокрые пасти; напивались до почернения и одурения. Снова спорили: брать сейф или не брать?

Проклинали город, поносили приемник и весь белый свет.

Сизым маревом колыхался дым, заволакивая дальние углы. Поник-

ший Хлыщ сорванным голосом сипел песню. Черный стоял крепко, как конь, подпевал свирепым, гортанным клекотом:

На морском песочке
Я Марусю встретил...

— Банку ставлю за бабу! — возопил Хлыщ.
— Невтерпеж!
Настал момент. Горбатый давно подстерегал его, жаждал не просто услужить — осчастливить.
— У Николы Маруха есть! За стенкой, у девок. В натуре, гадом буду! — бросил он лакомую кость.
Безошибочное волчье чутье подстегивало Горбатого, искушение втереться в доверие к сильным, любой ценой обрести безопасность граничило с безумием.
Парни встрепенулись.
— Веди, покажь!
Горбатый резво поскакал на женскую половину, блатные за ним. Сразу же вернулись, озабоченно шушукаясь:
— Перебудим малолеток, поднимут шухер!
— Сюда ее!
— Ты, шмаровоз лохматый! — сверкнул на Николу пьяными зенками Черный. — Шкандыбай за ней!
— Вали на фиг! — заартачился опальный вожак.
— Кому сказано!
Парни скинули упирающегося Николу с койки и пинками погнали по проходу. Скособоченная, в слезах, мохнатая морда Николы проплыла надо мной. Он путался в широких кальсонах, слегка сопротивлялся, но резкий толчок вышвырнул его за дверь.
Блатные высыпали в прихожую следом.
— Пластанем тут! — зашептал Хлыщ.
— Парашу выбрось!
Параша тяжело взбулькнула и заплескалась у нашей койки. В нос шибануло острым, теплым зловонием.
Потушили свет. Я затаил дыхание и зажмурился. Затеваемое бесчинство вздымало волну отвращения более страшную, чем ожидание побоев.
— Ой, пустите! — совсем рядом вскрикнула перепуганная Маруха.
— Не шипи!
— Никто не узнает!
— Нет, нет! — причитала Маруха придушенным шепотом и дрыгалась, не даваясь.
Дикая дрожь пронзила меня, как будто рядом кромсали ножами живую плоть.
— Не брыкайся! Удавлю!
— Кричать бу... — поперхнулась на полуслове противившаяся Маруха: ей зажали рот.
Груда тел грузно плюхнулась на пол. Звуки борьбы, приглушенные вскрики: резкие, угрожающие — мужские и сдавленные, молящие — женские, — перепутались в прихожей.
— Отпустись!
— Кобели! Шакалы!
Прерывистое пыхтение и стоны бились в двух шагах от моего носа.
— Не зуди, стерва!
— Кончайте!
— Титьки в сторону, замуж не возьму!
— Довольно... Зверюги! Хуже немцев!
Никто ни единым звуком не нарушил жуткой тишины спальни. Лишь тяжелая, томительная возня да незатихающие бабьи всхлипы в предбаннике.
Было не до сна. Почти обморочная жуть душила меня. Глаза намертво зажмурились, дергались колени, дрожало нутро. Я скрючился до боли в груди не в силах совладать с потрясением и не понимая, почему так страшно и гнетуще.
Тырканье в прихожей длилось бесконечно.
Передышка на день, повторение разнузданной оргии и та же жуткая, как перед казнью, полуобморочная муть. Парни орудовали уверенно и хладнокровно. Запуганная Маруха смирилась с многотрудной участью и покладисто, без скандала приволоклась в прихожую.

Спальню захлестнул бардачный разгул. Куролесили почти до утра. Было страшно взглянуть на невообразимый бедлам у печки: полуголые тела среди сдвинутого каре пустых кроватей, раскиданные по полу матрасы, одеяла и подушки, на тумбочках стаканы мутной жижи, вскрытые консервные банки, раскрошенный хлеб, раздавленные соленые огурцы.
Хлыщ дребезжал надрывным баском, дирижировал, словно шаманил, осеняя спальню взмахами длинных согнутых рук. Сомлевшие, едва ворочавшие языками, сипло подпевали остальные забулдыги.
Нервно звенел и временами ломался чистый голосок пьяного Педи. Запомнилось несколько разрозненных отрывков и связные, неслыханные ранее куплеты на затасканный, забубенный мотив:

Тебе мерещится,
Что водка плещется,
И растревоженно звенит струна.
Тебе мерещится,
Что юбка хлещется,
Полощет парусом, как по волнам.

Через день-другой я смекнул, что наше безгласное скопище остается вне поля зрения парней. Они не замечали нас, ни спящих, ни бодрствующих, как не замечали стены и потолки, койку и парашу. Их пьяный загул ничем нам не угрожал.
Накатило тупое безразличие. Я перестал со страхом воспринимать происходящее. Едва голова касалась подушки, здоровое расслабление охватывало сознание, и я засыпал глубоко и быстро, как ребенок.
Подробности дальнейших возлияний в основном прошли мимо. Осталось несколько отчетливых сцен пробуждения, выпукло-живописных в центре и затененных по краям, как на картинах Рембрандта.
Саднило горло, я очнулся, захлебываясь слюной. Тяжелый чад горелого мяса перешибал вонь параши и сивухи. У печки Горбатый дергал перья и пух с белого гуся.
Черный лежал на постели обнаженным задом вверх и блаженно, как кот, жмурился, поблескивая фарфоровыми белками. Россыпь темных крапинок испещрила его ляжки. Согбенный Педя старательно тискал эти крапинки, выдавливая и выколупывая крупные градины дробинок.
С горящими в азарте глазами, сжимая в руках колоду, метал карты Хлыщ, стоя коленями на разметанных в беспорядке по постели картах и деньгах.
«Горбатый и Педя зря времени не теряют, — подумалось мне. — Расплевались с Николой, переметнулись к новым хозяевам...»
Еще один момент пробуждения просвечивает сквозь тьму забвения. Меня вырвал из сна то ли пьяный рев, то ли бивший в нос блевотный смрад. Надо мной, глаза в глаза, покачивалось пропитое лицо мертвецки пьяного Черного. Сломавшись пополам, он водил указательным пальцем перед моим носом и рычал:
— Черны! Пейте мою кровь... Все — черны!
Бессознательная пелена подернула его остекленелый взгляд, он не соображал, что говорит и кому.
За спиной Черного кто-то нудил пьяным фальцетом:

Все для тебя, дорогая,
Все для тебя я куплю.
Только не штанцы, родная,
Сам без порток я хожу!

Черный сдвинулся в сторону, и мне открылось бардачное пиршество, в центре которого замарашкой восседала пьяненькая Маруха. Растерзанная улыбка кривила ее блиноподобный лик. Она кренилась на бок и хрипела загробным скрипом:

Эх, шарабан мой, американка,
А я девчонка да хулиганка!

Хлыщ дергал ее за рукав, уговаривал:
— Брось, лахудра, шарабан. Давай эту:

Вдруг на повороте, гоп-стоп, не вертухайся,
Вышли два удалых молодца,
Купцов зашухарили,
Червончики забрили
И с ними распрощались навсегда!

Маруха не сдавалась и выла про шарабан.
Хлыщ облапил ее, навалился. Маруха отстранялась, мекала: «Американка...»
Потом сомлела:
— Приспичило! Свет!
В полутьме блеснули лунные колени Марухи. Я сразу же уснул, довольный своим удивительным спокойствием.

16. Круги

Счастье лопнуло нежданно и просто: шайку накрыли при ограблении водочного ларька. Нагрянула милиция, перевернула спальню вверх дном, но ничего криминального не нашла.
О парнях мы больше никогда не слышали, а последовавшее сведение счетов оставило памятную зарубку.
Воспрянувший Никола зверски топтал Горбатого полночи, не обращая внимания на его пронзительные вопли, покаянные мольбы и рыдания. Подустав, Никола отдыхал, распластавшись на койке, матерясь и взвинчивая себя.
— В землю вобью! Дерьмо жрать заставлю, хмырь болотный! — грозил он и снова принимался метелить провинившегося. — Изувечу, второй горб вырастет.
Несколько дней Горбатый стонал, кряхтел и жаловался на боли в спине, но понемногу оклемался и захлопотал с прежним проворством. Но жестокость расправы преобразила его. На Николу он взглядывал с откровенным ужасом, от его окрика впадал в транс и трепетал всем нутром, кончиками пальцев, морщинами сизой физиономии. По едва заметному кивку бездумно и изхлобленно бросался исполнять прихоти вожака. Этот ужас до конца не исчез и после полного замирения заклятых дружков, когда главари и шестерки сплотились воедино, как встарь. По доброй воле существовать друг без друга они уже не могли. Кусочек хлеба доставался мне не чаще одного раза в день.
Томительные часы голодной маеты лепились один к одному.
Воспоминания о вторжении матерого ворья и их бесшабашном загуле не поощрялись Николой и поэтому были непопулярны.
Началось другое. Присмиревший Педя стал проявлять подозрительную активность. Заигрывая и балуясь, он лип к постели какого-нибудь пацана постарше. Поначалу мальчишка не давался, отбрыкивался. Педя не настаивал, приставал к другому. Однако домогательства возобновлялись, давя природный стыд, разжигая любопытство и будя чувственность.
Вскоре тот, кто недавно сопротивлялся и пищал, сам заманивал Педю и, заполучив, затихал удовлетворенно. Усердствующий Педя порхал из кровати в кровать, расширял круг клиентов: больше участников, меньше хулителей и судей! Самого себя срамить и позорить не станешь. Все должны быть повязаны не только круговой порукой, но и приобщением к интимным и тайным усладам. Интимным и тайным поначалу. Со временем просвещенные Педины ученики особенно не стыдились и не таились, а блудливый учитель стал нарасхват. Обслужить всех он уже не успевал. Неохваченные колупались втихую под одеялами и подводили вслух хвастливые итоги.
Лишь дрожащие от холода и голода малолетки до конца отстаивали свое естество и отбивались от похотливого Педи, как могли. Над ними гадливо потешались.
Педю ничто не смущало и не сдерживало. Однажды в группе его с приспущенными штанами выволокла из-за стола ошеломленная воспиталка.
Пацаны постарше едва не валялись от хохота. Горбатый аж пропищал:
— Жил-был в приемнике Педя-холуй...
Взрослые деликатно замолчали случившееся. Педе все «до фени», лишь невинно помаргивал.
Сексуальная осведомленность переполняла нас. В спальне набившие оскомину дежурные еврейские анекдоты перемежались сверхпохабными откровениями. Байки о педерастах, сифилитиках, скотоложестве и бог зна-

ет еще о чем перепевались в буквальном и переносном смысле. Песен, шуток, прибауток, подначек и поговорок сексуально-хулиганского пошиба с непотребной бранью знали мы великое множество. Не вдумываясь в смысл, орали на все лады:

...Мы подол ее задрали,
Быстро очередь создали...

Помнятся и более грязные образчики песнетворчества, почти целиком состоящие из мата. Нудили нескладно переделанные песни военных лет с нескончаемо повторяющимися похабными припевами. Песни забылись, остались только отдельные корявые строки припевов с рефреном:

До утра кровать скрипела, все одно — война!

И раньше, до вторжения взрослых воров, сексуальной болтовни было предостаточно. Теперь она отчасти материализовывалась и естественно и незаметно слилась с всеобщим поклонением блатной вере. Эта вера отвергала труд, превозносила касту воров в законе, фартовые дела, круговую поруку, погони за «мусорами», побеги из тюрем. Без ее заповедей нельзя было сделать и шагу, вымолвить и слова. Эта вера требовала безграничной, до самопожертвования, преданности блатным и жестокой расправы с предателями. Все люди делились на воров — волков и прочих чертей.
Как навечно обращенный в блатную веру, я искренне сокрушался о своей слабости. Вырасту, стану сильным, смогу добывать и грабить побольше других, — утешал я себя.
Но исступленное ожидание отъезда свидетельствовало: последняя надежда жива, прошлое не умерло, и нет большего счастья на свете, чем покинуть этот темный мирок. Ожидание не позволяло окончательно опуститься, светило в непроглядном одиночестве. Чуть-чуть доброты и света — и блатные шоры слетели бы с наших глаз, как сухие листья в осенние холода.
Детская память цепка и естественна. Она выхватывает события, коснувшиеся ее непосредственно. Периферия во мраке, ее не разглядеть. Много чувств, крохи понимания; зажженный ими огонек исповеди, пожирая остатки сил, светит, согревая.

17. Царь

Поборы давно набрали прежнюю силу, а Царь, словно не зная об этом, не вынес ни одной пайки. Часами сидел нахохлившись, с отсутствующим выражением лица. Замкнулся, за день двух слов не выдавит.
Царя не засосали ссоры и драки, и с ним главари всегда обращались сдержанно. В опасный момент он умел отмолчаться, уклониться, не дать повода для нападения. Даже оправдательной зацепки для наскоков на него не находилось: не зажимщик, не стукач, не нытик. Доставалось — не крысился, не отбивался. Моргал рыжими ресницами, давился слезами и безответно никнул над книгой.
Я постоянно чувствовал притягательность внутренней его силы. У вожаков эта необычность вызывала раздражение.
— Чистоплюй, мудрена вошь! — пренебрежительно бурчал Никола.
Первое время в нерадивости Царя ничего крамольного не проглядывало: усердные клиенты поперевелись. Николе же, видимо, лень было вмешиваться.
Так продолжалось несколько дней, пока неслучайность непослушания не стала очевидной. Напряженность сразу возросла.
Спустили шестерок, и закрутилась потеха. И в группе, и в спальне они как стервятники клевали Царя, тыкали растопыренными пальцами в глаза, цепляли без предлога, срывая голодную злость.
— Дятел малахольный, гони пайку!
— Чего рыло воротишь? На облом нарываешься?
Царь взглядывал исподлобья, удрученно тупился и клонил торчащие уши. Не протестовал, не пытался парировать оскорбления — сидел смирно и онемело.
— Подунди, подунди над книгами напоследок! — шпынял его Горба-

тый и взмахивал зажатым меж средним и указательным пальцами лезвием бритвы, как бы примериваясь.— Попишу, зенки вытекут!

Ватага шестерок переступила ту грань подсознательного уважения к необычному мальчишке, которую до сих пор все безотчетно признавали. Оторопь брала, когда включившийся в травлю Никола заламывал Царю руки, гнул его и свирепо крушил коронным ударом колена в лицо.

Искривленный страданием, в крови и слезах, Царь тихо всхлипывал:

— Зачем бьешься?

Плач давно уже никого не трогал, но от его «бьешься» жалость раздирала сердце.

Если отчаянный вызов Лаптя блеснул мимолетной несбывшейся надеждой, то безгласное непротивление хрупкого и ранимого Царя дышало заведомой обреченностью.

Шансов выстоять не было. Сердце рвалось от страха и нехороших предчувствий.

...Царя плющила куча мала, Горбатый лягал в лицо. Полупридушенный, ошалевший от боли и страха, Царь вырывался и долго плакал, скорчившись живым, несчастным комочком. В споры не ввязывался, не давая раскрутить словесную перепалку, довести ее до новых побоев.

Его упорное молчание приводило в недоумение главарей, и на время Царя оставляли в покое. Поникнув над книгой, он цепенел.

Я видел, что страниц он не переворачивает, а, уведя в себя отрешенный взор, думает о своем, печальном и давнем. Очнувшись, он обводил группу осторожным взглядом или, пригорюнившись, рассеянно высматривал что-то в снежной дали за окном. Меня неодолимо влекло к затравленному мальчишке.

Я заглядывал ему в лицо, пытаясь вызвать на разговор, но отклика не встречал и чем подбодрить его не знал. Я подавлял в себе постоянное желание обращаться к Царю, но выдерживал не всегда:

— Сыграем в фантики?

Царь отрицательно мотал головой, не проронив ни слова.

Порой складывалось впечатление, что от него отступились, что главари смирились с потерей этого странного клиента. Но, сдирая послеобеденную мзду, Горбатый нет-нет да зыркал недобрым оком в наш угол, перешептывался с Николой.

Присаживался рядом с Царем и, пытаясь уладить конфликт по-мирному, увещевал:

— Не можешь каждый день, будешь выносить пайку раз в три дня. Идет?

Такому одолжению позавидовал бы любой, но Царь не прельстился. Уперся, помалкивал и продолжал съедать свой хлеб. При всей слабости Царя в его упорстве была непостижимая твердость, протест несравнимо более мощный, чем психическая атака Лаптя. Сломить его можно было лишь чем-то необычным, сверхжестоким.

Развязка близилась, и решающий день не заставил себя долго ждать.

— Предупреждаю в последний раз. Кончай ерепениться! Не вынесешь сегодня, пеняй на себя! — сказал, как плюнул, Никола.

За ужином отработанным движением сунул я пайку за пазуху и глянул на Царя. Он сидел неподалеку, насупившись и уткнув нос в мисочку, поковыривал подсохшую лепешку прогорклой, остывшей каши. Хлеб лежал под рукой. Вдруг лицо его исказилось подступившими слезами, он замер, надумав что-то решительное, затем переломил пополам кусок и принялся мелко крошить его поверх несъеденной каши. Тонкие пальцы, теребившие хлеб, дрожали.

Тревожную тишину расколол резкий вскрик воспиталки:

— Поели?

Вставая, Царь плеснул кружку чая поверх раскрошенной пайки.

— Ну, Царь, достукался! Пришел твой черед! — грозно изрек Горбатый.

Рык матерных угроз всегда гремел в группе камнепадом, пугал обещанием невообразимых расправ, бед, возмездий и смертей. Но задумываться над реальным смыслом этих угроз не приходилось до той памятной расправы над Царем.

Дымилась смрадным чадком параша. Рыжая лампочка цедила мутную немощь.

Нырнув в стылое чрево родной постели, я долго ворочался, прилаживаясь: подтянул колени к животу, подоткнул края подсохшей за день простыни и одеяла. Одеяло и простыни защищали бока от ледяного объятия задубевшего, мокрого матраса. Постепенно они пропитывались его сыростью, но в то же время подпревали, нагреваясь от моего тела. Закрутившись плотно, с головой, можно было уберечься от измывательств, если нечаянно засну до срока: начнут стягивать одеяло, обязательно разбудят. Маленькую отдушину для носа и глаз приходилось, конечно, оставлять.

Я ужался до возможных пределов и уютно залег, потягивая кисловатый, давно привычный запах дохлятины. Первоначальные неприятные ощущения слабели. Вроде бы и пованивало сносно, и холодило терпимо.

Царь точно так же завязался в свой конец одеяла. Мы спали валетом.

Медленно отходили минуты. Было необычно тихо, ни хохота, ни говорочка. От шороха, скрипа пружин или покашливания замирало сердце.

Ожидание ширилось, росло, заполняло мозг. Ни одной сторонней мысли, ни одного отвлекающего позыва. Только муторный страх и ожидание: сейчас, сию минуту грянет взрыв и разорвет на клочки Царя.

Внезапно погас свет, и сердце упало.

Меня сдернули на пол вместе с одеялом. Серые потемки наполнились дикой возней. Сгрудившиеся над нашей кроватью вертлявые тела наводили ужас, как нечисть из преисподней, жестоко давящая друг друга и орущая в упоении.

— Облом гаду!

Глухие удары, брань и приглушенные жалобные вскрики:

— Не бейтесь, не надо!

Крики переросли в сплошной, незатихающий визг:

— И-и-и...

Я безмолвно торчал в проходе, пристыв босыми ногами к студеному полу. Холодная испарина выступила на лбу, липкие от пота руки дрожали как в лихорадке. «Хватит, хватит же! — молил я про себя.— Разве можно так бить?! Он маленький, вы убьете его. Потом самим непоздоровится!»

Темнота таяла, шабаш нечисти обретал зримые формы. Бесы метались вокруг койки, а на белом прямоугольнике простыни дергался живой, трепетный комочек Царева тела.

Царь вдавливался в постель, защищая руками голову и увертываясь.

— Навыеденивался?! — рычал Никола.— Отдашь долг, ублюдок?!

В ответ — жалобный плач.

— Дрын ему в зад! — возопил со своей койки Педя.

Психоз перерастал в безумие. Царя швырнули на живот. Четверо держали его за руки и за ноги. Горбатый вскочил на постель, возвышаясь самим дьяволом над распростертым мальчишкой и копошащимися шестерками. Палкой от швабры он тыкал Царя. Ускользающий мальчишка бился в корчах, глухо орал в подушку. Никола даванул его коленом, а Горбатый изловчился и подналег на конец со щеткой.

Звериный, леденящий кровь вопль резанул по ушам. Вопль потряс меня, как не потрясало ничто на свете.

Кольцо шестерок распалось; на постели сшибленной камнем птицей конвульсивно выгибался и странно сучил ногами одинокий мальчик.

Долго не смолкали стоны и плач, и только когда Царь мало-помалу притих и лишь сдавленно всхлипывал, стал понемногу успокаиваться и я.

Холод гнал в постель, в привычную теплую вонь. Я присел на койку и шепнул:

— Больно?

— Уйди ты! — огрызнулся Царь, а с другого конца спальни донеслось:

— Заткнись, Рахит, пока цел! А то заодно схлопочешь!

Чувства жалости и вины смешались во мне, а глубоко, потаенно трепыхалась стыдливая шкурная мыслишка: слава богу, меня не тронули! И от этого на душе было гнусно.

Я не осмелился потревожить Царя и решил переночевать у брата. Там, кое-как втиснувшись к троим теплым, крепко спавшим малышам, провел ночь.

Утром Царь с трудом поднялся с постели, и медсестра увела его в изолятор. Горбатый лебезил рядом, поддерживая больного, и давал пояснения:

— Гробанулся с лестницы спросонок. Там темно, склизко.

Черные пятнышки запекшейся крови на желтоватых мраморных потеках простыни приводили меня в трепет не один вечер, напоминая и предупреждая: и тебя не минет Царева участь, а то и что-нибудь более жестокое.

Никола и Горбатый притихли, нервозно гадая: выдаст или вытерпит Царь? Приказали: пайки с завтрака, обеда и ужина тащить, кровь из носу! Готовились бежать.

Истлел день, за ним другой. Ничто не предвещало грозы. Царь не раскололся. И на этот раз главарям все сошло с рук. Горбатый сунулся было в изолятор, но медсестра турнула его. Зато Маруха сообщила: температурит немного, отказывается от еды, читает. Беспокойство поулеглось.

В очередной раз заглянув к малышам, я обнаружил у них в группе медсестру. Царь сейчас один. Сходить к нему! — кольнула мысль.

Влажный ветер стеганул по лицу, вышиб слезу. Темные круги поплыли перед глазами. Пошатываясь, я жадно хлебал пронзительную, сыроватую свежесть февральской оттепели. Снег осел, был мягок и скрипел под ногой. Его ноздреватые, подтаявшие комья пятнами белели на темных стволах и ветвях деревьев.

Пытаясь бежать, устремился к изолятору. Проскочил приемную и оказался в небольшой низкой комнатенке. Первое, что бросилось в глаза, был хлеб, лежавший на тумбочке рядом со стопкой. Три пайки — немыслимое богатство!

Четыре тесно сдвинутые койки занимали почти все пространство. На одной спал Царь, остальные были аккуратно застланы. В комнате было свежо, окно обросло мокрой корочкой льда.

Царь очнулся и удивленно вскинул глаза. Взгляд его словно пробивался из глубин иного мира, бесконечно далекого, недоступного мне и таким, как я.

Царь приподнялся на локте, и стало заметно, как сильно он изменился. Костлявый лоб оклеивала сероватая кожица с двумя продольными стариковскими морщинами. Подбородок и скулы заострились, виски запали, синеватые губы с чуть опущенными уголками изогнулись гримасой. Голова на тоненькой, как стебелек подсолнуха, шейке выглядела непомерно большой, приставленной от чужого тела.

Я подавленно молчал, захлестнутый острой жалостью, едва справляясь с подступившими слезами: одно слово — и они хлынули бы неудержимо.

Ощущение причастности к глумлению над Царем не покидало меня все эти дни, вызывая раскаяние и горечь. В голове крутились приниженные слова о моей невиновности, о том, что меня бьют и обижают не меньше и никто не заступается. И вместо сочувствия и утешения я забормотал оправдательно:

— Горбатый стращает, что попишет меня или наколет...

Мой растерянный вид привлек наконец внимание Царя, вызвал сочувственный отклик. Лицо его напряглось, губы жалко надломились. Он кивнул на пайки и выдавил с натугой:

— Возьми, ешь... Не бойся, бери, а то медсестра утаранит, чтоб крыс не разводить.

Я щепетильно помялся, но голод пересилил смутные переживания, и пайки оказались у меня в руках. Сперва осторожно, потом смелее и смелее отхватывал зубами холодные, горькие куски и, почти не пережевывая, заглатывал их. Попытался сказать что-то душевное, благодарное, но лишь давился плачем и хлебом.

Разговор завязался сам собой.

— Больно?

— Нет, сейчас уже нет.

— Так вставай!

— Запеклось там все. Наверное, не выздороветь мне.

В его словах слышалось глубоко скрытое страдание, и не только физическое, весь его облик был воплощением разрывающего сердце укора.

Некоторое время я не мог вымолвить и слова. Царь доверительно продолжал:

— Сны вижу. Полки книжные пустые у нас дома. Как дыры. И в комнатах, и в коридоре. И ничего больше!

Сокровенная тоска по дому, созвучная моему повседневному настроению, таилась в его снах и грустном тоне. Первоначальная натянутость исчезла.

— Твои родители где?

— Не знаю...

— Найдутся!

Лицо Царя посветлело, озарилось трогательной полуулыбкой.

— А я не вынес им пайку, правда?

— Ага. Таких, как ты, больше нет.

Царь медленно, с усилием продолжал:

— Позарились на чужой хлеб... Хапают, крохоборы, и все неймется, все мало.

— Нужно письмо написать, пожаловаться.

— Не поможет. Папа писал... — Костлявыми, прозрачными пальцами Царь теребил тесемки наволочки. — Умрете без хлеба.

Я смотрел на Царя с доверием и обожанием, но не мог преодолеть обычную внутреннюю заторможенность и отыскать такие же чистосердечные слова.

— Нас обирают, а мы все скрываем... Им нужно бояться, они живут за наш счет. Пусть сами хранят свои тайны. Нам скрывать нечего.

Простота его слов озадачила меня. И правда, это не наши тайны. Ничего преступного мы не совершили. Кто ворует, тот пусть и таится... И Николе я ничем не обязан, если и поддакивал, то вынужденно, от страха...

Царь приоткрыл душу, его искренность вызывала почти благоговение, обаяние честности пленяло. Просвещенный и растроганный, я по-прежнему норовил словами искупить свою неведомую вину, но только немо таращил глаза. Было понятно, что Царь — самый замечательный мальчишка, что с ним можно говорить обо всем правдиво и по справедливости.

И вообще здесь, в изоляторе, покойно и безопасно.

— Хорошо у тебя! Нет Горбатого, шестерок... Мне бы сюда на недельку.

— Книг новых нет... Про Робинзона Крузо читал?

— Не... Летом я фильм видел, «Бэмби». Про оленя. Там ни одного человека, только звери. Здорово интересно.

— У нас не крутили.

— Достать бы перочинный ножичек! Можно солдатиков выстругать. Или шашки.

— В школу бы... Со мной учились детдомовцы, и ничего...

— Николу пусти в класс, он живо всем рога посшибает.

Царь вцепился хрупкой ручонкой в прут койки и с трудом повернулся на бок.

— Всем на нас наплевать! Дойдем с голодухи, никто и не вспомнит!

— Запихали в эту дыру, как арестантов.

— А мы кто?

Резко хлопнула дверь в приемной. Последний раз я взглянул на Царя. Он лежал на боку оживленный, головастый; мягкое сияние его широко открытых глаз вызывало желание говорить и говорить без конца, откровенно излить все, что наболело на душе.

— Прости... — вдруг вырвалось у меня, и, не дожидаясь понуканий, я рванул мимо опешившей от неожиданности медсестры.

В группе тревожные раздумья охватили меня. Слово за словом вспоминался наш разговор, занозивший душу искренностью.

Все во мне осветилось прозрением: оказывается, можно жить, не веря блатным заповедям. Старые, понятные суждения о добре и зле не утратили своего смысла. Сознание проснулось: плохое снова стало плохим, хорошее — хорошим, чужое — чужим. Блеснувшая искорка ясно высветила истинные ценности. Несколько минут общения в изоляторе сблизили нас больше, чем месяцы совместной маеты в группе и спальне.

На другой день Царя увезли в Ленинград в больницу. Медсестра

вскоре уволилась, а взрослые и воспитанники быстро забыли о темной истории его болезни. Только я еще долго горевал о нем.

Страшная расправа над ним не прошла для меня бесследно: я как будто слегка повредился умом. Прежде наползавший временами страх стал почти непрерывным, укоренившись легко возбудимым комочком по соседству с сердцем. Стоило кому-то из вожаков задержать на мне взгляд, неожиданно окликнуть или задеть, как комочек начинал бешено трепетать. Этот трепет, охватывавший все тело до кончиков пальцев, превратился скоро в хроническое состояние испуга.

Возможно, во всем было виновато недосыпание. Днем меня постоянно потряхивал озноб, особенно заметный в столовой: то ложка непроизвольно цокнет по зубам, то, приподняв руку, замечу стариковское дрожание пальцев.

18. Забытье

Разобщенное скопище разновозрастных детей, в котором правит кулак. Шум, окрики, брань, тычки, плач. Но неподвижность противоестественна живому. Если не мышцы, то сознание подстегивает его.

В памяти проступают живые лица, знакомые узоры обоев, привычные вещи, наплывают казавшиеся навсегда утраченными цвета и запахи. Роятся отзвуки слышанных фраз, обрывки мелькнувших мыслей, вроде бы давно стертых, поглощенных забвением. Из подсознания просачиваются рассказы мамы — наша семейная хроника. Как капли дождя собираются в ручейки, так отрывочные пятна воспоминаний сливаются в целостные картины. Тонкие нити ассоциаций вытягивают их в связную последовательность, прокручивают перед мысленным взором. Прошлое встает зримо и четко, как вчерашний день. И незаметно летит время, забываются дни пустого созерцания и страха.

Все самое важное понемногу просачивается из внешней сферы, сферы общения внутрь, в меня. И можно попытаться пережить счастливое прошлое заново, заслониться им от настоящего. Ведь прошлого не отнять, как пайку хлеба.

Отблеск огня полыхнул в окне. Взрыв разодрал тишину, ударил по барабанным перепонкам. Фугаска! Конец! Остановилось дыхание, замерли мысли... Мы вбирали в себя малейшие шорохи, со страхом ожидая: рухнет дом или нет? С шуршанием и звоном с верхних этажей сыпались полопавшиеся стекла. Наперебой галдели зенитки, но новых разрывов слышно не было. Пальба зениток отдалялась, и вскоре сирены провопили отбой. Пронесло. Жизнь продолжалась.

Наша крохотная, выгороженная из кухни и смахивающая скорее на чулан комнатенка вновь ожила.

— Отбомбили, — тихо сказала мама. — В дом напротив попали. Занялся, горит!

Мама сидела у нас на кровати и кормила грудью брата. Я ощущал тепло маминого бока и вжимался в него. К другому боку льнула сестра. Поделили мы и мамины косы. Всю бомбежку я комкал и теребил мягкий завиток доставшейся мне косы.

— Об одном молю. Накроет, так чтобы всех сразу и насмерть!

Неспокойно елозил и жадно причмокивал губами братишка. Мы скучились настолько тесно, что как бы составляли одно живое существо.

В бомбоубежище не спускались. Маме было не совладать с тремя неподъемными детьми, а ходить мы разучились. Ноги — истонченные, обтянутые синей кожицей кости — не держали тела. Мы лежали, накрытые одеялами и тем тряпьем, что нашлось в комнате.

Под такой тяжестью шевелиться трудно, но нос все-таки слегка зяб, и я отогревал его в кулачке. И с мерзнущим носом, и с давящим грузом тряпья я давно свыкся.

Серый свет зимнего дня дымился за косыми крестами наклеенных на стеклах бумажных полосок. Падали редкие снежинки.

Мама отстранила брата и приподняла на ладони маленькую, иссохшую грудь.

— Он кровь сосет, — сказала она громко. — Молоко исчезло.

Мама теперь часто разговаривала вслух неизвестно с кем. Поначалу я недоумевал, но постепенно пришел к мысли, что обращается она ко мне, — я же старший.

Мама продолжала задумчиво:

— Пожалуй, буфет мы тоже спалим. Выживем — разочтемся. А с мертвых и взятки гладки.

Свою немудрящую мебель мы давно сожгли, а старинный, массивный буфет красного дерева со множеством шкафчиков, полочек, с резными дверцами и узорчатым верхом громоздился за стеной в пустующей комнате маминого брата. Дядя воевал, а его жена с детьми спасалась в эвакуации.

Мама порывисто поднялась и уложила брата рядом со мной у стены. Спустя пару минут она притащила один из ящиков буфета и принялась чинить над ним безжалостную расправу, раздирая, разламывая его на куски топором, руками, ногами.

— Околеваем — буфеты бережем!

Я обеспокоенно следил за ее безудержными, резкими движениями и понимал, что ее взбудоражила злосчастная фугаска, едва не угодившая в наш дом. Мама согнулась в три погибели и набила щепой топку маленькой чугунной печи-буржуйки, стоявшей посредине комнаты. Труба буржуйки, надломившись угловатым коленом, уходила в форточку.

Загудел, забился огонь.

Мама тяжело дышала, а я смотрел на ее уверенную расправу с остатками ящика, дожидаясь той заветной минуты, когда что-нибудь съедобное можно будет положить в рот.

Отпотевая, тускнели верхние стекла окна. Чугунные бока буржуйки раскалились до багрового свечения. Запахло раскаленным металлом. Захотелось вылезти из-под одеяла и присесть.

Затея с буфетом мне понравилась. Может быть, найдется и что-нибудь поесть? Только сегодня, один разок, завтра мы потерпим.

В пустом желудке тлел уголек, привычно, болезненно, и я размышлял о булочках, плетеных жаворонках с изюминкой на кончике носа. Их покупали еще весной, и я ссорился с сестренкой из-за сладких изюминок, стараясь выклевать их первым. Мама пичкала нас булкой с чаем, мы отказывались, оставляли недоеденные куски. Плетеный жаворонок назойливо парил перед затуманенным взором, и не верилось, что было довоенное время, и уж совсем казалось невероятным, что сытые дни наступят вновь.

— Мама, — вырвалось у меня. — Какие мы были глупые, хлебушек не ели. Он же такой вкусный!

— Не понимали... Сейчас дошло, да поздно... Хорошо хоть комнатка наша маленькая. Будь больше — замерзли бы давно.

Мама снова скрылась за дверью, но сразу же вернулась, возбужденная, сияющая.

— Смотри, что нашла! — воскликнула она, бережно, обеими руками держа банку с вареньем. — Забилась под буфет, мы и знать не знаем!

Широко открыла обрадованные глазенки сестра. Брат выпростал ручонку, протянул ее к маме и залепетал припухлыми, слегка вывернутыми губками:

— Ам-ам! Ам-ам!

Голосок у него был тонким и слабым, не то что до войны.

Обжигаясь, мы прихлебывали дымящийся, подслащенный вареньем кипяток, вытягивали со дна ошметки раздавленных ягод. Живительное тепло потекло внутрь, расползлось по всему телу. Желудок раздулся до боли, но хотелось тянуть еще и еще...

Эта нежданная банка варенья и блеснула в памяти далеким одиноким видением, постепенно обрастая плотью подробностей...

Первым напился и уснул брат.

— Знаешь, — сказал я маме, — он хнычет, пока ты дома. Без тебя молчит. Умный, все понимает!

Позднее, когда комната прогрелась и по обоям поползли жидкие ручейки растаявшей изморози, мама купала нас в оцинкованной ванночке. Без усилий переносила с кровати и обратно, сокрушенно причитая:

— Какие же вы стали легкие, невесомые! Что дальше-то будет? Что будет?

Еще позже в оставшейся после купания теплой мыльной воде простирала нашу одежонку.

— Старики говорят,— рассуждала она,— в войнах не столько от снарядов и голода гибнут, сколько от грязи, вшей, тифа, болезней. Не завшиветь бы!

Вконец разомлевший, блаженствовал я в свежей, приятно ласкающей тело рубашонке и посматривал на хлопочущую мать. Она перекрыла заслонку трубы, укутала одеялом наши чистые, высунутые наружу лапки. Сновала по комнате, наводила порядок, устало откидывая со лба непокорную черную прядь.

Я окунался в сон.

Блокадная голодовка и стужа ополчились против всего живого. Брат и сестра все реже подавали голоса. Плотно спеленутые, они беззвучно лежали у меня под боком, и не всегда было понятно, спят они или пробудились, живы или уже нет. В короткие периоды бодрствования взгляд натыкался на окно, и искорка интереса удерживала меня от забытья. Там, в гаснувших сумерках, огромный аэростат зависал над крышей, а ночами лучи прожекторов неземным светом вспарывали темное небо, тщательно обшаривая его, скрещивались и гасли. Прямоугольник окна погружался во мрак.

С каждым пробуждением телесная оболочка таяла, усыхала, почти не принадлежала мне. Только мерзли ноги да впившаяся в желудок злая змейка щипала и жалила непрестанно. Если бы не ее болезненные укусы, можно было считать себя бесплотным. Но укусы будили, тревожили, требовали.

Я отмечал чуть заметные изменения в настроении мамы, следил за интонацией ее коротких фраз, ловил малейшие проблески надежды.

Приволокла мерзлую доску — сейчас затопит буржуйку, и станет тепло; бережно вынула из-за пазухи маленький сверток — будем пить кипяток с крохами хлеба; появилось новое словечко: эвакуация,— возможно, и мы скоро уедем.

За промерзшими стенами часто выли моторы самолетов, гремели разрывы, стонала и надрывалась сирена, но к этим звукам мы привыкли и не замечали их. Они не нарушали могильной тишины и оцепенелой неподвижности нашей обители, как потрескивание сверчка за печкой не нарушает покоя хозяев.

Казалось, мертвящая власть голода и зимы безраздельна. Но еще одна напасть разгоралась последним, отчаянным всплеском жизни. Этой напастью были крысы. Давно уже с наступлением темноты остромордые твари вольготно шныряли у нас на кухне. От их шлепанья и шебуршания отвращение продирало до костей. Заслышав человека, крысы испуганно шмыгали по углам и исчезали в дырах, которые прогрызали во множестве. За плотно прикрытыми дверьми мы чувствовали себя в безопасности.

Возможно, ужас голода и стужи притупил бдительность, поглотил внимание, и на борьбу с голохвостым зверьем просто не оставалось сил. К нему привыкли настолько, что иногда, в первые недели блокады, мама подвешивала авоську с остатками съестного к шнуру кухонной лампочки. Крысы сатанели. Как заводные, они выполняли мощный разбег из дальнего угла, с писком взвивались вверх к авоське и, зависнув на полпути, шмякались обратно на пол. Они могли не прерывать настырных поползновений всю ночь.

Постепенно голод затмевал исконный страх животных перед человеком.

В ту ночь из тягостного дурмана сна меня вырвала острая, саднящая боль. Подушка липла к скуле. Океан литой, непроницаемой тьмы распростерся надо мной. Тьма давила; казалось, нас замуровали живьем в подземном склепе.

Отчаянный плач сестренки разорвал тишину. Что-то холодное, мерзкое и живое задело лоб, и я заорал громко, безудержно. Чиркнула спичка, и тут же раздался вопль мамы:

— Крысы!

С криком и грохотом заметалась она по комнате, яростно швыряясь башмаками, размахивала шваброй. Желтоватый язычок коптилки выхватил

из полумрака лица брата и сестры. Они мазюкали по щекам темную кровь и горестно голосили.

Моя боль локализовалась: нос и ухо жгло огнем. Я заревел ровно и жалобно.

Последние остатки жизненного тепла капля по капле покидали нас. Вместе с теплом угасал интерес к окружающему миру. Меркнущие лучики наших глаз должны были вот-вот погаснуть совсем. Периоды беспамятства удлинялись, пропало представление о времени; тянулась сплошная ночь. Весы нашей жизни колебались на грани: корочка хлеба, несколько щепок в печурку,— и живой пульс бился и трепетал. Лишний голодный день — и чаша смерти неумолимо клонилась вниз. Медленно и неотвратимо это затянувшееся забытье превращалось в свое естественное продолжение — вечное успокоение.

Сохранилось смутное ощущение движения; нас поднимали, опускали, везли. Везли на саночках.

В какой-то момент искорка сознания высветила ослепительную белизну сверкающей на солнце снежной дали. Мама прижимала меня к груди и силилась втиснуться в узкую дверь белого автобуса с сероватой полоской вдоль кузова. Сил недоставало, и кто-то подхватил меня, укутанного в одеяло, изнутри кабины. Лицо мамы скрылось, и я, напрягая сознание, косил глаза, чтобы не потерять его совсем, а вместе с ним и этот пронзительно-яркий, хрустальный мир. Рядом послышались голоса: далекие, как сквозь заткнутые уши, слова, странные тем, что их произнес посторонний человек. Давно уже мы чужих голосов не слышали.

Из разговора всплыла одна понятная фраза:

— ...Лед еще крепкий, проскочим! Только бы не бомбили.

Мелькнуло еще мгновение — и новое пробуждение застало меня в опустевшем автобусе. Автобус стоял, но мотор пофыркивал, и ему в такт подрагивали ряды сидений. Я удобно полулежал в дальнем от входа углу, ощущая это подрагивание и спокойно принимая новизну и необычность обстановки. Низкое солнце, пронзая грязные стекла, слепило глаза, я зажмуривался и посматривал вниз в открытую настежь дверь. Все так же сверкал снег, а из кабины торчали черный сапог и засаленный ватник водителя.

В проходе показалась мама. Она сгребла меня в охапку и заспешила к выходу. Капельки пота прозрачным бисером высыпали на ее лбу, учащенное дыхание с шумом вырывалось из груди, огромные глаза излучали всезатопляющую радость.

Шофер привстал с сиденья и странно посмотрел на нас:

— Помочь?

— Последний, сама донесу.

— А... они живые?

— Теплые... кажется...

Заметив мои открытые глаза, мама добавила:

— Глянь, этот не спит! Теперь выходим!

— Дай-то бог,— с сомнением покачал головой шофер.

Мама соскочила с подножки, почти упала на снег.

Автобус покатил, набирая скорость, как видно, шофер поджидал только нас, а мама спохватилась и сокрушенно запричитала вдогонку:

— Ой, одеяло-то там осталось! Заморочил голову, чертов ворон!

Ее возбуждение — и огорченное, и радостное — передалось мне. Впервые за много дней я упорно сопротивлялся наползающему забытью, удерживал себя на гребне сознания.

Зал не зал, сарай не сарай — просторное полутемное помещение заполнила молчаливая толпа неуклюжих, замотанных до самых глаз людей. Одни полусидели на полу, припав к жиденьким кучкам пожиток, другие лежали вповалку, вперемежку с чемоданами и узлами, такие же безмолвные и неподвижные. Не лица — чернота земли, не глаза — дотлевающий пепел.

Нетвердо шагая через людей и разбросанные манатки, мама пробралась к двум продолговатым сверткам: брату и сестре. Они лежали рядком, тихо и покойно.

Снова накатило забытье и поглотило сколько-то времени. Потом воспоминания поплыли ровно, события последовательно сменяли друг друга.

Двухъярусные деревянные настилы делили теплушку на четыре жилые секции: две справа от входа и две слева. На настилах плотными рядами, бок о бок, разместили блокадников. Лежали не раздеваясь, в пальто и ватниках, полушубках и платках, поверх всего — одеяла. В широком проходе — плита. Волны благодатного тепла ползли по теплушке, лизали промерзшие, заиндевелые стенки. Потолок над плитой слезился сырой изморозью. Четыре оконца в углах под крышей были наглухо забиты фанерой. Белизна дня сочилась сквозь окаймляющие двери щели. Когда двери сдвигали, ослепительный сноп света бил в лицо, морозный воздух наполнял грудь пьянящей, сладостной радостью.

Первые дни пути. Ошеломляющий паек: судки с наваристым бульоном, шмат сала невиданно огромных размеров, головки колотого сахара. И хлеб! Много хлеба. Большая Земля с предельной щедростью встречала выходцев с того света.

Казалось, пришло избавление. Можно расслабиться, не думать о близком конце, не вглядываться с ужасом в леденящие сердце, провалившиеся глазницы детишек. Видимо, многие и расслабились, а смерть, словно опомнившись, бросилась рвать хотя бы долю добычи, казалось, причитавшуюся ей целиком.

Как ни изводил нас блокадный голод, как ни мерзли мы в ледяных квартирах, заразные болезни обходили нас стороной. Организм экономил силы в противоборстве с истощением, выставлял заслоны инфекциям, отказывая им в минимуме энергии.

И вот съежившиеся желудки, чего только не переварившие за страшное полугодие, не справились с желанным насыщением. Кровавый понос принялся выкашивать беззащитных, изможденных беженцев.

Эшелон и вообще-то чаще стоял, чем двигался, а в эти первые дни его специально останавливали где придется. Согбенные, почти на четвереньках, пошатываясь и хватаясь за стойки нар, мужчины и женщины спешно вываливались из теплушек, срывали с себя штаны и вперемежку присаживались прямо у вагонов.

Вопросительно погудев: не погодить ли еще? — паровоз легонько трогал, а в чистом поле на девственно белом саване снега оставалось огромное, вытянутое вдоль путей ржаво-желтое мозаичное панно.

Не только кровавыми пятнами был устлан наш путь. На станциях, полустанках и разъездах, пока заиндевелый состав заморенных теплушек с жидкими дымками над крышами выжидал несколько часов или дней в тупиках, санитары на одеялах и пальтишках выволакивали трупы блокадников.

Муссировался слушок о диверсантах и предателях, злонамеренно отравивших весь эшелон. Удовлетворенно толковали о бдительности охраны: изменников сцапали и шлепнули на месте.

Мама да две-три ее подруги, обремененные выводками полумертвых детей, держались до последнего вздоха, как запаленные лошади-трудяги в оглоблях. Их вело ощущение стерегущей повсюду опасности: все страшное и мучительное не кончается сразу, как в сказке. Нужно утвердиться, обрести устойчивость естественного уклада, от которого давно отвыкли. Нужно работать и работать, бегать, ползать, стирать, подавать, приносить и уносить, даже если сил уже совсем нет. Нужно ощущать, как свое собственное, состояние своих детей; знать, когда доверять этому ощущению, а когда разуму. Не недодать, не передать. Делать все возможное и невозможное, не щадить себя до последней кровиночки.

Эшелон удалялся от умирающего города, от разрывов снарядов и бомб. Оставлял за собой могилы и кровь, но упорно, день за днем, ковылял по рельсам в тыл, в далекую Сибирь.

Короткими перегонами, как перебежками, выдирал он из зубов смерти самых везучих и стойких, неодолимо вцепившихся в жизнь.

Продвигались настолько медленно, что некоторые из отставших больных успели подлечиться и догнать эшелон за Уралом. Таких, уцелевших, было немного. Большинству ссаженных с поезда никогда и никого догонять уже не пришлось. В нашем вагоне до Омска добралось десятка полтора счастливцев. Мы вчетвером устроились по-барски, захватив нижнюю полку целиком, от стенки до стенки.

Пережитые вместе невзгоды и постепенное воскрешение в родной теплушке сблизили измученных беженцев. Самое страшное миновало, будущее светило надеждой. Мы вживались в покой и сытость, с каждым днем ощущая медленный прилив сил.

Отошло в прошлое изнурительное бремя добывания пищи, которому так недавно отдавали все помыслы, все силы, всю жизнь. Это труднее всего было постичь.

Выкарабкивались в жизнь дети. Костлявая головенка на тоненькой шейке еще вчера безжизненно моталась по подушке в такт покачиванию вагона, а сегодня на остром, истаявшем личике блестело осмысленное выражение.

Жизнь пробуждалась шорохами и запахами, непрерывностью происходящего и любопытством, способностью хотя бы ненадолго сосредоточить внимание. Но до конца пути никто из детей нашей теплушки не смог самостоятельно встать на ноги.

На стоянках к нам с удивлением заглядывало солнце, припекало подоброму — близко весна. Мама ходила к вагону-кухне с судками. Кормила нас заботливо, с ложечки, а после надраивала снегом посуду. Насыщение обильной горячей пищей утомляло, и сестра и брат засыпали за едой. Я терпеливо ждал, когда мама освободится, положит на колени мою голову и примется выискивать ножичком вшей. В Ленинграде у нас вши так и не завелись, а в теплушке с ними не было сладу. Они набросились на нас, как на лакомство.

Мама неторопливо копошилась надо мной, поскребывала, пощелкивала. Я блаженно посапывал, слушал ее беседы с новыми товарками, также увлеченно выискивавшими друг друга ножами. Дремал и просыпался, не боясь ни сновидений, ни реальности.

Когда нас долго мурыжили на запасных путях, досада и нетерпение пробуждались во мне. С тихой радостью вслушивался в пыхтение и чихание цепляемого паровоза. Он разводил пары, тужился, шипел и, наконец, кричал тревожно и громко. Дергался, пробуксовывал, сдавал назад, толкая и раскачивая вагоны, отдирая пристывшие колеса.

Подрагивали и потрескивали нары, родная теплушка ускоряла свой ход. Торжественной музыкой гудели рельсы, песню возрождающейся жизни выстанывали колеса.

19. Избранник

Пресные, неотличимые в своей обыденности дни дэпээровской жизни низались серым бисером на нескончаемую нить. Ничего вроде бы не происходило, и эта бесконечность изматывала, хватала за горло. Хотелось броситься на пол, биться головой о стены, вопить и молить о спасении.

На осмотре захожая лекарша мяла холодными пальцами мои выпирающие ребра:

— Ну и мощи! Дистрофик!

Воспиталка кивала согласно:

— Блокадник. Еще не выправился. Мать в тюрьме.

— Совсем усох. Его бы подкормить.

— Их бы всех подкормить.

Зима ковыляла к исходу. В полдень покапывало с перламутровых сосулек, прилипших к карнизу веранды. Под снегом ясно проступили контуры берегов реки.

Как дар небес, приходили письма от мамы. Ее перевели в лагерь на стройку. С утра до вечера на воздухе, не то что мы. Мама сокрушалась из-за потерянного учебного года и никак не могла уразуметь, почему нас не отправляют в детдом.

Я отвечал ей старательными химическими каракулями: живем хорошо, путевки скоро придут. Поздравлял с переводом в лагерь, желал поскорее освободиться. О долгах молчал: помочь не может, изревется вся понапрасну.

Исправно писал я и коротенькие посланьица тетке, просил приехать. Относил письма в канцелярию, и надежда загоралась слабеньким огоньком.

Тетка не подавала признаков жизни. И росла уверенность: нужно рассчитывать только на себя, помощи ждать неоткуда.

Мне полюбилась уборная, или, как мы выражались, «убортрест», размещавшаяся в дощатой, холодной пристройке с заросшим грязным снегом окошечком.

Заиндевелую проседь стен испохабили незатейливые росписи-схемы с наставлениями и пояснениями. Были и просто надписи, от затасканного нравоучения: «Стыд, позор на всю Европу...» до воззвания: «Хрен соси, читай газету, прокурором будешь к лету!»

Оплывшие горы замерзших испражнений торчали из неровных овалов, прорезанных в досках пола. Подножия гор скрывались далеко внизу, в непроглядной глубине.

Тяга к убортресту не вызывала подозрений у главарей: сюда влекло всех подымить, погорланить в отдалении. Пованивало — и пусть себе, повсюду разит, да и пообвыклись мы с ароматом.

Я застревал здесь надолго, пока не коченел до тряской дрожи или не спугивали вожаки со свитой. Покойно было притаиться в стылой тиши вдали от недобрых глаз, расслабиться, дать волю потаенным, докучливым мыслям. Примчит лопоухий заморыш, покукует с постной мордашкой, и снова покой, и можно прикидывать шансы на спасение, лепить издерганным умишком план избавления.

В группе его не удавалось додумать до конца. Мнительный Горбатый чуял опасность и бдительно надзирал за нами. Под его недремлющим оком непобедимый страх ледяным ветром рвал душу. Всем своим волчьим нутром Горбатый чуял врага, и сразу из глубин его глаз всплывала негасимая вселенская злоба. Его окрик вышибал из меня мои тайны, как резкий удар пробки из бутылки. Уединение настраивало на иной лад: решайся, или будет поздно!

Донос вызревал украдкой, в убортресте, где нельзя было подслушать моих дум, где страх отпускал и сознание вырывалось из тисков. Извечный вопрос: пожаловаться или промолчать, — даже не стоял. Решение выдать вожаков втемяшилось в голову давно и прочно: не донесу — дойду, загнусь!

Мысли о доносе привязались, как кошмарное наваждение, доводя до полного душевного изнурения. Ни о чем другом я думать уже не мог. Как быть? Предам блатных — по всем законам каюк! Никто и ничто не спасет.

Я весь леденел, представляя решительного Горбатого с ножом или бритвой в руках. Полоснуть по глазам или ткнуть в живот для него — плевое дело. Да мало ли способов мщения бытует в блатном мире! Придушат или пристукнут и вытолкнут в окно, как не однажды грозил Никола, а потом вся спальня подтвердит, что сам выбросился.

Расправу над Царем забыть невозможно. Настал мой черед, и я ломал голову: как спастись? Посоветоваться бы с кем! Но посвящать даже должников в свои отчаянные намерения было равносильно самоубийству; временами я страшился признаться в них самому себе.

Предательство вынашивалось в одиночку. В душу запал изолятор, строгая медсестра в приемной, пайки хлеба на тумбочке и безбоязненная теплота общения с Царем. Тогда впервые за много месяцев рядом не было врагов. Изолятор — единственное местечко, где можно укрыться и пережить бурю.

План обрел четкую нацеленность. Оставалось одно: выдать вымогателей и попроситься в изолятор на несколько дней, пока Николу с Горбатым не отправят в колонию. Их преступление казалось совершенно очевидным и неопровержимым, а наказание — неотвратимым.

Мне законно нужно в постель, захирел до головокружения. И докторша сказала — истощен.

Окончательное решение созрело, не хватало решимости сделать последний шаг, переступить страшный порог, за которым события начнут раскручиваться сами собой. Клацая зубами от холода, я покидал облюбованный закуток и, одичало озираясь, пришибленной мышью крался вдоль стен. Бочком проскальзывал в группу, затирался в толпу.

Как ни промерзал я в убортресте, к сожалению, ни разу не затемпературил, а после двух-трех голословных жалоб на озноб медсестра заподозрила притворство, и мне стало совестно к ней обращаться.

Ночи не дарили успокоения. Во сне подо мной вздымались и раскачивались скользкие покатые крыши, и я поминутно срывался в черную бездну. Говорили, что я часто бредил, кричал и плакал во сне. Просыпался с ощущением несчастья. Вяло, по-стариковски, выпрастывал жиденькие ноги из облипшей простыни, напяливал холодные шаровары и ледяные кирзовые бахилы. Ноги болтались в них, как в галошах. Медленно тащился вниз. Чурался всех, боялся кого-то задеть невзначай и схлопотать пинок или оскорбление.

Запинающимися шагами забредал в умывалку. Зеркало отражало мое изможденное лицо, едва вмещающее темные озера глаз.

Другие должники ползали такими же униженными тенями. Совсем затюканный Толик бледнел, становясь уныло-раздражительным и еще более плаксивым. Довериться и ему было нельзя. В группе я бездумно сидел в одиночестве, подперев ладонями подбородок, или ложился грудью на стол, ронял голову на руки и впадал в чуткую спячку, опасаясь завалиться на пол. От неудобной позы немела спина. Холодная рыбья кровь сочилась по жилам. Коченели руки, ломило суставы пальцев. Я запихивал ладони-ледышки под мышки или прижимал к щекам.

Вожаки беспечно доживали остаток зимы. Утрами, пробавляясь на толчке, вели коммерцию с постоянной клиентурой местных маклаков-перетырщиков, меняли пайки и картошку, дурынду или семечки. Горбатый как-то выменял огромный немецкий бинокль. Никола хапнул его нахально, без рассуждений.

В спальне отгородили тумбочками тесный закуток вокруг печки и коек вожаков. Там сбивалось скандальное скопище избранных. Тумбочки ломились от наших паек и добытого ими на воле.

Внутри у меня наболело. Борьба со страхом изнуряла, выматывала душу. Явственно чувствовалось, что меня заподозрили в предательстве, теперь пытливо и неустанно выслеживают, собирают улики.

Но жажда определенности, желание любой ценой покончить с затянувшимся сверх всякой меры испытанием овладевали мной все настойчивее. Я тайком прошмыгивал в укромный уголок коридорчика наискосок от канцелярии и застывал в нерешительности, пугливо карауля решающий момент.

В канцелярии вечно табунились воспиталки, уборщицы, бухгалтер. Громко судачили, иногда ссорились, что-то горячо доказывая друг другу. И в этой среде мира не было.

В редкие минуты, когда начальница оставалась одна, невозможно было пересилить страх.

Здесь накрыл меня проницательный Горбатый.

— Что шныряешь где не надо, глиста вшивая? Шкандыбай отсюда!

Через минуту в группе последовала расправа. Не примериваясь, он секанул тупой стороной ножа вдоль моих губ. Обожгло передние зубы, мелкая крошка осколков смешалась с кровью во рту.

Терпение иссякло, я отбросил сомнения.

20. Донос

Напряжение не спадало. Страх маячил за спиной, дышал в затылок, проникал в мои сны. Страх шептал: молчи! Разум внушал: выдай!

Настало утро, когда я обреченно решил: сегодня или никогда!

Я балансировал на грани обморока, но четко представлял, что в канцелярии с утра многолюдно и следует повременить. Я приказал себе успокоиться, заново обдумывал слова жалобы и каждый раз убеждал себя, что выбранный путь единственный.

Перед обедом совершенно не в себе пробрался к дверям канцелярии, определяя по голосам, много ли там людей. Вскоре начальница осталась одна. Была не была! Преодолевая головокружение, приоткрыл дверь и в приступе отчаянной решимости переступил порог.

Нужные слова пришли потом. В первую минуту сковала паника. Я топтался перед столом начальницы и путано бормотал что-то о хлебе. Начальница зыркнула на меня и с важной миной продолжала скрести пером. «Неужели попрет, не дослушав?» — мелькнула трезвая мысль.

Я еще сбивчивее запричитал о своем, напирая на желание спрятаться

в изолятор. Наконец она передернула плечами и резко, ледяным тоном осадила меня:

— Стоп! Что ты лопочешь? Объясни внятно!

Несколько вопросов, и до нее дошла суть.

— Не сочиняешь? Паникуешь, поди?

— Посмотрите к ним в тумбочки.

— Сядь, не маячь!.. Зачем же вы свои кровные пайки несете? Вы что, дефективные?

Она кликнула воспиталку и послала ее в спальню на досмотр, приказав сломать запоры тумбочек.

Я дрожащим голосом долдонил про изолятор.

— Помолчи, теперь уж сама разберусь! — раздраженно отмахнулась она.

Нервный порыв зрел в ней вулканом, прорывая первоначальную растерянность.

Воспиталка вернулась, всплескивая руками и охая:

— Кладовые, полные добра!

— Выродки! Даром это им не пройдет! — зло воскликнула начальница и задумалась.

Тут до меня дошло, что пути назад нет. Взрослые, чужие и непредсказуемые, впущены в наш темный мирок. Я ополоумел, мысли крутились водоворотом. Все тело до последней жилки трепетало. Но, одолевая смятение, всплыла надежда: может быть, конец мучениям?

Но почему же начальница медлит? Не вопит от возмущения, не мечется разъяренной фурией, как случалось не однажды и по менее значительным поводам, не бежит наводить порядок?

Как оплеванный, ерзал я на стуле. Вякнул было, пытаясь рассказать еще о расправе над Царем, но было поздно: кто-то вошел, начальница отвлеклась, и пришлось умолкнуть — невыносимо стыдно фискалить при посторонних, как и исповедоваться.

Все складывалось не по-задуманному. Я предполагал ошеломить начальницу, вызвать ее гнев против вымогателей. Думал: немедленно, бросив все дела, встанет она на нашу защиту. Ничего подобного. Она явно пыталась принять какое-то решение, прежде чем действовать, а пока раздраженно суетилась, не обращая на меня внимания; бумаги порхали по ее столу. Но на серовато-бледных скулах измятого лица зажигались и густели фиолетовые бляшки.

— А ну, пошли! — сдержанно кивнула она наконец и выскочила в коридор. — Старшая группа, на линейку!

Прорезалось!

Начальница закатила грандиозный скандал, метала громы и молнии. Я дрожал в строю, в самом его хвосте, и с каждым сумбурным выкриком цепенел: помнит ли обо мне, отправит ли в изолятор?

— Нелюди! Развели уголовщину! Рвете пайки с малолеток? Изгаляетесь над слабыми? — гневно разорялась она, размахивая руками перед носом Николы. — Мародеры! Еще раз провинитесь, в тюрьме сгною!

Но все это были только обещания: кто будет сдирать пайки — того под суд, кто выносить — в колонию! Наказания в будущем, в настоящем — посулы!

Нет, не казенного шельмования я ждал. Взвинченность нарастала, я чувствовал себя совершенно разбитым и изнемогшим: сил нет, податься некуда — конец!

Долго песочила нас начальница, долго утюжила тяжелым взглядом наши лица. Каждый ее взвизг вонзался в мой мозг острием ужаса. Казалось теперь, что не я предал, а меня предали — начальница, весь мир.

Всполошился приемник. Взрослые собрались в зале, окружили наш строй жиденьким заборчиком. Начальница и две уборщицы поскакали наверх потрошить тумбочки. Приволокли уйму всякой всячины: свежие, черствые и даже заплесневелые пайки, кусочки маргарина, зажигалки, картошку, жмых, семечки, махру и трофейный бинокль. За раз не справились, на рысях возвращались за остатками.

Николу и Горбатого погнали в канцелярию. Чем им пригрозили, неизвестно. На недельку раздели. Педю вообще не тронули; со страху я и упомянуть-то о нем забыл.

Не выгорели мои планы, правосудия не случилось.

— Заложил! — первое, что я услышал после линейки.

— Сявка! — хлестанул злой окрик Духа.

— Скурвился, шалава! — ехидно осклабился Педя.

Разбитый и опустошенный, в давящем отупении сидел я в сторонке, ожидая казни. Стена отчужденности и презрения к легавому отщепенцу отрезала меня от группы, от жизни. Положение стало безвыходным: угодил в свою собственную ловушку, и теперь труба, песенка спета!

Я остался один на один со всей группой. Как выдержать новое испытание?

Никола и Горбатый вернулись перед ужином. С суровыми, непроницаемыми лицами и убегающими взглядами они долго шушукались у печки, а меня била трясучка: ждал немедленной расправы.

Подошел Горбатый, загундосил:

— Напустил понту — концы отдаешь! Сказал бы нам, устроили бы передых... Мы ж тебя терпели, не трогали. Жил, как все. Не ценил. Давно следовало удавить!

Холодные глазки его гадливо шныряли по сторонам, но в словах не слышалось прежней наглой уверенности. Все же после паузы прорвался мстительный крик его души:

— Наделал шороху, сексот! Берегись, Фитиль! Пощады не жди!

Но не тронул.

В столовой полдюжины взрослых прохаживались за нашими спинами, как охранники. Ели мы дружно, без уговоров, мгновенно слизнув со стола хлеб и похлебку.

Воспитатели допоздна несли караул в спальнях, а ночью блюстителем порядка осталась тетя Дуня. Задумчивым филином, подвернув под себя ноги, устроилась она на стуле у печки и, когда Педя завел песню, неожиданно стала подпевать гнусавым, но приятным голосом:

Так пусть же амба, так пусть же крышка,
Так пусть любви последний час!
Любил я нежно ее мальчишкой,
Еще нежнее люблю сейчас...

Когда мы были настоящими и естественными: когда пели или когда враждовали?

Усиленный надзор блюли несколько дней. Постепенно переполох поутих и жизнь запетляла по-старому. Лишь тетя Дуня частенько забредала в спальню поголосить скорее по своей охоте, чем по обязанности.

Я понимал, что вожаки не отступят, не спустят, и терял голову, томясь одной мыслью: какая кара мне уготована?

Со мной никто не общался, хотя все жадно поедали свои пайки за столом. Но ни одного участливого взгляда или слова! Группа сплотилась в своей отчужденности к предателю: ни ссор, ни драк как будто и не бывало.

— Бойкот! — резануло слух вырвавшееся из неизвестности словечко.

Комната битком набита детьми, а с обеих сторон моего стула по дыре: никто не хотел садиться рядом. Эти дыры как провал в бездну, за которым полыхает огонь, готовый вот-вот перекинуться и ко мне.

Скользнули по мне глаза и перемигнулись, загудел невнятный говорок, зазвенел смех, зашныряли резвые шестерки, — все вызывало смятение и неспадающую, настороженную взвинченность; в любой недомолвке чудился тайный смысл.

— Наклепал! — мерещился ропот от двери.

— Ссучился! — неслось от печки.

— Предал! — слышалось отовсюду.

Замотанный в белую простыню Никола грелся у печки и разглагольствовал:

— Мне здесь все опаскудело... Закатимся летом на юг, отогреемся. С цыганами к туркам увинтим. Вот где лафа!

Насобачился он в хвастовстве или в самом деле мятежная тоска по воле бродила в нем молодым вином, но его приятелей проняло, и они тоскливо запели:

Куда ветер дует, туда я иду.
Где солнце пригреет, там приют найду.

А рядом толковали о нашем неизменном:

— Жрать охота!

— Кишка кишке протокол пишет!

— Будет ли когда ржанухи вдоволь?

— Жди! Зырил на портрете? Ленин руку простер — все народу! Сталин руку за пазуху — все себе!

— Говорят, Сталину омоложение сделали. Двести лет проживет.

— И слава богу! Что Россия без Сталина? Захиреет.

Но разговор снова и снова возвращался на круги своя:

— Пора рвать когти, да и сроки подходят, — то ли неуверенно, то ли задумчиво говорил Педя, словно уговаривал самого себя.

— С Горбатым на юг похиляешь?

— Не, попру к «куколкам» на остров, санитаром.

— Это которые без рук без ног?

— Ага. Сытно и нехлопотно. Там всегда помощники требуются.

Горбатый по-бабьи натягивал простыню на уши. Напряженность и страх метались в его глазах. Он то ли успокаивал, то ли взбадривал себя песенками, негромко подвывая:

Из кармана выхватил он финку, гопцы!
И вонзил под пятое ребро!

Или с чувством тянул:

Заманили, гады, заманили!

Мог ли я прежде угадать такой оборот событий? Внешне все выглядело спокойным, гроза приближалась исподволь, незаметно; я чувствовал неладное и не раз про себя твердил: не отвертеться, кранты!

Как же тягуче заныло сердце, когда срок наказания истек и Никола с Горбатым обрядились в казенные шмотки.

Страх гнал в канцелярию, но повода для жалобы не находилось. Пайки не отбирали, не били, а принудить ребят общаться со мной не был властен никто. Каждую минуту приходилось быть начеку.

Обострилось внимание, я весь превратился в зрение и слух, чутьем улавливал любую необычную мелочь, любое движение, любой отрывок фразы. Из всего старался извлечь смысл, даже во взглядах главарей пытался прочесть свой приговор. И высмотрел: Горбатый и Никола после прогулки заныкали ватники.

Я прокрался наверх и обнаружил под их кроватями два пузатых дерюжных мешка. Что-то затевалось.

Воспаленный мозг ухватил одно: нужно пережить ночь, самую жуткую ночь в бесконечном ряду потерянных ночей ДПР. Только не расслабляться! Тогда не застанут врасплох, укараулю нападение, вырвусь, заору.

Решил не спать всю ночь. Юркнул в постель не раздеваясь, лишь скинул ботинки. Лежал ни жив ни мертв; одержимо вслушивался, внюхивался, врастал в деловое шебуршание спальни. Сквозь отдушину одеяла не воздух тянул — таращился напрягшимся, подслеповатым оком. Твердо знал: если набросятся, лежать нельзя, а то кол забьют, как Царю. Нужно опередить нападающих, вскочить и драпануть прочь, как только потушат свет. Главное — бежать!

Сердце билось где-то у горла.

Свет не потушили, но и бросок Горбатого сзади, из-под кроватей я не прозевал. Резануло в висках! Я рванулся из недр постели, путаясь в простынях.

Сталь вспорола плечо, тяжело и грубо разваливая высохшую плоть. Я заорал предсмертным, душераздирающим криком и, превозмогая боль, выскочил за порог. Сознание было удивительно ясным. Остро и четко видел я метнувшуюся следом горбатую тень, слышал клекочущий звериный рык, понимал, что нужно бежать. Бежать во что бы то ни стало!

Правая рука повисла плетью, боль разрасталась и жгла огнем.

Горбатый с ножом в длинной, скрюченной лапе навис надо мной. Новый горячий, нестерпимый тычок взрезал спину, еще один ожег плечо. Когда ж это кончится?! Пожар бушевал в спине, ноги обмякли. Последний шаг — и я вывалился на лестницу. Снова удар! В глаза брызнуло сгустком тьмы, пол скользнул из-под ног, стены вздыбились, и я поплыл, поплыл в тошнотворном полете вниз, в пролет, в никуда.

...— Свертываемость отличная.

— Еще бы! В нем и крови-то почти нет. Шалгун с костями.

— В чем душа держится!

— Бедолага, полспины искромсано.

— Шкура дубленая, игла не лезет.

— Такое бывает у блокадников или голодавших.

— Говорят, главный трофейными иглами разжился.

— Сам втихаря пользуется...

Две женщины усердно копались в моей спине и переговаривались спокойно и деловито. Я лежал, уткнувшись носом в желтоватую крахмальную простыню. Многопудовая тяжесть давила на правую половину спины. Сверху спина омертвела, но под этой омертвелостью билась острая, колющая боль.

Душила жажда, угарная тошнота рвала горло. Я стиснул зубы и ненароком ухватил складку простыни. Вкус оказался приятным, и я покусывал ее до конца операции.

— Безобразник! Дыру прогрыз! Кто отвечать будет? — внезапно заругалась докторша, перебинтовывая меня.

Было странно и даже немножко радостно из-за того, что она отчитывала меня всерьез. Умирающего так не отчитывают. Что там простыня по сравнению со спасенной жизнью!

А впереди еще были месяцы и месяцы ожидания.

* * *

Голос воспитательницы пронзительно дребезжал в бездыханной тишине переполненного зала. Одного за другим выкрикивала она отъезжающих в детские дома, и после каждого выкрика в толпе детей ярким и добрым светом зажигалась пара взволнованных, недоверчивых глаз. Скакнуло и радостно забилось и мое сердце: я, сестра и брат были в списке.

Список включал всех старожилов, отбывших здесь по два-три года.

Сколько раз представлял я себе этот заветный миг, жил им, призывал его в самые безнадежные и отчаянные минуты! И он грянул даром судьбы и пришиб, ослепил, лишил мыслей и слов.

Мы не возликовали; бурные восторги не значились среди наших чувств. Бесконечное ожидание опустошило и прочно взнуздало нас сдержанностью и суровостью. Мы стояли с приоткрытыми ртами и вбирали в себя этот торжественный, запоздалый, но бесконечно желанный миг. В те секунды, как и во все долгие два года глухого безвременья отсидки, я жаждал одного: немедленно покинуть эти стены.

Странное наваждение вязалось ко мне: рассказать бы о ДПР всем людям, спеть бы наши песни! Или написать книгу, чтобы помнили и понимали нас...

Я словно воспарил над временем и одним взглядом охватывал разрозненные картины прошлого: искаженные злобой и плачем детские лица, кровные пайки, вырываемые из наших ртов.

Написать бы о том, как трясущимися доходягами припухали на смердящих матрасах, порабощенные неодолимым страхом дикой тьмы с ее вечными законами силы; о негаснувшем огоньке надежды, о заоконном мире с бесстрастной колокольней, о тоске и грезах, о нестерпимой боли в заплаканных глазах мамы. Эту боль я понес с собой вместе с предначертанием, звучавшим во мне, как набат судьбы: написать, донести обо всем!

Только так можно рассчитаться с непозабытым, неискупленным, непрощенным. Только рассказав, можно обрести покой и согласие в своей душе. Может быть, я затем и родился на белый свет, один из многих тысяч ровесников уцелел в блокаду, продрался сквозь мрак ДПР и мучительства Горбатого, чтобы сделать свою память памятью общей, ее несмываемой частицей.

Много ли — два года? Жизнь растаскивается по денечку, по годочку, но каждый убитый день не выпадает бесследно. Он тащится сзади тяжким грузом невежества или сожалений.

Можно ли наверстать упущенное?

Можно ли отыскать утраченное?

Брешь ДПР ничем не залатать, никак не превозмочь. Она зияет неодолимой пропастью несовместимости. Ушедших вперед никогда не догнать, как ни лезь из оглобель, как ни спеши измениться.

Да воздастся всем, чье детство опалил тот пожар, за терпеливое неведение! Да изживем мы скверну из своих душ и обретем очищение! Да зачтутся нам злосчастные дни и ночи незабвенного прошлого.

1983. Ленинград.

От редакции. Повесть Ильи Поляка была найдена нами в «самотеке», и уже в этом — редкая удача и для журнала, и для автора. Жестокая правда рукописи покоряла, но и тревожила — каков же автор теперь, где он и что он, прошедший еще ребенком по страшным кругам почти лагерного ада? И тем радостнее было узнать, что Илья Поляк не сломался, не потерялся в суровой и сложной жизни. Окончил в свое время математический факультет ЛГУ, а потом, как мы видим сейчас, его жизненные интересы разделились — поровну! — между наукой и литературой...

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Конец охоты

Вольный сонет

Я убегаю в темноту
Из ослепительной больницы,
Где елки — острые, как шприцы,
И упакованы в кухту.

Мне надоело жить в глуши:
К чертям капканы и морозы!
И аскетические позы
Затренированной души!

Здесь хорошо, а мне пора.
Но не домой — на кухню к газу
И не на лавочку двора;

А ожиданьям вопреки —
В непостижимую заразу
Сомнений, грусти и тоски.

* * *

С телом, рассчитанным на полвека
Пьянства, грызни и метрового снега,
Ногтями строителя, торсом абрека,
Бедрами, выпуклыми от бега

По пухляку на широких лыжах;
В шрамах, узлах, со сломанным зубом,
Кожей скул, ссохшейся в рыжих
Лучах зимнего солнца, грубым

Смехом; не имевший жилья,
Но никогда не сидевший, сложив
Ладони, — я
Жив,

Пока, простясь с миганьем светофоров
И жестким шелестеньем проводов,
Стремительное воинство соборов
Проклевывает почки городов;

Пока Земля, наклонная, как парта,
Выкармливает гениев, пока
Голодные глаза ученика
Зовут меня к мадоннам Леонардо;

Пока орган поводит голосами
И смертные пяти материков
С надеждой запивают небесами
Соленые подтеки потолков.

* * *

Весна — недомогание погоды,
Сырое перемигиванье звезд,
Дороги, повернувшие в объезд
И непривычно ранние восходы.

Весна — каприз беременной природы,
Озноб земли, бессмысленный протест
Морозов и тяжелые, как крест,
Но неизменно радостные роды.

А человек вне времени и места
Стоит, чужой природе и себе,
Кусая лихорадку на губе;

И вдруг бежит сквозь сумерки туда,
Где в дымке полусонного разъезда
Трубят о невозможном поезда.

Гитаре

Черное небо. Холод
Автомобильных морд.
Здравствуй, ночной город,
Грозный, как септаккорд.

Дом. Перед ним ограда.
Столбик все так же крив.
Третий этаж. Рада?
Дай поцелую гриф.

Сколько на нем пыли...
(Я через час уйду.)
Помнишь, как мы любили
«Си» на втором ладу?

Помнишь, какие песни
К нам заплывали в сеть?!
Мне их теперь, хоть тресни,
Так, как тогда, не спеть.

Помнишь мой неумелый
И затяжной уход
К этой спокойной, белой,
С буквами вместо нот?

Нас разлучило слово,
Строгое, как мотив...
Господи! Полвторого...
Дай поцелую гриф.

* * *

День ушел, приложив снег
К разболевшейся голове.
Я не сплю. Нам троим вовек
Не ужиться в одной Москве.

Я не сплю. Ты три года мать,
Он три года со мною груб.
Мне три года мешает спать
Неприступность твоих губ.

Ночь тянулась длинней дня,
Где-то скрипнули тормоза...
Сон был тонким, как простыня,
Мне приснились твои глаза.

●

Продолжение знакомства

Михаил ПОПОВ

Шамиссо, или Малый московский кошмар

— Нет, сегодня я точно сойду с ума,— прошептал Дымов, глядя в окно,— июль, будь он проклят!

На дворе действительно стоял июль, кроны тополей были в ошметках свисевшегося пуха, возле кривых качелей копошился некрасивый ребенок, на раскаленном асфальте кто-то разбил бутылку вина, оно быстро высыхало. За стеной старуха хозяйка громко разговаривала со своей кошкой: «Мурка, Мурка, Мурочка...», на столе... Дымов тоскливо посмотрел на обшарпанный письменный стол, там среди полуразрушившихся книжных башен стояла сковорода, покрытая слоем сизого жира, и захватанный стакан. «Диссерта-ация», самоиронично подумал Дымов. Все эти книги, эти бумаги и все его планы на будущее представлялись чем-то абсолютно ничтожным и ненужным. «Где ты бродишь, дурочка?» Кошка в ответ отвратительно мяукнула.

Геннадий Дымов был худым, лысеющим, с редкой клочковатой бородой молодым человеком лет двадцати восьми. Он переживал плохой период своей жизни. Три месяца назад он расстался с женой, эта рана не вполне еще зажила. Нужно было заканчивать очередную главу диссертации, но при виде печатного текста у него к горлу подкатывали рыдания. Настал страшный июль. Все друзья, все приятели и просто знакомые куда-то исчезли из города, на юг, на дачу. Старуха хозяйка, у которой он три месяца назад снял это жилище, все больше глохла, поэтому разговаривала все громче и даже начала храпеть. Старуху он ненавидел и давно сменил бы жилье, если бы у него нашлись силы для поисков.

Делать было нечего. Ни сейчас, ни через час, ни — особенно — вечером. Имелся, правда, один вариант. Харченко. Он жил с некрасивой беременной женой и тещей на другом конце Москвы, будь она проклята. Ехать к Харченке ему не хотелось. Харченко не был ему другом, его даже приятелем можно было назвать с трудом. И он вполне заслуженно имел репутацию жлоба, зануды и скряги. Ехать к Харченке через всю Москву, чтобы провести с ним вечер,— лучше в ад. К тому же Дымов должен был ему шесть рублей, вообще-то пустяк, но в этой ситуации... Нет, лучше лечь и умереть. Дымов лег. Лежать было неудобно, что-то кололо в плечо, к левой босой ноге привязалась муха, казалось, что кто-то липкий и тупой пытается пересчитать пальцы на его ноге. Дымов резко встал, дал по шее назойливой мухе, так что ее с гудением унесло за диван, втащил к себе из коридора телефон и через секунду, откашливаясь и морща длинное несчастное лицо, говорил:

— Это Харченко? Петя? Слушай, старик... как ты там, а? Это Дымов, узнал? Ничего, да? У меня тут идейка промелькнула... Ну да, да,— и Дымов угодливо хохотнул,— как бы ты отнесся?..

Харченко на удивление легко согласился принять гостя. Условились, что часам к семи вечера Дымов подъедет к нему с бутылкой водки. Положив трубку, Дымов понял, что ехать ему страшно не хочется. И денег мало — только на бутылку. О долге этот жлоб не заикнулся, значит, напомнит на месте. Дымов вздохнул: «Речной вокзал».

У Харченки Дымова ждала приятная неожиданность. Даже две. Во-первых, дома не было жены и тещи, они уехали на дачу; во-вторых, с кухни доносился негармоничный, но забавный голос, напевавший популярную песню: «Надо же, надо же, надо ж такому случиться».

— Одноклассник нашелся,— тихо пояснил Харченко,— пятнадцать лет не виделись.

Через несколько секунд Дымов пожимал крепкую дружелюбную руку. «Таласов»,— представился одноклассник. Он оказался полненьким, розовощеким балагуром. Очень забавной выглядела остренькая рыжая бородка в соседстве с ярким, сочным, подвижным ртом. Глаза у него были хоть и глубоко посаженные, но искрящиеся необыкновенной живостью. Поздоровавшись с вновь прибывшим гостем, он вернулся к нарезанию сыра. Закуска была почти готова. Из холодильника со всевозможными приличествующими прибаутками была извлечена бутылка водки, сразу плотно запотевшая в тепле, на ее место была водворена бутылка, принесенная Дымовым. На кухне было прохладно и уютно. Сели. Хозяин скрупулезно наполнил рюмки.

— Ну что же,— Таласов первым поднял свою рюмку,— выпьем за психическое здоровье.— В речи его чувствовалась легкая картавинка, не вредившая ей, впрочем, а, наоборот, придававшая переливчатость, приятную стремительность. И вообще он был очень приятен внешне, наверняка миляга и душа любого общества. Дымову он понравился сразу и полностью. Он был благодарен ему за то, что оказался здесь и спас его от тоски банальной пьянки в обществе этого зануды Харченки. Хозяин был сегодня особенно мрачен и менее разговорчив, чем обычно, ничего ему не нравилось. Его полутемные очки, которые он носил по совету офтальмолога, сегодня казались особенно непроницаемыми, а его почти идеально круглая голова с короткой, больничного вида стрижкой — настолько шарообразной, что на нее невозможно было смотреть без легкой тошноты. Выпили по второй. Олег (так звали Таласова) сыпал прибаутками, легко, естественно поддерживал высокий тонус застолья, подмигивал Дымову, быстро поглощая ловкими губами длинное мокрое перо лука и похлопывая Харченку по скованному плечу. Хозяин медленно ел, низко наклонившись над самой тарелкой, двигая носом так, как если бы он боялся уронить в еду свои очки. Но, когда выпили по третьей, даже он немного размяк. Стал тихонько хмыкать, когда Таласов отпускал особенно ловкую остроту. Достали вторую бутылку. Дымов кое-что вспомнил из студенческого фольклора и из армейской жизни. Поскольку Харченко тоже служил, а Олег, по всей видимости, относился к вооруженным силам с большим уважением, эта тема наконец-то сплотила всех троих. Когда вторая бутылка подходила к концу, Дымов держал страстной кистью Олега за мягкое предплечье и говорил ему, что благодарен судьбе за эту встречу, за нового друга. Друг! Что может быть ценнее в жизни? Таласов внимательно его слушал.

— Вот Харченко,— Дымов мощным движением бросал свою голову в сторону сонно набычившегося хозяина,— разве может меня с ним что-нибудь разлучить?! — И, любовно взъерошив коротенький хозяйский ежик, Дымов рывком возвращал свою голову на прежнее место: — И ты!

На глазах Таласова стояли слезы, и он, не дав Дымову договорить, поцеловал его взасос. Он тоже был рад новой дружбе. Но тут вдруг выяснилось, что горючее на исходе. Харченко, поддавшийся общему восторженному настроению, полез в кухонный шкаф, и в его пахнущих корицей и лавром недрах нашарил квадратную бутылку, заполненную какой-то грязноватой на вид ерундой. Оказалось, что это редчайший таежный корень, на котором только и держится тещино здоровье. Он был настоен на спирту.

— Корень мы ей оставим, слово джентльмена,— сказал Дымов, подмигивая хозяину то левым, то правым глазом по очереди. Спирт был выпит в два присеста. После этого слезы и братания продолжились, правда, в несколько замедленном темпе. Молодыми людьми овладевали приступы болтливости, переходящие в приступы задумчивости. Разумеется, застолье это не могло просто так закончиться. Дымов первый высказал мысль о том, что в квартире не может быть еще какого-нибудь спиртного.

— Ты смотришь в корень,— сказал Таласов, но непонятно было, к кому эта реплика относится, потому что Харченко в этот момент разглядывал опорожненную бутылку спирта, на лице хозяина выражалось мстительное чувство, он, кажется, был рад, что лишил важнейшего лекарства мать своей жены. Поднятые идеей Дымова, друзья двинулись на поиски.

Сначала очень долго выбирались из кухни. Все время путалась под ногами крайне наглая табуретка. Харченко, двинувшийся на поиски во главе колонны, так и не смог с ней разминуться. Переступить он ее тоже не смог. Сил хватило только на то, чтобы повалить ее, мерзавку. Так он и покатил ее по короткому коридору уверенной хозяйской ногой. Две бутылки водки и восемьсот граммов спирта сделали свое дело. Блуждания по квартире продолжались недолго. Поскольку никому не удалось включить где бы то ни было свет в квартире, изыскатели, то шипя, то перекликаясь по-таежному, бродили в темноте, пока не канули в ней.

Страшней всего похмелье тогда, когда застает человека вдали от родного дома. Дымов, открыв глаза, увидел перед собой очень увеличенный рисунок незнакомых обоев. Он хотел было застонать и позвать на помощь, но неизвестное чувство не позволило ему это сделать, он просто всхлипнул. Вместо того чтобы сразу решительно отвернуться от стены и разобраться, где он находится, и вспомнить, что с ним вчера произошло, Дымов, не двигаясь, насторожился и стал зачем-то прислушиваться, но ничего полезного не услышал, кроме болезненного сипения крана на отдаленной кухне. Попытавшись подумать о чем-нибудь бодром и смелом и не сумев этого сделать, Дымов решил распрямить затекшее тело — он лежал, круто свернувшись калачиком. Но у него ничего не получилось — тело не распрямлялось. Дымов совершил еще одно, более мощное усилие — никак. «Ничего себе»,— отчетливо и с некоторым испугом подумал он. Его прошиб холодный пот, а в сознание ворвался образ артиста-атлета Дикуля. Собравшись со всеми силами и даже зажмурившись, Дымов страшно напряг свое крепкое от природы тело и стал распрямляться... Послышался крепнущий хруст и вслед за этим легкий комнатный грохот. Дымов замер, полежал так несколько секунд, а затем, приподнявшись, увидел отломанную спинку детской кроватки, на которой он провел ночь, и отлетевший к стене стул. И тут же над ним раздался неприятный картавый голосок.

— С добрым утречком, как почивали? — Дымов резко сел и увидел перед собой розовое, свежее лицо вчерашнего собутыльника, тот с удовольствием поглаживал большим и указательным пальцами свою рыжую острую бородку. Переждав мутную волну, захлестнувшую его вследствие резкого движения, и судорожно глотнув воздуха, Дымов наклонился к отломанной спинке кровати и неуверенно попытался приставить ее на место.

— Нет, ничего не выйдет, шурупы вырваны,— весело сказал Таласов.

— Неловко повернулся,— попытался объясниться Дымов, снова подвигал безнадежной спинкой.— Детская кровать... А где Харченко?

— Он еще спит. Сказал, чтобы мы сами.

Посидев еще с полминуты, дожидаясь, пока жизнь окончательно вернется в омертвевшие члены, Дымов встал и с предосторожностями, держась за предметы мебели, попадающиеся по дороге, направился в ванную. Но там его ждало полное разочарование: оба крана издавали только сухое шипение, когда он вращал фаянсовые ручки.

— Представьте, даже в туалете нет воды,— сказал за спиной Таласов. Дымов ничего ему не ответил, тяжело ступая, проследовал на кухню и, усевшись на неудобный белый табурет, в полной мере осознал и почувствовал, как ему тяжело. Вчерашний его собутыльник шарил в холодильнике.

— Попить бы,— тихо сказал Дымов.

— А почти ничего нет, все, видимо, вчера... Ага, вот тут что-то...— Добыча была жалка — початая бутылка «Буратино» и треть бутылки староватого кефира. На кухне было невероятно жарко, душно и чем-то неприятно пахло, может быть, тещиным корнем. Хотя корни не пахнут. Приходилось все время зажмуриваться, потому что слепило солнце, бившее прямо в окно. Дымов вытер свой влажный лоб дряблой ладонью и сказал собутыльнику:

— Как я понимаю, вы — здесь... А я-то пойду, пожалуй,— и он попытался подняться. Ему очень хотелось домой, под прохладный душ, а потом с бутылкой пива на свой диван, он готов был даже послушать разговоры хозяйки с кошкой.

— Что вы, что вы, я тоже иду.
— А как же — одноклассник?
— Не беспокойтесь, с минуты на минуту приедет его супруга с мамой.
— Ну тогда нам надо бежать?
— Пожалуй, да.

Когда они оказались на остановке автобуса, держась рукой за ту часть груди, где располагалось сердце, и стараясь успокоить дыхание, Дымов спросил у спутника:
— Ну вот... Вам, собственно, в какую сторону?
— Нам по пути, до метро.

Дымову хотелось остаться наедине с собой, ему нужно было привести в порядок свои мысли. Он собирался поклясться себе, что в самое ближайшее время возместит ущерб, нанесенный харченковской мебели. Его пугали муки стыда. Таласов был сейчас неуместен, но он говорил правду — им было по дороге, маршрут имелся тут один и ничего поделать с этим было нельзя. Ждать пришлось довольно долго. Жара, призвав на помощь духоту, осадила изможденные чувства Дымова. Таласов, по всей видимости, страдавший значительно меньше, почел своим долгом развлекать товарища. Недалеко от остановки, за редкой березовой рощицей, виднелся обшарпанный купол какой-то церквенки.

— Церковь Николы-угодника. Типовой проект начала века. Полностью загажена.— Дымов внимательно посмотрел на спутника и снова тяжело вздохнул. Таласов порылся во внутреннем кармане своего пиджака и вытащил сложенный вдоль «Огонек», достал шариковую ручку и стал внимательно вглядываться в полуразгаданный кроссворд.

— Пустыня в Южной Африке, раз, два, три, четыре, пять... восемь букв.

Дымов посмотрел на выжженный солнцем асфальт, покрывший уходящую к горизонту дорогу, и тихо сказал:
— Калахари.
— Подходит! — радостно сообщил кроссвордист и стал вписывать маленькие буковки в маленькие клеточки.

Подкатил наконец автобус. Усевшись с тяжелым вздохом на горячее сиденье, Дымов на несколько секунд впал в полубессознательное, сонливое состояние, вывел его из которого приступ тошноты из-за резкого торможения автобуса. Сосед вдобавок легонько толкнул его в плечо.

— Вон, посмотрите,— Дымов автоматически посмотрел туда, куда указывала коротконалая, поросшая рыжеватыми волосиками рука Таласова,— церковь Знаменья в Грачевке, тысяча восемьсот сороковой, сейчас она в ужасном состоянии, а в свое время здесь венчался Брюсов,— Таласов вел рассказ с большим знанием дела, увлекательно. В этом районе церквей было достаточно, через несколько сот метров стояла другая, судя по всему, действующая, но на нее Таласов почему-то внимания не обратил. Впрочем, Дымову было в высшей степени все равно. Автобус остановился, выйдя из него и миновав строй киосков «Мороженое», «Табак», «Союзпечать», приятели остановились у входа в метро.

— Ну,— сказал Дымов со всем дружелюбием, на которое был способен,— вам куда? — И протянул руку.
— Я думал, не поехать ли на такси...
— А-а, а вот мне в метро, пока!
— Но такая жара... Я лучше составлю вам компанию. Под землей прохладно.
— Да-а, что вы говорите?
— Поверьте мне.

Дымов несколько секунд внимательно смотрел на спутника, потом полез в карман и, нащупав там горсть мелочи, сказал:
— Воды попью...
— Прекрасная мысль.

Потягивая тепловатую, чуть-чуть прокисшую воду, Дымов несколько раз подумал: «Вот черт!». Ему нестерпимо хотелось остаться одному. Подташнивало, в голове образовывались какие-то мгновенные пустоты, локализованные потери сознания. Рубашка липла к телу, правая нога оказалась натертой, по виску ползла отвратительная капля пота.

— У-ух, хороша водичка! — сказал Таласов, ставя стакан в пасть соседнего автомата.— Холодненькая, свеженькая. Ну что, поехали?

Когда поезд тронулся, он снова достал из кармана давешний «Огонек» и прокричал на ухо зажмурившемуся Дымову:

— Размещение предметов в музее, на выставке в определенной системе, десять букв...— И сам себе ответил: — Экспозиция. Величина, характеризующая способность поверхности отражать поток электромагнитного излучения или частиц, семь букв...— Как ни странно, Дымов пытался вслушиваться, его внимание было, правда, размыто волнами сложного, визгливого шума, особенно мучительного в момент торможения и разгона поезда. Дымова тошнило все сильней. Он переждал восемь таких приливов и отливов.— Советский спортсмен, легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1960 года?

На очередной остановке, явно не доехав до дому, Дымов встал и решил выйти, он не попрощался со своим спутником, ему было не до приличий, он еще надеялся, что тот хотя бы обидится и отстанет, но Таласов не отстал, стоя на эскалаторе, Дымов услышал его воркующий голосок:
— Вам плохо? Вам надо подняться на свежий воздух.

Дымов временно покорился судьбе, сил у него не было совсем. Он решил выпить минеральной воды, а потом уже что-нибудь предпринять. Жара на Пушкинской площади была еще круче, чем на Речном вокзале. Вид фонтана за спиной великого поэта не убеждал в том, что под сенью его струй возможно отыскать прохладу. Над головой Александра Сергеевича дрожал отчетливо видимый столб раскаленного марева, как будто какая-то страстная мысль овладела материалом памятника. Дымов стоял в неуверенной позе и угрюмо смотрел перед собой. Таласов, решив, видимо, что его товарищ пытается подсчитать количество людей, стоящих в очереди в кассу кинотеатра «Россия», вдруг сказал:
— Можно и в кино сходить, говорят, довольно забавный фильм.

Дымов бросил в его сторону мгновенный злобный взгляд, шумно вздохнул и сделал несколько шагов по направлению к фонтану.

— А вон там, прошу обратить внимание, церквушечка, видите, слева от кинотеатра, Рождества Богородицы в Путинках, семнадцатый век. Сейчас там, это очень символично, тренировочный зал циркового училища. Акробаты, надо думать, прыгают, канатоходцы... ходят.

Резко отвернувшись от церкви и от «России», Дымов двинулся по направлению к магазину «Минеральные воды». И выпил там четыре стакана нарзана с сиропом. Таласов не отставал и тоже выпил два стакана, видно было, что без особой нужды выпил, а только для дружбы. Но это Дымова ничуть не подкупило, и он, медленно цедя последние капли и не глядя в сторону дружественно настроенного спутника, жестко спросил:
— Вы, кхгм, чем, собственно говоря, собираетесь заняться-то?
— Вы не бойтесь, я вас в таком мрачном расположении духа не брошу. Давайте погуляем. Центр Москвы великолепен в эту пору. Я покажу вам свои любимые, если можно так выразиться, заповедные уголки каменной летописи, а потом закусим в приличном, тихом месте...
— У меня другие планы.
— Какие? — согласный, кажется, на любое продолжение, самым живым образом спросил Таласов.

Дымов, не ожидавший такого поворота в разговоре, не смог ничего ответить, только выпятил нижнюю губу и поднял одну бровь. Вялый мозг никак не мог родить ни одной подходящей мысли. Пробормотав что-то бессвязное о тетке, о диабете и Симферополе, но так и не составив из этих заготовок никакого осмысленного предложения, Дымов поставил свой стакан на мраморный прилавок и пошел на улицу. В горле у него клокотала сдерживаемая ярость. Таласов, естественно, был рядом. Дымов плелся сомнамбулически, на первый взгляд, в его действиях не было никакого плана. Он подходил к газетным стендам на Тверском бульваре и подолгу изучал таблицу футбольного первенства и программу телепередач на вчера. Присаживался на скамейку и внимательно наблюдал за тем, как резвятся ребятишки на детской площадке. Просто останавливался у какого-нибудь дерева и задумчиво прислонялся к нему плечом. Короче говоря, не только на первый взгляд, но и при внимательнейшем рассмот-

рении в его действиях не было и намека на какой-то план или смысл. Дымов был просто в растерянности. В конце бульвара он опять уселся на скамью в тылу памятника Тимирязеву. Таласов тут же достал из кармана свой кроссворд:

— Немецкий поэт-романтик и естествоиспытатель, цикл стихов был положен на музыку Шуманом.

Дымов не знал, кто это такой, к тому же не хотел отвечать, он нервно встал и быстро двинулся вон с бульвара. Справа открылся вид на церковь, и Таласов, трусивший рядом, не замедлил сообщить о ней необходимые сведения.

— ...церковь Большого Вознесения, и, между прочим, именно здесь венчался Александр Сергеевич, не в самой церкви — ее не было, а в притворе. А теперь? А теперь здесь какая-то отвратительная лаборатория, изучают атмосферное электричество. Железки, изоляторы...

Ничего не отвечая, Дымов остановился на троллейбусной остановке.

— Мне нужно немедленно поехать за железнодорожным билетом, я совсем забыл, что у меня запланирована поездка в Крым.

— Разумеется, я поеду с вами, я не могу вас оставить в таком состоянии и в подобной ситуации. Вы чувствуете себя еще неважно.

Дымов кивнул.

— Ну что ж, поехали.

До самого вокзала Дымов не сказал больше ни одного слова, он делал вид, что внимательно слушает рассказ спутника о том, что перед взрывом храма Христа Спасителя были сняты мраморные плиты, украшавшие его внутри, а на этих плитах были выбиты фамилии всех участников великой войны, использованы же они были для отделки первой линии московского метрополитена. Таласов рассказал все, что знал по этому поводу, погладил свою востренькую бородку и вытащил кроссворд. Несколько секунд внимательно смотрел в него, внезапно нервно ударил по нему тыльной стороной ладони и произнес не раз уже повторявшуюся им фразу:

— Семь букв. Поэт-романтик. Немецкий. Стих положен на музыку.

«Ничего, ничего»,— думал Дымов, подходя к зданию, где производилась предварительная торговля билетами на все направления. Внутри стояла духота, не поддающаяся описанию. Целые таборы людей с обреченным выражением на лицах сидели на полу среди своей провинциальной поклажи, обмахивались газетами. Густые извилистые очереди тупо стояли на утомительном полу. Все они упирались в высокую стеклянную стену, за которой в немом оцепенении, прерываемом краткими вспышками суетливой деятельности и стрекотанием машин, сидели мрачные кассирши. «Часа на четыре»,— злорадно подумал Дымов и встал в хвост самой неперспективной на вид очереди. Перед ним стоял неприятно пахнущий старик, сзади тут же пристроился щеголеватый майор с «Литгазетой» в одной руке и дипломатом в другой. И время пошло. «Только бы не было теплового удара»,— подумал Дымов. Таласов, внимательно вчитывавшийся в кроссворд, выделялся своим свежим видом на фоне полурасплавленной пассажирской массы. С кроссвордом он уже почти справился, не поддавался пока только тот «немецкий поэт».

— Ну что, не вспомнили?

— Простоим часа четыре,— отвечал Дымов.

— Может быть, и больше, ничего страшного. Хорошо, что мы хоть вдвоем.

Очередь и не думала двигаться, кто-то там впереди умудрялся добыть из-за стеклянной стены билет, и по толстому телу очереди пробегала некая волна, но тем все и кончалось. За сорок минут продвинулись на два метра. Таласов продолжал возиться с кроссвордом, привлек к этому делу интеллигентного майора и даже дурно пахнущего старика, оказавшегося человеком не без познаний, но немецкий лирик и естествоиспытатель оставался неуловим.

— Мне нужно позвонить,— мрачно сказал Дымов.

— Я видел там, за углом, автоматы.

— Я схожу...

— Конечно, конечно, я пока подержу очередь.

Дымов стал, петляя и тихонько матерясь, пробираться к выходу. Кабина, в которую он вошел, стояла на самом солнцепеке. Что творилось внутри, описать невозможно. У Дымова бурно потекли слезы и застучало в затылке. Воздуха не было совсем. Скользкая двушка никак не вытаскивалась из кармана, аппарат оказался барахлом, в том смысле, что барахлил слегка. Только с третьего раза все семь поворотов диска были им поняты как следует, и в трубке послышался мрачный, разбитый голос Харченки: «Алё!»

— Слушай,— заторопился Дымов,— ты мне объясни, что это у тебя за одноклассник, он что — дурак? Забери ты его, а? Пристал и бродит за мной, болтает все время...

Харченко тяжело молчал на том конце провода.

— Ну что ты молчишь? Чей это одноклассник, твой или мой?!

— Знаешь,— сказал Харченко и помолчал еще несколько секунд,— я сегодня все утро вспоминал. Не было у меня такого одноклассника ни в первом, ни в пятом, ни в десятом...

— Да-а? И что же теперь делать, Петро? — растерянно спросил Дымов. Харченко молчал, не реагируя на столь внезапное в устах Дымова обращение к нему.— Что же делать, а? Ты уж подскажи, а? Может, ты его куда-нибудь заберешь, я его все же у тебя, так сказать, повстречал...

— У меня теща...— ответил Харченко.

— Я понимаю, но ко мне-то он вообще не имеет никакого отношения.

— Вы с ним вроде как подружились.

— Нет-нет-нет-нет-нет,— затараторил Дымов,— он только твой, давай мы сейчас подъедем, пивка попьем, уже скоро откроется... поговорим, спросим у него, так сказать, а, Петя?

— Ты тут кровать сломал.

— Я отдам, я все отдам.

— Да я не про то, не пустят меня.

— Нет, Петя, ты меня вот что, послушай...

— Извини, зовут.

Омертвевшей рукой Дымов повесил трубку на рычаг и, ничего не видя, выбрался наружу. «Драпать, немедленно драпать!» — гудела в голове мысль, и он, набирая скорость и боясь оглянуться, двинулся в сторону метро.

— Ну что, поговорили? — раздался сзади голос Таласова.

Дымов замер, медленно обернулся и, глядя себе в ноги, с огромным трудом спросил:

— А как же очередь, Олег?

— У вас же все равно нет денег, я почувствовал, что вы об этом вспомнили и, наверное, стоять больше не захотите.

— Денег, да... Но билет все равно нужен. Я сейчас сгоняю и вернусь, очередь вы бы подержали как-нибудь а?

— Мы можем свободно ехать, я уже обо всем договорился,— сказал, улыбаясь, Таласов.

Дымов кое-как кивнул, осторожно переступил на месте и, слабо улыбаясь, пошел. «Все, это все, это все»,— думал он. Заорать, побежать, завязать драку? Нет, все эти истерические импульсы подавляла полная, неизвестно откуда явившаяся уверенность в том, что это бесполезно. В метро Дымов спустился автоматически, не имея в голове никакого плана да и вообще ничего, кроме медленно усиливавшегося ужаса.

— Куда мы едем?

— К одному приятелю.

— А поедемте лучше к вам. Попьем чаю, поболтаем.

— Нет, может быть, потом. На днях. Дело в том, что я живу не один.— Дымов представил себе свою домохозяйку, выглядывающую с кухни с котом наперевес, и его затошнило. Давно пора искать другое жилье, нельзя так зависеть от какой-то старой полусумасшедшей сволочи.

— А все-таки как зовут этого чертова немца? Вы не припомнили? Семь букв. Стихи его были положены на музыку Шуманом.

Дымов изо всех сил старался сосредоточиться. Не может быть, чтобы из этой ситуации не было выхода. Что у него не белая горячка, он был уверен, несмотря на то что накануне было очень много выпито, очень. Прямой вопрос, кто же все-таки его спутник, если он не одноклассник

Харченко, Дымов себе задавать боялся, он надеялся заняться им когда-нибудь потом, на досуге. Сейчас решил сосредоточиться на хорошем плане бегства. «Этот,— Дымов подумал в левую от себя сторону, туда, где продолжалась работа над немецким лириком.— явно обладает какими-то особыми качествами. Просто так от него не отделаешься». Дымов отчетливо ощущал, что ни в коем случае нельзя показать, что о чем-то догадался. Он осторожно качнулся влево, чтобы тронуть Таласова локтем. Тронул. «Галлюцинацию нельзя пощупать». И ему стало еще страшнее после этой мысли. Ведь если не галлюцинация, то... Нет, одернул он себя, об этом потом, потом, потом. Может быть, и просто шпион какой-нибудь поганый! Что мы о них знаем? Шпиономания у нас сейчас не приветствуется, вот они и воспользовались. Дымов знал, что думает глупости, но продолжал их зачем-то думать. Ему так было спокойнее. Он осторожно скосил глаза. Таласов медленно постукивал острием шариковой ручки по изрядно исчерканной клетке кроссворда, выражение лица у него было сосредоточенное, остренькая бородка отвратительно подергивалась.

— Да что вы все кроссворд да кроссворд! Там очень про Бухарина хорошая публикация.

Таласов значительно и загадочно улыбнулся, наверное, он имел свое, построенное на совсем уж секретных фактах и сведениях, мнение о Николае Ивановиче, так что никакая статья его удивить не могла.

— Да, правда, что за низменная страсть, вы что, память упражняете?— Дымов горячил себя, ему необходимо было достичь такого внутреннего состояния, при котором стал бы реально осуществим составленный им план. Таласов только улыбнулся в ответ.

Они сошли на «Семеновской», поднялись наверх, пересекли площадь, трамвайные пути. Дымов решительно направился к 24-этажному небоскребу, достопримечательности здешних мест.

— Нам сюда? А какой этаж?

— Сотый.

Таласов совершенно справедливо расценил это как шутку и тихо хмыкнул. Лифт пах собакой, как и все лифты в Москве, и слегка ныл при подъеме. Дымов молчал, глядя себе под ноги, его спутник любознательно оглядывался, катание на лифте ему явно доставляло удовольствие, он был очень в этот момент похож на провинциала.

— Странная у вас все-таки фамилия.

— Почему же?

— Лучше бы, если бы просто — Тарасов. «Р».

Таласов открыл рот, собираясь оспаривать это мнение, но ничего не успел сказать, кабина мягко затормозила на 24-м этаже, и с шипением открылись двери.

— Прошу,— предложил галантный Дымов, и беззаботный Таласов вышел. Дымов мгновенно нажал кнопку первого этажа, двери пошли обратно, как ни странно, затея удалась, уже в последнюю щель Дымов увидел лицо метнувшегося обратно приятеля и его занесенную руку. Этой рукой и был, видимо, нанесен мощный удар в закрывшиеся створки двери. Удар, надо сказать, громадной силы, поколебавший кабину лифта. «Ничего себе,— ежась, подумал Дымов,— прямо «Солярис» какой-то».

Для обычного спуска, пешком, небоскреб был приспособлен плохо, даже тренированный человек, заранее знакомый с особенностями всех здешних переходов, не имел ни малейших шансов угнаться за кабиной. Дымов, напряженно улыбаясь, рушился вниз. Он знал, что будет делать дальше. Он не побежит к метро, он дворами, дворами — до Измайловского парка, а уже оттуда... Лифт вдруг всхрипнул и, несколько раз дернувшись по направлению к желанному первому этажу, замер. Дымов схватился сначала за свое перепуганное сердце, потом забегал дрожащей рукой по кнопкам — все этажи молчали, и он стал нажимать кнопку рядом с надписью «диспетчер». Но динамик издавал только шипение, то повышающееся, то понижающееся в тоне. Бесполезно! Дымов прижался спиной к прохладной стене. Мысль его металась. Он то представлял себе глубокий, пахнущий машинным маслом и крысами колодец под ногами, то видел, как вьется над его головой, сужая круги, толстенький коршун Таласов.

За стенами кабины было тихо. Может быть, в этом доме никто и не

живет! Дымов опять нажал кнопку диспетчера. Все то же. Нет, не все. В волнах сипения мелькнул обрывок человеческого голоса.

— Э-эй,— неожиданно для себя в полный голос закричал Дымов,— эй ты!.. Диспетчер чертов! — Но больше ни одного человеческого звука он не дождался. Вернее дождался, но не из ящика.

— Наконец-то,— раздался бодрый картавый голос за дверью,— что с вами, друже, случилось, застряли?

— Нет,— хрипло ответил Дымов, по инерции нажимая кнопку.

— Я сейчас все устрою, можете не волноваться. Я вас ни за что не брошу! — Он убежал.

Дымов отпустил наконец кнопку и почему-то сплюнул, шепча: «Вот черт!».

Таласов отсутствовал недолго, вскоре откуда-то снизу донесся его характерный говорок. Человек, которого он привел и с которым разговаривал, отвечал лениво и глухо. А кабина, оказывается, застряла в районе третьего этажа.

— Это мой друг, мой ближайший друг. Вы должны немедленно что-нибудь предпринять.

— Я этого так не оставлю,— отвечал пришедший с Таласовым специалист,— будьте спокойны.

Дымов прижался горячим ухом к двери, с ужасом и с вниманием слушал разговор, происходящий на площадке. «Ближайший друг, ближайший друг»,— думал он. В ноздри ему попал запах сигаретного дыма, видимо, мастер держал во рту сигарету.

— Друг, говорите, а почему он там, а вы на свободе?— Дымов замер, ожидая, что ответит на этот вопрос Таласов, но тот не ответил ничего, сочтя вопрос риторическим, он только попросил побыстрей заняться сплоховавшим механизмом.

— А что он там молчит, ваш друг, а? Эй, вы там живы еще?

— Он у меня стеснительный очень. Прошу вас, поскорее освободите его, дружка моего.

Мастер ушел и вскоре над потолком кабины что-то щелкнуло, она опустилась примерно на полметра, и двери ее, издав звук, напоминающий звук зевка, разошлись. Таласов встретил Дымова выражениями живейшей радости и даже заключил его в объятия.

— Как вы плохо выглядите! Знаете что, вам надо отдохнуть. Давайте поедем к вам домой, вы поспите, а я почитаю что-нибудь.

— Давайте,— покорно сказал Дымов.

Как и боялся Дымов, старуха хозяйка была в коридоре. Не спала старая и в магазин за молочком для своей дуры Мурки не утопала. Кстати, Мурка тоже была в коридоре, она дико взвизгнула, когда в квартиру вошел Таласов, пропущенный вперед хозяином. «Кажется, раздавил»,— злорадно подумал Дымов. Таласов сказал «пардон», потом сказал «ух, какие мы пушистые» — Мурке и «честь имею представиться» — старухе. Та искоса и чуть-чуть очумело глядела на визитера. Дымов, возясь с запутавшимся шнурком, мечтал только об одном — чтобы старуха не начала выгонять их немедленно. Старуха осталась недвижима и безмолвна.

Вошли в комнату. Таласов сбросил пиджак и сел на диван, с интересом оглядывая комнату.

— Вот вы, значит, где живете.

Дымов двумя руками пытался аккуратно сдвинуть кучу предметов, занимавшую середину стола, при этих словах гостя у него внутри все оборвалось, а с другого края стола на пол стали падать книги.

— Что это вы делаете?

— Чайку... — тихо ответил Дымов.

— Это — дело! Где у вас чайник?— Таласов мгновенно отыскал его у себя под ногами.— Сейчас я его поставлю! — и выскочил с ним в коридор.

Дымов обессиленно сел на диван, он чувствовал себя раздавленным, обманутым и брошенным на произвол судьбы всею своею страной. Гость задержался на кухне: о чем-то беседовал там со старухой. Говорил он громко и весело, и, что самое удивительное, старуха тоже разговаривала

весело и с удовольствием, за три месяца своей жизни здесь Дымов не видел и не слышал ее в таком состоянии ни разу.

— Романтический поэт, романтический поэт, — задумчиво, но во весь голос говорила старуха.

— И естествоиспытатель, — услужливо напоминал Таласов.

Дымов стоял у приоткрытой двери своей комнаты и прислушивался к этим жутким голосам. Вдруг ему пришла в голову мысль, он кинулся к столу, обшарил его взглядом, заглянул под стол, достал оттуда какую-то книгу и стал лихорадочно листать. Мурка, неторопливо вошедшая в комнату, потерлась о его ногу, он вздрогнул от неожиданности. Наконец он нашел то, что искал, несколько раз прочитал одними губами нужное слово.

Таласов напевая закрылся в туалете, предоставив Ольге Спиридоновне пока подумать самой. Дымов на цыпочках подкрался к двери кухни и тихонечко, стараясь подражать шипению чайника, стал шептать:

— Шамиссо-о-о, Шамиссо-о-о, Шамиссо-о-о. — Потом он быстренько вернулся обратно и стал ждать, что будет дальше.

Таласов вернулся на кухню, и через несколько секунд раздался его восхищенный вопль:

— Именно, именно! — В ту же секунду он вбежал в комнату Дымова, вынул из кармана пиджака кроссворд, прихватил и пиджак и, шепнув Дымову: «Ольга Спиридоновна — прелесть», — исчез.

Забрав чайник, Ольга Спиридоновна и Таласов отправились в ее комнату и плотно затворили дверь. Дымов со всеми предосторожностями выбрался на улицу и понесся по вечерней улице в сторону метро. От метро он позвонил Харченко.

— Слушай, у тебя нельзя переночевать, а? Да нет, я один.

— ?

— Он принялся за мою хозяйку.

— Ну, приезжай.

Через несколько дней Дымов осторожно вошел во двор своего дома. И спросил у дворничихи, меланхолично курившей возле мусорного бака, не видала ли она Ольгу Спиридоновну.

— А, жилец, — сказала почему-то неприязненно дворничиха, — забрали ее. Большой таракан, говорят, ей в голову забежал. С санитарами увезли.

— Там... — Дымов сглотнул слюну, — там никого сейчас нет?

Дворничиха бросила окурок в бак и сплюнула.

— Ну все с ума посходили, господи помилуй!

Владимир БУШНЯК

Зайцев

Оказалось, что дядя был совсем не похож на себя, то есть на того дядю, которого он придумал, молчаливо выслушивая уговоры матери и не соглашаясь на поездку до самого последнего дня, и оказалось, что это удивило его больше, чем горы, лес и бурная речка с прозрачной и звонкой водой, и, наконец, что здесь, в небольшом поселке с золотистым воздухом над полями у подножия гор, оказалось не так уж и плохо, как он думал, когда мать, не уставая, повторяла: «Тебе там понравится, вот увидишь. Соглашайся. К тому же ты прекрасно понимаешь, что иного выхода нет, и я все равно тебя увезу к дяде. Ты только представь: горы, лес, речка и холмы вокруг, — я уверена, тебе там понравится». Он стоял перед ней с опущенной головой и, глядя на запыленные дырочки своих сандалий, упрямо молчал, вяло, без всякого интереса представляя при слове «горы» обычные, где-то и когда-то виденные на открытках горы, при слове «лес» — обычный лес, при слове «речка» — обычную речку, и все это смутно, приблизительно, так, что даже не за что было зацепиться памяти, чтобы хоть на какое-то время если хотя бы не сохранить, то просто удержать в воображении так же вяло возникающие образы.

И он тут же забывал о них, как только уходил в свою комнату. Садился на корточки перед старым радиоприемником на полу и смотрел на него, читая про себя названия городов на шкале настройки, или разглядывал рваный динамик. Он мог бы заклеить динамик полоской бумаги, но его останавливала мысль о том, что он не сможет проверить его в работе: что-то в радиоприемнике было испорчено или чего-то не хватало, какой-то может быть, самой маленькой детальки, потому что все, что бросалось в глаза, было на месте.

Когда он включал радиоприемник в сеть, все лампы начинали светиться изнутри слабым желтоватым накалом, а затем, разогревшись, красновато-белым пламенем, и это было все, и никаких других признаков жизни — ни звука, ни даже шипения в динамике, — таинственное светящееся безмолвие на голом полу.

Мать входила в комнату и тихо останавливалась за спиной, он слышал, но не оборачивался. С минуту мать молчала, вместе с ним глядя на светящиеся лампы, затем спрашивала: «Не работает?» Он оборачивался и поднимал голову, зная наперед, что последует после этого «не работает?».

И через две или три минуты он сидел на кухне за столом и без всякого интереса слушал, уткнувшись носом в тарелку, как ему будет хорошо у дяди. «Ты слушаешь меня, Зайцев?» — спрашивала мать, протягивала руку и легонько тормошила его за плечо. Он ждал, когда она уберет руку, и продолжал есть, облокотившись на стол и все так же уткнувшись носом в тарелку. Мать делала вид, что ничего особенного не происходит, и, помолчав немного, снова принималась рассказывать о чудном уголке — предгорном поселке.

Понемногу он стал привыкать к мысли о том, что поездка к дяде — это чуть ли не роковая для него неизбежность, и понемногу стал привыкать к тому, что час за часом, черточка за черточкой, медленно, не спеша и даже как бы исподволь его воображение приступило к работе над созданием образа дяди.

Воображаемый дядя приобретал черты характера, тембр голоса, цвет волос, он двигался, говорил, смеялся, и все это на фоне зеленых гор, синих, красных и желтых полей, на фоне падающей с отвесной скалы речки, и что еще немаловажно — дядя вдруг предстал с ружьем на плече, увиделся на лесной дороге, высокий, широкоплечий, в сапогах и пиджаке. Этот образ запомнился и все последующее время дополнялся и совершенствовался; он уже виделся довольно четко, подобно человеку, выходящему из тумана, он вырисовывался все яснее и ярче, а там, в легком сумраке летнего леса, где дорога, замысловато вильнув, внезапно лезла в гору, там, среди деревьев, пронизанных толстыми лучами солнечного света, маячила зыбкая фигура матери.

Наконец наступил день, когда Зайцев, насупившись, пробурчал: «А собака у дяди есть?» Мать увидела в этом совсем другое, не то, что было на самом деле. «Конечно, есть, и не одна, — протягивая руку к его голове, сказала она. — У дяди целых три собаки. Нет, две. Или вру? Все же, кажется, три». Он сдержанно вынес ее ласку и снова пробурчал: «А какой породы?» Мать ответила: «Обыкновенной». Он приподнял голову, посмотрел на нее ясными голубыми глазами. «Такой породы не бывает», — сказал он и ушел в свою комнату.

Утром они получили письмо от отца, капитана милиции, уехавшего в конце мая в Чернобыль. А шел уже июнь. Мать ждала это письмо, но оно ничего не прояснило, и теперь, прочитав его вслух, она держала хрустящий лист в руке и, сидя на диване вполоборота к сыну, смотрела невидящим взглядом на узоры ворсистого ковра на полу. Сын рассматривал свои ногти, плоские, как у отца, и, мучаясь от нестерпимого желания обкусать заусеницы, тоненько посапывал. Наконец мать с хрустом сложила письмо. «Вот так, — сказала она и посмотрела на сына. Он продолжал изучать свои ногти. — Вот так, — повторила она, и сын уловил в ее голосе непонятные для него изменения. — Слышал, что написал отец? — спросила мать, и стало ясно, что как бы он ни сопротивлялся, как бы ни дулся и ни сопел, все будет так, как задумали взрослые, и хочется ему или нет ехать к дяде, а его все равно отвезут. Мать обняла его за плечи, прижала

к себе, потом легонько потормошила: «Зайцев, ты что? Какой же ты еще дурачок, ничего не понимаешь». Она ткнулась губами ему в макушку, глубоко вдохнула запах его волос и, быстро поднявшись, вышла из комнаты.

Она долго разговаривала по телефону в прихожей, и Зайцев слышал, что она кого-то просила кому-то позвонить, потом сказала, что получила сегодня письмо и что не дай бог, конечно, чтобы там это было настолько ужасно, как она догадывается, но как бы там ни было, а она рисковать не станет. «Мы же никто не знаем, что это такое,— сказала она.— Мы ничего не знаем об этом. Что? Да, не так уж и близко, но, извини меня, не так уж и далеко. И еще все так неясно. Не хочу рисковать. Что? Нет, я же сказала: рисковать не буду. Слишком дорого мне может это обойтись. Слишком дорого». Потом она позвонила еще кому-то и разговаривала так же долго, и опять сказала о письме, и сказала, что она лучше сейчас перестрахуется, чем потом будет локти кусать.

Мать вернулась в комнату с порозовевшим от разговоров и волнения лицом, и через полчаса, одетый в белую рубашку с короткими рукавами, причесанный, Зайцев шагал рядом с ней по улице, шаркая вытертыми влажной тряпкой сандалиями по горячему асфальту. Они шли молча, а перед магазином на углу мать спросила: «Купить мороженое?», и он чуть было не сказал: «Купи», но вовремя спохватился и пробурчал под нос: «Не надо мне никакого мороженого». Мать вздохнула и потянулась рукой к его голове, но он отвел голову, и рука матери на мгновение зависла в воздухе.

За магазином они свернули на узкую асфальтовую дорожку и под деревьями, в жаркой тени прошли к домам, попетляли между ними и вышли на тихую улочку с высоко сросшимися деревьями над головой. И тут мать снова заговорила, осторожно подбирая слова, и он сразу понял, к чему она клонит, к чему так осмотрительно подбирается. Он весь напрягся, кровь отхлынула от лица, он опустил голову и часто заморгал густыми, отяжелевшими от влаги ресницами. И в эту минуту мать как бы между прочим сказала: «Ну вот, завтра утром будем уже в дороге». Он отвернулся и страшным усилием воли остановил чуть было не выкатившиеся из глаз слезы. Деревья над головой расплелись, и яркий солнечный свет, преломившись в застывших слезах, ослепительно вспыхнул многоцветным сиянием. Он зажмурился, и вдруг понял весь ужас предстоящих перемен, и понял, что всю последнюю неделю, с той самой минуты, когда узнал, что его собираются отвезти к дяде, всю последнюю неделю он жил под страхом этих перемен: его никогда и никуда не вывозили, он даже в школу еще не ходил, а тут грозятся на все лето, и никого не будет рядом, ни отца, ни матери, и что он будет делать у дяди?

Он всю дорогу молчал, хотя именно сейчас ему и не хотелось молчать, но он молчал и, кажется, себе на зло и отворачивался, когда мать обнимала его за плечи и прижимала к себе, к упругому, скользящему под платьем бедру, а Зайцеву хотелось вырваться и закричать, затопать ногами, упасть на землю и бить, бить по ней руками, как это часто он делал, когда хотел добиться своего и добивался, но сейчас он почему-то не делал этого, терпел и шагал, шагал, молчаливый и насупленный, в белой рубашке с короткими рукавами, в шортиках и сандалиях.

Он все время помнил, куда они идут,— за билетами,— и когда они уже почти подошли к кассам и он увидал, какая там, возле дверей на улице, то ли очередь, то ли толпа, и дети вокруг, и на руках у женщин и даже у мужчин,— теперь он вдруг растерялся и никак не мог определить, почувствовать, что для него значит эта толпа, эти взрослые и дети. Он посмотрел на мать. Не глядя на него, она нашла его руку и ускорила шаг, и Зайцев подчинился и шел, быстро перебирая ногами, пока мать внезапно не остановилась. «Так, так,— сказала она,— та-ак. Что же делать? Что же делать?» Она покрутила головой, что-то ища глазами, выпустила его руку и раскрыла сумочку, покопалась в ней и извлекла несколько тоненько и глухо звякнувших монеток. «Пойдем»,— произнесла она и снова, не глядя на сына, нашла его руку и повела за собой через дорогу, направляясь к телефону-автомату. «Стой здесь»,— сказала она и вошла в будку, и Зайцев стоял, а мать с кем-то говорила по телефону, но теперь совсем не так, как дома, теперь ее голос был просящим, почти умоляющим. Она все время повторяла: «Да, да, я понимаю. Возможно, так оно и есть. Да, да, конечно». Или вдруг долго молчала, глядя сквозь стекло куда-то вдаль, и Зайцеву показалось, что она забыла о нем. Он отошел под дерево, в тень, но мать каким-то образом заметила и тут же, продолжая говорить и не разобравшись, для чего он это сделал, показала рукой, чтобы он вернулся на место. И Зайцев послушно вернулся и стоял на солнцепеке лицом к телефонной будке. Наконец мать повесила трубку, но тут же снова сняла ее, покрутила диск и опять заговорила все тем же просящим, почти умоляющим голосом, а он все стоял, и смотрел на нее, и, не прислушиваясь, и даже не стараясь прислушиваться, слышал: «Я все понимаю, но неужели... Да, да, да... неужели ничего нельзя... Нет, но вы же понимаете... да, да... неужели ничего нельзя... нет, я ведь не потому, что... Ну, конечно... Ой, я вас очень прошу. Да, да, это, кажется, выход. Хорошо. Когда перезвонить? Хорошо. Поняла. Спасибо огро... Хорошо. Нет, из автомата. Я подожду. Конечно, конечно...» — и видел, как она левой рукой отбрасывает с лица упрямую прядь, и вдруг он все понял или скорее почувствовал, и в это мгновение мать вышла из телефонной будки.

Через двое суток на небольшой пыльной и прокаленной солнцем районной автостанции, вокруг которой чахли в знойном воздухе тоненькие акации, он, стоя рядом с дядей и глядя на обернувшуюся в дверях автобуса мать, вспомнит то сиротливо удрученное лицо, с которым она вышла сейчас, и впервые в жизни испытает такую сумасшедшую жалость к ней и такой страх, что задохнется от этого.

А пока, ухватившись за призрачно мелькнувшую надежду и чувствуя своим детским умом, что не все получается у матери так, как она хотела бы, и что, возможно, его и не смогут увезти к дяде, он, чтобы не выдать тихо проникающую под сердце радость, нахмурился и неожиданно для себя тоненько засопел.

г. Симферополь

Андрей БЫЧКОВ

Поют они

«Через рабство и через разврат хотят возвратиться? Кто же такие, и где их дорога? Не знаю. Пусть идут. Раньше (я помню) были детьми»,— он так думал, накалывая билет. Он был в белом грязном халате, немногословный (он многое видел), почти седой. Никто не разговаривал с ним. Называли олигофреном. Боялись его. Сам был он, как гриб, очень сморщенный и неправильный: огромная изогнутая голова, а морщины как бы под ней, как под шляпой, и оттого было жутко смотреть на эту голову, на это спрятанное, как в нору, лицо.

Он накалывал эти билеты (желтоватая блестящая бумага, а раньше была оберточная) и смотрел, как эти люди раздеваются. Это была его работа, часть работы, которую он выполнял через день,— накалывать билеты и смотреть, как они раздеваются. В этот раз он делал свою работу не так хмуро, как обычно, потому что выпал четверг, и, кроме этих — сытых, довольных жизнью и в первую очередь местом, да-да, именно местом, с маслянными лицами, с маленькими непробиваемыми глазками, которые обычно приходили сюда громко похвастать и рассказать о том, как и кого они съели (так он думал про них),— пришли и другие, те, которые приходили по четвергам и никогда ничего не говорили.

Четверг — день, когда он чувствовал, что он не один.

Одетые мужчины разговаривали очень громко. И некоторые из них продолжали говорить о каком-то совещании. (Он, конечно же, слышал.) Сначала они сняли пиджаки, очень дорогие твидовые пиджаки, потом отстегнули подтяжки. Они компанейски посмеялись — подтяжки были у всех одинаковые, польские. Стараясь не глядеть друг на друга — в конце концов это частное дело,— они сбрасывали легкие шелестящие рубашки, опускали немнущиеся брюки, тянули через головы потрескивавшие искрами

майки, комкали носки, быстро снимали трусы. (Он видел.) Они продолжали еще говорить на служебные темы: финансовый отчет, программа докладов назавтра, командировочные. Они не обращали пока внимания на какое-то странное мычание, блеяние, которое доносилось из соседних кабинок. (Он-то, конечно же, знал, что это такое.) Пожалуй, они раздевались все вместе вот так, тесно, впервые. Быть может, и были знакомы не близко, хотя уже и не удивлялись друг другу. Они говорили о том, о чем обычно говорят на работе, но раздевались при этом впервые. И какое-то чувство — не неловкости, нет, — может быть, любопытства, хотя они были нелюбопытны и уже давно ничему не удивлялись, они все же что-то почувствовали, когда случайно и уже не случайно увидели наготу друг друга. (Когда-то он думал, что, может быть, это еще может спасти их.) И тогда они замолчали, и, возможно, некоторые из них услышали это мычание, но не придали значения, мало ли что, пустяки, чепуха. Но эта пауза, когда на мгновение перестали существовать старшие, младшие, приближенные к начальству и удаленные, перспективные, неустроенные, со званием и без, уже повышенные и готовящиеся к повышению, прибывшие недавно и уже успевшие прослушать отчетный доклад ревизионной комиссии, когда остались голые люди и каждый вынужден был посмотреть на тело другого и отметить про себя бессознательно силу, дряблость, загар, форму пупка, шрам, густоту волос на груди, эта пауза, когда они не говорили друг другу слова, не держали в луче производственного разговора и в то же время еще никак не пошутили сами над собой раздетыми, может быть, потому, что были не близко знакомы и никто не хотел первым обращать внимание на личное, частное, укорачивать нити, связывавшие их только по делу, только по делу, эта пауза, безусловно, затягивалась, и они не могли не услышать странных мычащих звуков, этих хрипов, придыханий, горловых вибраций, не то стонов, не то смеха из соседних кабинок, кабинок с закрытыми дверцами.

Этот четверг...

Он был, конечно же, сумасшедший — банщик Валуй. Проще всего сказать, что он был сумасшедший. Так говорил про него работавший в гардеробе бывший пожарный, который строил из себя диалектика, противно морщил лицо, думая про себя, наверное, что эстрадный артист и философ — примерно одно и то же. Так говорил о Валуе и дядя Боря из мойной, но говорил все же нехотя, с сожалением (завидовал, что ли?). Все они в этой бане получали хорошие чаевые: и дядя Боря, и гардеробщик, и другие. Только Валуй отказывался от денег. Почему же терпели его? Неизвестно. Говорили про высокие странные связи и про что-то еще. Но почему же он сам не уходил, Валуй, из этой пузатой престижной бани с цветными окошками, где дядя Боря в мойной с усердием трет мягкие жирные тела, натянутые на жесткие каркасы из ребер, а потом внизу, в гардеробной, бывший пожарный, умело подавая пальто, рассказывает тонкие диалектические штучки, отчего внутри каркасов поднимается густое ненавязчивое тепло — ведь иногда так приятно почувствовать себя хорошим человеком. Почему же не уходил? Непонятно. Ведь он часто думал о Бирюлевских, где черные, закоптелые потолки, где мужики еще делятся с незнакомыми воблой и чаем, где когда-то убирала пожилая простоволосая женщина с поразительно красивым, но каким-то неподвижным лицом, ее называли Настей, голубушкой. Почему же не уходил? Наверное, был сумасшедший. Ни гардеробщик, ни дядя Боря не любили четверг.

Не все из тех, что мычали по четвергам, срывались на стон, смеялись и кашляли в кабинках с закрытыми дверцами, окончили специальное сурдопедагогическое учреждение. Почти никто из них не выписывал журнал «В едином строю», хотя многие были членами Всероссийского общества глухонемых, что давало некоторые привилегии. Кое у кого сохранились еще островки слуха и они слышали отдельные гласные. Но все равно они чувствовали себя в этом мире отверженными. Нет, не несчастными, скорее избранниками. Они никогда не считали себя животными или рыбами, потому что были людьми. Они не умели болтать, и многое видели, и, опредмечивая каждую букву жестом, пальцами, делая речь реальной, всегда говорили самое главное. Они приходили сюда по четвергам, раздевались и парились. И говорили, не болтали, а говорили. Они не любили, когда на них смотрят. Смотреть на них было нельзя. Только банщик Валуй имел право разглядывать их жесты. Другим, чересчур любопытным, они угрожали. Валуй мог смотреть, как они разговаривают, часами. Ему всегда казалось, что в их речи что-то происходит, ведь они показывали свою речь, и про себя он сравнивал ее с игрой в карты. Они говорили по-разному. Кто-то одной рукой, а кто-то двумя. Кто-то говорил, как будто щупал, а другой — словно гладил и вертел. Был один, бывший водолаз, который иногда хватал других за пальцы, мычал, мотал головой, часто плакал, он всегда раздевался и одевался последним, глухонемые его уважали, а банщику Валую он почему-то напоминал Настю из Бирюлевских — такое же неподвижное, словно роспись на фарфоре, лицо, очень красивое, печальное лицо. Глядя на этого человека, Валуй видел, как Настя идет среди раздевающихся мужиков, — Настя-голубушка с маленькой головкой, которую словно хочет спрятать и не может, поднимает мокрые газеты и тихо говорит: «Не матюгайтесь Христа ради, сорите лучше, не матюгайтесь только при мне».

Был случай: однажды в четверг в эти престижные бани пришли офицеры, обмывали медаль, напились, как свиньи, и почему-то стали ругать Пушкина, поэта. Они называли его жалким писакой и царским лакеем. И тогда глухонемой, похожий на Настю (он ведь умел читать по губам), вдруг завизжал и рванулся. Он бросился на распаренные морды, он пытался хватать их за рты. Голые, они стали его бить. Было скользко. Не ворвись глухонемые, его бы убили. Но они задавили офицеров. Они заставили их замолчать. А потом глухонемые быстро оделись и унесли окровавленного водолаза. Они что-то мычали, как будто пели, спускаясь по лестнице в гардероб. И тогда Валуй не дал офицерам вызвать милицию, а в ответ на требование книги жалоб, указал на стакан с водкой, в котором блестела голая медаль. Он сказал тогда, Валуй: «Мне-то на работу чихать. А вам?»

Сложены аккуратно немнущиеся брюки. На вешалках — твидовые пиджаки, и сверху на пиджаках осели рубашки, а польские подтяжки спрятаны. Эти люди вышли из своей одежды. «Может быть, для них еще не все потеряно. Вот их одежда, а сами ушли. Виновата, конечно, одежда. Пар их откроет», — думал Валуй. Этот четверг. В закрытых кабинках сидят глухонемые. Машет крыльями вентилятор. Ходит Валуй и смотрит, как бы что не украли. Он здесь сейчас не один. Там, за закрытыми дверцами, мычат, он не видит этих знаков — кулачок, козлик, птичка, клювик... Он слышит только иногда эти звуки, которые и без слов — жизнь. Если им смешно, значит, звук этот — смех, если душит ярость — рев. Как ветер за окном — сам по себе. И хорошо, что ушли в парную другие: «Производственное совещание назначено на завтра», «А ты слышал, как я его срезал, когда он пытался перераспределить ставки?», «Для вас он начальник, а я его знаю с другой стороны: такой жизнелюб, такой жизнелюб! Я вам коротко скажу — много утонченных женщин, изысканное вино», «А ты знаешь, сколько он получает?», «У него сорок человек в отделе, все на него работают».

— Вранье это все! — громко сказал Валуй, оглянулся, жалко, нет никого, тихо, только звуки первобытной жизни из закрытых кабинок и беззвучно вращается вентилятор. Он думает-видит, Валуй: «Ясли и стойла. Так родился Христос. А они — деньги, чины. Но пар должен их переделать. Они выйдут из пара и будут молчать, они увидят желтую стену, удивятся мухам, которые всегда здесь живут, услышат своих мычащих братьев, они не будут ругать и казнить, не будут презирать и насмехаться, не будут надувать друг друга лестью, не будут пить и развратничать. Будут делать добро, строить бани...» Он видит, как делают пар все вместе — глухонемые и те, кто может говорить. Все вместе — ласковые. Обливают стены парилки снаружи холодной водой, подметают и сушат, машут вверх-вниз распятой простыней, поддают потихоньку — кидают подальше, чтоб без шипенья, а с пухом, как снег с большой лопаты, глухо, кто-то сказал: «Легла хорошо». Деревянная лестница кверху, на полок. Тусклая лампочка. Таинство. Поддавать потихоньку. Что это? Дышится как легко. Масло

пихты. «Долго еще?» «Сейчас, ребята, минута, пусть постоит». Все молчат. Слышно, как льется вода из-под крана, а там, впереди, в этой большой темной комнате за дубовой дверью,— освобождение. И распахнулась дубовая дверь, выскочил огромный, потный и красный в фетровой шляпе, «можно» сказал и бухнулся в холодную воду с шумом, как кит,— он сделал для них, они благодарны ему. И вот их блестящие спины; кряхтя, они ползут наверх по деревянным ступенькам. «У-у, насадил». «А дышится, братцы, о-о!» И кто-то мычит и смеется. Вот на пол легли. «Надо дышать, погоди веником»,— одернули неумеху. И входит он, кит, тяжело лезет наверх. «Спасибо, друг, уважил»,— ему говорят. Он отвечает: «Там, наверху, еще много горячего. Сейчас я вам разгребу. Лежите, не поднимайтесь». Он встает во весь рост, отдуваясь, и веником, как лопатой, осторожно разносит, сажает. Все гудят и мычат. Они говорят: «Достало... Проникло... Вот оно». Это пар. Освобождает. Кит разгреб, а теперь говорит им: «Можно, ребята». И вот потихонечку вениками. Поднимаются, начинают махать. Вот шлепают и бьют. Начинают покрикивать. Весело им. Жар их окутывает. Машут, блестят. По животам, по задницам. Все блестит, мельтешит. Эх, ма! В раж вошли раки красные... И вниз по деревянной лестнице в стылую воду побежали, бросились в откровение, в темноту, в омут, в лес, в забытье — кто китом, кто медведем, кто лисом, кто волком, кто соколом. Медленные все, с бессмысленными глазами замерли в холодной воде...

Он видит, Валуй, он застыл под вентилятором. Желтая стена и фанерованные коричневые кабинки. Этот четверг.

— Сейчас я вам сделаю,— по-цыплячьи засмеялся дядя Боря.— Сам сделаю, сам. А что за совещание, на уровне, надеюсь?

— Да.

Голые, они стояли в парной, внизу, не поднимаясь на полок. Кто-то скрестил руки на груди, кто-то держал за спиной. Они разглядывали дядю Борю. Они одобрительно посмеивались.

— Вот и пиво для вас достал, а его ведь, как известно, нигде сейчас нету,— сказал дядя Боря, поднимая пену в тазике.

Он повернул к ним лицо: маслянистые, словно выдавленные на поверхность лица, глаза. Смотрит, не моргая, смеется. Говорит им совсем не глазами, но смотрит в глаза. Он знает — сильный тот, кто о с т а в л я е т глаза.

— А я вот тоже бывший начальник. Можно сказать, доцент вуза. Я и академику Урину (знаете такого?) в свое время докторскую помогал делать. Они и сейчас, когда приходят ко мне, мои друзья академики, советуются со мной. Я им помогаю. Я...

Они одобрительно посмеиваются, голые, внизу. Хороший такой, этот дядя Боря. Его ведь не просили, сам взялся сделать. Как услышал, выходя из мойной, про совещание на высшем уровне, так и взялся помочь с паром. Они одобрительно поддакивают.

— А меня везде зовут...

— Дядя Боря, а ты в Кремлевских делал? — крикнул вдруг парень какой-то сверху.

— А как же, делал, конечно. Только я и могу там хорошо сделать, потому как фиговенькая там у них парная, доложу я вам. В салоне хорошо, конечно, бильярдная, цветной телевизор, буфет, а вот в парилке плохо из-за плиты мраморной.

— Врешь ты все, дядя Боря, там тоже не дураки в парилке мрамор стлать! — крикнул парень сверху и загоготал.— Фигачь давай пиво, коли принес, а то холодно. Не тяни.

Дядя Боря доливает горячей в пиво, он говорит голым, стоящим внизу:

— А вы его не слушайте, подымайтеся, подымайтеся.

Они поднимаются осторожно по скользким ступенькам, пригибаются, морщась. Только один остался внизу, чтобы тихо спросить дядю Борю:

— Скажите, дядя Боря, а что это за странные звуки там, в раздевалке?

Дядя Боря близко подносит глаза, теперь это обычные людские глаза:

— А это глухонемые. Когда их выгонят только, тьфу!

— А что они делают здесь? — доверительно спрашивает один.

— А черт их носит! Делают делишки какие-то. Идите, идите наверх. А потом ко мне загляните — я вас потру.

Вот дядя Боря им крикнул: «Готово!» Парень пронзительно свистнул. Делегаты переглянулись. Вот дядя Боря — седоватый старик — молодецки подпрыгнул, с тазиком разбежался и — жжах! Облако белого пара. Они наверху пригнулись. А потом захлопали в ладоши:

— Ай да дядя Боря, ай да молодец!

— Парьтесь на здоровье, про дядю Борю не забывайте,— сказал мойщик и вышел.

Вот что было на самом деле, а Валуй — ведь он сумасшедший.

А потом они одевались. Свежая майка дразнит чистое тело. Свежие приятны носки и трусы. И кто-то отражался в своем глянцевом колене, не замечая, конечно. Делегатам было легко. В частной обстановке они познакомились ближе. Они даже шутили немного над кем-то одним, кого, как бывает, вдруг выбирают мишенью для шуток. «Товарищ Евсеев, не забудьте надеть трусы». Они одевались в обратном порядке, как это принято, надевая сначала то, что снималось последним. Вот и настал черед шелестящих рубашек, а за ним — польских подтяжек, однотонных в крапинку галстуков, скромных янтарных запонок и дорогих твидовых пиджаков. И чем ближе к самой верхней, официальной одежде, тем громче и увереннее разговаривали делегаты. Обсуждали события дня и что предстоит им назавтра. Заглянул дядя Боря, он улыбался, снова масляные, точно лежащие поверх лица глаза. Что-то ему незаметно положили в ладонь. Он исчез за дверцами. Снова одни. Они разговаривают все громче и громче. Уже оделись все, нетерпеливо смотрят на одного. Тот копошится с портфелем, краснеет, что долго. Вот открыл и достал. «Ну ты даешь»,— сказали они (ведь нельзя же!) и быстро разлили армянский. Кто-то шепотом в шутку сказал просто так: «Слабые спиваются, а сильные пьют». А другой вдруг откликнулся в голос: «А ведь действительно так. У нас вот на комбинате главный инженер — талантливый мужик, мог бы и директором стать, но свела вот, проклятая, сейчас лечится. Жена у него двойню родила, одна девочка нормальная, а другая — глухонемая. Отчего, спрашивается?» Заговорили и все. Всем рассказать захотелось что-то свое. Разлили еще (Валуй видел — молчал). Говорили все громче и откровеннее, и под конец еще и про женские прелести — кто что попробовал. Стали друзьями почти, обменивались адресами. Кто-то сморкался в платок. Достали вторую. Все благодарно взглянули, ведь знали: именно так завязываются крепкие деловые связи, и тому, кто это принес, потом это зачтется, не сразу, конечно, повысят его, но, безусловно, это как-то отметят. Но когда разливали вторую, возникла неловкость. Так бывает вдруг иногда. Неприязнь какая-то, все смолкают. Словно пузырь в разговоре. Полость пустоты растет и растет, и никто ничего не может поделать. И вдруг эти странные звуки. Их услышали все, но возникший пузырь пустоты не давал говорить. Все хотели что-то сказать про эти странные звуки, которые доносились из соседних кабинок, кабинок с закрытыми дверцами.

Это была какая-то странная песня. Какая-то очень знакомая песня, которую часто передают по радио, по телевидению. Но как-то странно ее пели. Нет, не пели ее, а мычали. Задушевно, от сердца, но как-то нелепо. Больно это было слышать и неприятно, даже страшно, пожалуй. Как будто издевается кто-то над вами. Кто же это? Кто? Кто?? Делегаты выглянули из-за дверцы. Никого, ничего. Баня уже закрывалась. Делегатов и так пустили не просто. Ничего, пусто, только эти кабинки с закрытыми дверцами и ходит взад-вперед этот чертов мухомор, еще вращается под потолком лопастый вентилятор.

— А, это глухонемые! — радостно вдруг сказал один.— Они тут тоже поют, как и мы.

— А-а,— сказали делегаты.

Они как-то сразу вдруг успокоились, снова расселись. Ведь все прояснилось. Это просто глухонемые. Армянский взял свое, распустив приятное жжение чуть повыше пупка,— как хорошо сознавать себя здоровым, удачливым и хорошим человеком. Разлили еще и допили, закусывая яблоками с базара. А потом поднялись, оставив мокрые газеты, огрызки, бу-

тылки и что-то еще неприятное, с прожилками, и вышли слегка покрасневшие, отдохнувшие. Перед зеркалом кто-то вынул расческу, продул, причесался — мокрые волосы положил на пробор аккуратно, надежно.

А как же Валуй? Он стоял и смотрел в дверь, через которую они вышли. Их червонец он скомкал и бросил в урну у них на глазах. Они сделали вид, что совсем не заметили этого. Но это, конечно, заметили дядя Боря и гардеробщик.

— Иди, выгоняй своих глухонемых, — сказал Валую дядя Боря, когда делегаты ушли. — Твоя очередь мыть. Я только половики.

Мойщик стал скатывать резиновые дорожки, с каждым оборотом приближаясь к урне, но бывший пожарный опередил дядю Борю. С возгласом: «Сволочи, окурок загасить не могли» — он подхватил урну и скрылся торжественно в туалете. Мойщик зло сплюнул, а Валуй даже и не смотрел. Валуй уже возвращался к кабинкам с закрытыми дверцами, он слушал эту странную песню, которую глухонемые обычно пели перед уходом. Заводил тот, похожий лицом на голубушку-Настю, он единственный был еще раздет, остальные уже оделись. Он размахивал руками, выделяя сильные доли. Он единственный из них — Валуй знал — слышал немного голос и ударения. Еще Валуй знал про него, что он бывший водолаз и глухота поглотила его из-за закупорки слуховой артерии пузырьками азота при спасательных работах на теплоходе «Степан Разин».

— Сволочи, собаки! — выскочил гардеробщик из туалета, но он уже снова артистично морщил лицо, гипнотизируя парадоксами надвигающегося дядю Борю. — Оборотная сторона силы суть диалектика, и потому профилактика пожаров как отрицание отрицания стоит на ступеньку выше пожаротушения. Я, дорогой дядя Боря, я вам скажу...

— Опять спер, гад интеллигентный! — зарычал дядя Боря.

Но поднималась песня без слов. Они мычали и слова проговаривали пальцами — русская ручная дактильная азбука. Валуй слышал песню. Он видел их синхронные движения, как при игре на пальцах в очко, он видел их закинутые лица, открытые рты. Он слышал звуки, которые поднимались из их опрокинутых душ, звуки, которые не слышали они. Тонуло и исчезало в этой песне:

— Скотина ты!

— А ты падла!

Рассыпалось и умирало:

— Мойный...

— ... вали...

— Козел ты...

— ... пожарная!

— ... дам... —

Погружалось, исчезало. Валуй вдруг ощутил боль в ушах. Сжимало голову. Нарастал какой-то шорох и шум. Валуй вздрогнул... Вода уже затопляла подвалы, бойлеры и нижнюю систему подачи, языками бежала она по коридорам, словно разыскивая кого-то, неотвратимо подбиралась к котлу. Вода все прибывала и прибывала, беловатая, совсем не прозрачная. Проплыл разбухший перевернутый труп гардеробщика — оскал свернутого на бок лица, шевелящиеся волосы, реющий чернильный халат; потом табуретки, мыльница, длинная лавка. Вода касалась уже и его, Валуя, но поднимала осторожно, не топя, несла его быстро в шуршащем потоке через открытые двери массажной к окну... Он дернулся, нет, кеды сухие, сухой пол, он стоит на твердом полу.

Валуй стоял в дверях их кабинки, они смотрели теперь на него. Водолаз, похожий на Настю, плакал. Он словно молился движениями своих пальцев. Он был уже наполовину одет, его одевали. Слезы текли по его неподвижному лицу. Он пел, не двигая ртом (да ведь это и не нужно было ему). Пел он горлом, быстро выдыхая звуки, как будто это длинный нервущийся пузырь, изогнутый, льющийся. Валуй стоял, упершись руками в косяк. Казалось, его лицо словно бы вылезает из норы. Нечеловеческих усилий стоило ему удерживать в себе корчу слез. Кто-то из глухонемых благодарно похлопал его по ноге.

Они пели:

— Мм-м уар-уар мм-м мм-м ы-ых.
Мм-м уар-уар мм-м.
Мм-м уар-уар мм-м мм-м ы-ых...

Андрей ВОРОНЦОВ

Формула счастья, или Возмездие

Сырым осенним днем прапорщик Василий Комаров, находящийся в отпуске по ранению, шел по горбатой выщербленной дороге из Ялты в Кучук-Кой. Слева, словно обрываясь из-под его ног, резко уходили вниз разномастные кровли, в просветах между которыми недружелюбно поблескивало алюминиевое море, справа того же цвета небо подпирала отвесная гора, образующая как бы стену дороги. Комаров инстинктивно держался правой стороны — к горам он относился с опаской. В них его и ранили повстанцы. Воевать с партизанами тяжкое дело: в каждом мирном жителе мерещится бандит. Излишняя доверчивость, впрочем, кончалась плохо. Правда, некоторые сослуживцы Комарова находили в этих горных экспедициях своеобразный спорт и развлечение. Его ротный командир, например, любил, проходя через какой-нибудь аул или селение, тайком бросить в колодец гранату. И затыкал уши, улыбаясь детской улыбкой. Комаров, конечно, уши заткнуть никогда не успевал и каждый раз испытывал такое ощущение, словно его ударили по затылку прикладом. А что испытывали в своих глинобитных жилищах правоверные мусульмане с домочадцами, один их аллах знает.

Туман сгущался. Внизу наконец Комаров увидел дом, цель своего путешествия. Здесь когда-то жил один писатель. Комаров читал его книгу в симферопольском госпитале и, пожалуй, первый раз в жизни заинтересованно. Когда он учился в университете, они, молодежь, относились к творчеству этого писателя несколько скептически: устарел, мол. Но в госпитале Комаров убедился, что его рассказы и повести обладают бесценным качеством старой доброй прозы: помогают, когда трудно. Не то чтобы они пробуждали надежды или звали неведомо куда, напротив, с тихим мужеством говорили, что жизнь человека — это страдание. Счастье в ней так мимолетно, так редко... Оно гость в этой жизни, а не постоялец. Постоялец — это страдание. Все, все, что происходит с этой страной, — тоже страдание. Огромный театр, а в нем бесконечная драма. Вот-вот, казалось бы, наступит очищение, катарсис. Шли годы, не наступало.

Комаров смотрел сверху на окутанный туманом белый двухэтажный домик. Неясно, как в полусне, вспоминалось: «...поднимался густой туман, белый как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни... казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть... им примерещилось на минуту, что в этом громадном таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то... им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо...»

— Все-таки надо, — повторил вслух Комаров. — Бездонная пропасть.

Он закурил папиросу, истратив с десяток отсыревших спичек. В госпитале я прожил лучшие дни своей жизни, подумалось ему. Через две с небольшим недели нужно возвращаться в строй. Комаров не был трусом, но в победу уже не верил. Поздно... Если бы в самом начале или в прошлом году... После ранения он как-то почувствовал, что все происходящее ему безразлично. В госпитале у него появилось время, чтобы поразмышлять над своей жизнью. Все чаще он приходил к выводу, что в том, что творилось вокруг, ей не было места. Быстро смеркалось. Комаров пошел назад.

Когда он вернулся в город, уже совсем стемнело. Дом, в котором он снял комнату, был у самого моря. Окна во втором этаже померанцево светились. Он открыл дверь своим ключом, вошел в переднюю, снял мокрую фуражку, пригладил волосы. Из таинственной глубины зеркала на него посмотрело длинное утомленное лицо с сильно обозначившимися подглазьями. Он недовольно отвел глаза. На лестнице показалась хозяйка. Они поздоровались.

— Будете пить чай? — улыбаясь, спросила она.

— Не откажусь.

Поднялись в гостиную. Комаров отвык от общения с женщинами и смущался, ловя на себе ее взгляд. Анна Лаврентьевна несколько лет назад овдовела, но была еще довольно свежей и милой женщиной. Они сидели друг против друга за круглым столом и пили неведомо где раздобытый хозяйкой английский чай. Анна Лаврентьева спрашивала Комарова про войну, он скупо отвечал, потому что всерьез ничего вспоминать не хотелось, а в шутку было вспомнить нечего. Тогда она поведала ему о покойном муже; он внимательно слушал, но впоследствии обнаружил, что в памяти о ее муже не осталось почти ничего.

Потом замолчали. Тихий ангел пролетел. Чай был допит, следовало, вероятно, откланяться. Но он отчего-то все сидел, считая чаинки на дне чашки. Он немного разговорился, и оставаться одному не хотелось.

— Вы странный человек, Василий Матвеевич, — ласково сказала Анна Лаврентьевна. — Выправка у вас военная, а характер — нет. Военный человек готов ответить на все вопросы жизни, не задумываясь, — правильно, неправильно. А вы как бы всем своим видом говорите: может быть так, а может, этак.

— Что ж, — пожал плечами Комаров, — не буду скрывать, Анна Лаврентьевна, я не знаю ответ ни на один вопрос жизни.

— Так ли? — засмеялась она. — Как же вы живете?

— А вот так и живу. Спросите меня, где я сегодня был и что я буду делать завтра — и вы не получите ответа.

— Ну, в армии-то вы, наверное, знаете, что делать.

— Наверное. Поэтому-то я в армии.

— А страшно убивать людей? — неожиданно спросила она.

Комаров поднял глаза от пустой чашки. Анна Лаврентьевна сидела, удобно откинувшись на спинку стула, округлые колени спокойно лежали под мягкой материей платья.

— Первого человека убить страшно, ежели ты с ним лицом к лицу, — наконец ответил он, растягивая слова, как на экзамене. — Но вообще это не самое страшное на войне. Страшно, когда тебя убивают. — Он поднялся. — Вы знаете, в обществе такой приятной женщины, как вы, как-то не хочется об убийствах. Спасибо за чай.

Комаров спустился к себе, разулся, лег на диван. Он знал, что уснуть долго не удастся. Смежив веки, глядел на проплывающих под ними прозрачных амеб. Густой туман, белый как молоко... в этом громадном таинственном мире... скрывает бездонную пропасть... в числе бесконечного ряда жизней... Его и Анны Лаврентьевны... ее круглых колен... Колени приблизились, и он положил на них голову. В таком точно положении он проснулся три дня спустя вечером. В темноте он видел над собой лицо Анны Лаврентьевны, влажный блеск ее глаз. Она склонилась над ним, мягкие груди коснулись его лица. Мимолетное прикосновение оставило ощущение радости. Так, как будто вспоминаешь о ней... Он прижался небритой щекой к ее животу. Анна Лаврентьевна прерывисто вздохнула. Тикали часы. Море одышливо било в набережную. Сквозь зашторенные окна веером проникал, скользя по полу, направленный свет — прожектор военного корабля, стоящего на рейде.

— Знаешь, — сказала Анна Лаврентьевна, — а ведь с мужем у меня не было ничего этого... ну, ты понимаешь? Я даже тяготилась нашими отношениями. Хотя по-своему и любила его.

— А разве после мужа ты ни с кем не встречалась?

— Встречалась... Да все как-то не так. Как-то просто. Точно по необходимости. Да и кому сейчас до любви?

— А как это — просто? Одинокие постояльцы вроде меня?

Анна Лаврентьевна усмехнулась.

— Да, характер характером, а выправка сказывается. Если нет прямых ответов, то, во всяком случае, есть прямые вопросы.

Комаров поморщился.

— Прости, Аня. Как-то очерствел душой, незаметно. Дело уже не в войне. Просто жизнь стала как бездна в тумане. Это один писатель сказал. И куда ни пойдешь — все вроде бы стоишь на краю пропасти. Назад пути нет, а впереди туман, бездна.

— Зачем ты так? Мир не бездна, в нем люди живут. И у тебя, наверное, есть кто-то, родные, близкие... любимая.

— Никого у меня нет. Я уже и забыл, когда с людьми по-человечески разговаривал, ну вот как теперь с тобой.

— Ну и говори, Васенька, говори.

Он засмеялся, провел пальцем по ее ключице.

— А разве тебе интересно?

Она не ответила, поцеловала его в глаза. Он приподнялся, сел рядом, обнял ее за плечи. Прожектор на мгновение осветил их, загорелые плечи, блестящие лодыжки Анны Лаврентьевны и бледную грудь Комарова.

Назавтра выдался прекрасный, солнечный день. Туман испарился, воздух подсох и остекленел. Южный ветерок промыл его. Море из алюминиевого сделалось сиреневым, теплым на вид. Оно, может быть, и вправду было теплым: по нему прыгали, как детские мячи, головы купальщиков. Одуряюще пахли кипарисы. Анна Лаврентьевна и Комаров шли по набережной. Комаров кормил чаек, бросая им куски булки.

— Отвратительные птицы, — говорил он, щурясь на солнце. — Раньше, когда я не видел их, то, как и многие, полагал, что в них есть что-то поэтическое. Ничего подобного. Во всяком случае, вблизи. «Чайка» у Чехова — страшное название. Континентальному читателю это не понять.

— Вот именно, — улыбнулась Анна Лаврентьевна. — Красивы ли чайки, знаем только мы, южане.

— Вот как? Еще немного, и ты убедишь меня, что эта подсиненная лужа — Понт Эвксинский — тоже красива.

— Ты шутишь? Я никогда не поверю, что кому-то может не нравиться Черное море.

— Нравится, нравится! Только для северянина немного конфетно. Прямые линии Балтики, адмиралтейская игла, шлем Исаакия, ростральные колонны — вот наша красота. Дух Петра Великого. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Военный корабль так же уместен на Балтике, как пресс-папье на письменном столе. А здесь, посмотри, что это: задник декорации в оперетте? Уж балтийцы никогда бы не дали утопить свой флот.

— Да, только северный ветер немного пахнет смертью.

Море искрилось лучами, как будто в нем плавали зеркала. Воздух подернулся ленточками шашлычного дыма. Из гостиницы «Россия» высыпали на мол по-летнему одетые мужчины и женщины. Были даже иностранцы с лейками. Комаров и сам чувствовал себя иностранцем. Казалось, с того момента, когда он стоял над плавающим в тумане домом писателя, прошло лет семьдесят. Неужели где-то есть война? Зачем?

В открытом кафе на набережной они заказали вина. Комаров пил много, хотел подольше ощущать себя не слишком обремененным заботами путешественником. Анна Лаврентьевна курила, отставив блестящий локоть. Была она сегодня удивительно хороша. Подошел уличный фотограф, предложил снимок на память. Анна Лаврентьевна отрицательно покачала головой.

— Отчего же ты не хочешь, Аня? — удивился Комаров. — Представляешь, я уеду служить и у меня, как и у других офицеров, будет в бумажнике фотография, которую я могу показать кому-нибудь. Любимая женщина. Наступит замирение, обязательно поеду к ней.

— Я все не пойму, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно. Вообще-то фотографироваться на память — дурная примета.

— Да полно, Аня! Я серьезно. Давай-ка я подсяду к тебе. Снимайте, маэстро. Прямо за столиком. На фоне пальмы. Привет из солнечного Крыма.

Анна Лаврентьевна пожала плечами, отпила вина. Маэстро установил треногу, сунул голову в свой мешок, навел на них дуло объектива.

— Напоминает пулемет,— острил Комаров.— Сейчас оттуда вылетит очередь.

Маэстро попросил Комарова придвинуться ближе к Анне Лаврентьевне, положить руку на спинку ее стула и надеть фуражку.

— А это зачем?

— Так мужественней. Вы солдат. А ваша дама — прекрасная слабая женщина. Превосходный контраст.

— Действительно,— согласился Комаров и надел фуражку.

Кончив свое дело, маэстро осведомился, что им удобнее, получить карточки по почте или самим зайти за ними в ателье, что расположено здесь неподалеку.

— Сами зайдем,— сказала Анна Лаврентьевна.— Спасибо.

Фотограф удалился.

— Аня, ты хмуришься?— спросил Комаров.— Ты чем-то недовольна? Это мои дурацкие шутки?

Анна Лаврентьевна покачала головой. Солнце горело на белой поверхности стола, подсвечивало снизу смуглую руку Анны Лаврентьевны, и она стала вдруг прозрачной, как на рентгеновском снимке, переплетенной в глубине сетью тоненьких голубых жилок. Глаза ее блуждали далеко.

— Скажи,— спросила она, по-прежнему не глядя на Комарова,— кто-нибудь знает, что ты здесь... у меня?

— Нет. Предписание у меня до Алушты. Там я поначалу остановился. Потом поехал сюда, посмотреть. Здесь мне показалось лучше, решил остаться.

— Значит, твои вещи в Алуште?

— Какие у меня вещи? Укладка, с которой я приехал,— вот и все мои вещи.

— А у кого ты узнал, что у меня можно остановиться?

— Ни у кого. Я погулял по городу и постучался в первую попавшуюся дверь. А почему ты спрашиваешь?

Она не ответила. Лицо ее показалось ему вдруг усталым. В городском саду заиграл оркестр. Набережная постепенно пустела. Комаров допил вино.

— Вася,— сказала наконец Анна Лаврентьевна. Теперь она смотрела ему прямо в глаза.— Ты бы мог... не возвращаться в свою часть?

Комаров вздрогнул. Некоторое время назад, шутя о фотографии в бумажнике, он поймал себя на мысли, что думает о войне как о чем-то таком, что уже не имеет к нему никакого отношения.

— Что ты, Аня?— проговорил он, сам уже не глядя ей в глаза.— А присяга?

— Ты веришь еще в эти слова: долг, присяга? — медленно спросила она.— Долг перед кем? Кто повел людей на эту бойню? Скоро все может измениться и твой уход будет значить не то, что значит сейчас.

— Что же он будет значить?

— То, что война кончилась и надо начинать новую жизнь.

— А ты убеждена, что она скоро кончится?

— Ты говорил, что скоро.

— Хорошо, допустим, я дезертировал. И что же мне дальше делать?

— Ничего. Первое время поживешь у меня в задней комнате, не выходя без нужды на улицу. Переоденешься в штатское. Сейчас многие так живут. А дальше все будет зависеть от того, как сложится политическая ситуация. Поговаривают о мирных переговорах. Главное — решиться, поверь. А выход обязательно найдется.

— Как просто!— усмехнулся Комаров.— Бог с ней, с политической ситуацией. Как мне людям в глаза потом смотреть?

— Что тебе люди? Сейчас каждый за себя. Я вот увидела тебя в первый раз — меня даже в сердце что-то толкнуло. Такой ты был одинокий. Разве ты был кому-нибудь нужен, кроме меня?

— Вряд ли.

— Ну вот, зачем же тебе беспокоиться о других? У них своя жизнь, свои представления о долге. Ты свой выполнял, был близок к смерти. Тебя могло уже не быть. Война на исходе. Если ты счастлив сейчас со мной, то там тебя обязательно убьют. Таков подлый закон жизни.

— Странный у нас разговор,— сказал Комаров.— Здесь ходит много военных, есть фронтовики. Кто-то из них тоже был близок к смерти, и не раз. Неудобно, если они нас услышат.

Они замолчали. Скулы у Анны Лаврентьевны зарозовелись. Комаров прислушивался к себе и чувствовал некоторое недоумение: тема разговора оставила его равнодушным. На глазах Анны Лаврентьевны показались слезы. Комаров пожал ее локоть.

— Не обижайся, Аня. Я не могу тебе сейчас ответить. Может быть... потом.

Он подозвал официанта, расплатился. Давешняя легкость исчезла. Море раздражало. Они бесцельно пошли вверх по улице, не глядя друг на друга. Через некоторое время впереди показалась нарядная церковка, стилизованная под суздальский период. Говорили, что ее посещали когда-то члены императорской фамилии.

— Зайдем?— предложила вдруг Анна Лаврентьевна.

Комаров безразлично кивнул, хотя что-то внутри него противилось этому, какая-то тяжесть на сердце. Они вошли. В маленькой церкви было не протолкнуться. Служили вечерню. Горело паникадило, жарко потрескивали свечи. Дышать было нечем. Анна Лаврентьевна исчезла. Комаров поискал ее глазами и нашел у какого-то образа, со свечкой в руке. Он чувствовал себя все хуже. В сознании, будто титры на кинопленке, проплывали обрывки фраз, неведомо каким образом отпечатавшиеся в памяти: «...Из кадила струился синеватый дымок... купался в широком косом луче, пересекающем мрачную, безжизненную пустоту церкви... И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания... Послышался тревожный детский плач: «Милая мама, унеси меня отсюда, касатка!»... Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну... В числе бесконечного ряда жизней...» Огоньки свечей и лампад поплыли куда-то в сторону, вытянулись тонкими лучами. Комаров ощущал, что глаза его влажны, но это были словно чужие глаза. «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во ве-ки веко-ов...» Анна Лаврентьевна появилась за спиной, тронула его за локоть. Они вышли из храма.

В назначенный срок Комаров не вернулся на сборный пункт. Он переоделся в штатское, отпустил бороду, жил в комнатке типа чулана, дверь которой была перегорожена высоким платяным шкафом с раздвижной задней стенкой из фанеры. Откуда у Анны Лаврентьевны такой шкаф, Комаров не спрашивал. Возможно, он был не первым дезертиром или беглецом, нашедшим у нее приют. Дни тянулись однообразные, длинные. Однако Комаров не скучал. К нему пришел великий покой, оцепенение. Он входил в свою келью через дверцу шкафа, отодвигая в сторону плечики с платьями Анны Лаврентьевны и пиджаками ее покойного мужа, словно герой авантюрного романа, которого, правда, не ждали ни потайные ящички с сокровищами, ни алхимические колбы. Он ложился на узкую кровать, глядел в полудреме, как текла его прошлая жизнь, неспешная, мутная река. Анна Лаврентьевна уходила днем на службу в управление пароходства, приносила новости. По ее словам, ничего нового с тех пор, как они сожгли его форму в печке, снаружи не происходило. Менялись лишь слухи. Ночью они лежали на кровати Анны Лаврентьевны и неторопливо, долго продолжали начатое тем туманным октябрьским вечером. Анна Лаврентьевна была уже беременна. Она говорила, что счастлива, потому что ей не удавалось понести за все годы жизни с мужем. Комаров не знал, счастлив ли он. Он испытал нечто похожее на счастье тогда, в первый раз, когда лежал головой на коленях у Анны Лаврентьевны и ее груди мягко коснулись его лица. Теперь же он ощущал лишь великий покой. Великим покоем была и Анна Лаврентьевна, ее рассудительность, теплые плечи, тяжелые мягкие груди, нежный живот, лоно, сильные руки. Комаров дремал.

Он очнулся лишь спустя полтора месяца со дня их знакомства. Анна Лаврентьевна была как всегда на службе. Комаров вышел подышать чистым воздухом, купить папирос. Обычно прежде чем выбраться из дому,

он выжидал у окна момент, когда улица опустеет. Но сейчас не пришлось ждать — ни одного прохожего не увидел он. Комаров скользил по улице, как тень, прижимаясь к стенам домов. Со стороны пристани доносился какой-то шум. Вдруг из-за угла на Комарова вышел человек, очень похожий на него самого: шляпа, надвинутая на глаза, черное пальто, клочковатая борода. Увидев Комарова, он остановился и взял его за рукав.

— Вы слышали? — свистящим шепотом сказал он. — Они уже в Крыму, прорвали фронт.

В голове у Комарова раздался дребезжащий звон, точно в треснувшем колоколе. Он очнулся. Улица показалась ему бесконечной.

— Как? — пролепетал он. — А как же укрепления?

— Укрепления! — горько усмехнулся незнакомец. — Они прошли гнилым морем. Говорят, вот-вот возьмут Джанкой или уже взяли. Спешите купить билет на пароход.

Незнакомец исчез, будто растворился в воздухе, а Комаров все стоял на углу под колючим северо-восточным ветром. Прошли гнилым морем? Что это? Значит, за то время, что он валялся за дверцей шкафа, сдали Северную Таврию? Гнилым морем, в этакую-то пору?.. Комаров спросил себя, смог ли бы он приказать солдатам своего взвода лезть в студеный Сиваш. Он слышал, что во времена Ледяного похода офицерские части по горло в воде форсировали вздувшуюся Кубань у станицы Новодмитровской и быструю речку Белую у станицы Филипповской под шквальным огнем красных орудий и пулеметов. Но тогда иного выхода не было: значительно превосходившие части красных теснили добровольцев справа и слева, не пуская к Екатеринодару, загоняли в кольцо. Но кто мог окружить у Перекопа красных? Что заставило краскомов отдать своим солдатам приказ повторить Ледяной поход? Комаров вспомнил портрет Троцкого в захваченной штабной теплушке красных: нечеловеческие глаза за стеклышками пенсне, стоящая торчком бородка. И еще плакат «А ты записался добровольцем?», где в виде красноармейца, тыкающего в тебя корявым перстом, тоже, по-видимому, был изображен Троцкий. Перст смахивал на винтовочное дуло. А ты?.. А ты забрался в постель Анны Лаврентьевны.

Комаров поплелся по бесконечной улице. «Красуйся, град Петров, и стой... неколебимо, как Россия»... Ясный погожий день стоял перед глазами, войсковой смотр в Джанкое. Блестели на солнце кончики штыков, солдаты выравнивали строй. «По-олк, слушай! — летело по плацу. — На крраул!» Острыми углами взметнулись локти, слитно клацнули о начищенные пряжки винтовочные затворы. С правого фланга на левый вдоль фронта медленным шагом ехал на породистом жеребце Слащев. Сияли его широкие золотые генеральские погоны, в складках ослепительно белого френча таилась прохлада. Бился по ветру российский флаг, пели высокие медные трубы. «Здорово, ребята!» «Здрав-ав-ав ваше-ство!» — закричала соседняя рота. В числе бесконечного ряда жизней. Теперь уже не бесконечного. И не жизней. Ряда мертвых русских землепашцев, лежащих в поганых солончаках. Его братьев, что стояли с ним в Джанкое плечом к плечу. «Рады стараться, ваше-ство!» Нужно ехать на фронт. На фронт? А где он, фронт? В е з д е. Везде, где найдет тебя разъяренная полевая жандармерия и поставит к стенке. Или красные особисты. Но кому от этого будет легче? Ане? Неродившемуся ребенку? Мертвым землепашцам? «...Так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении»...

Комаров стоял перед нарядной царской церковкой. «Ты бы мог... не возвращаться в свою часть?» «А присяга?» Комаров хрипло засмеялся и пошел назад. Спрятался, укрылся от лавины попоной. «Милая мама, унеси меня отсюда, касатка!» Милая Аня... «Струйки дыма, похожие на кудри ребенка... И столько грехов уже наворочено в прошлом... Но он просил о прощении и даже всхлипнул громко...» Не скрываясь, он вошел в дом. В передней его встретила Анна Лаврентьевна.

— Собирайся, Аня, — сказал он. — Красные прорвали фронт.

Ресницы Анны Лаврентьевны дрогнули. Она прислонилась к перилам лестницы.

— Вот и прекрасно. Зачем же собираться?

— Как это — зачем? Ты хочешь остаться?

— А почему нет?

Комаров засмеялся.

— Аня, забудь семнадцатый год. Здесь у вас была оперетка. Советы, комитеты, эсеры, энесы. Крымских татар в Учредилку выбирали. Они прихлопнули этот театр. Началась кровавая драма. Называется «Диктатура пролетариата». Нас уничтожают как класс, не пулей, так измором. Мой отец умер от голода, мать с сестрой от сыпняка. А сколько еще таких!

— Я знаю. Здесь ведь много беженцев оттуда. И тем не менее это шанс.

— Какой шанс?

— Выжить. Допустим, мы пойдем сейчас на пристань, купим билеты. Я, наверное, смогу это устроить. Но тебя могут узнать еще на пароходе. Не на пароходе, так где-нибудь в Константинополе или Варне. Но обязательно рано или поздно узнают. Ты хочешь уехать, чтобы увезти туда эту жизнь с оглядкой? Я специально не рассказывала тебе о положении на фронте. Неужели ты не понимаешь, что красные — наша единственная надежда? Отсюда уедут все, кто знал, что ты белый офицер. Ты станешь студентом, скрывавшимся от врангелевской мобилизации. У тебя прогрессивные убеждения. Ты можешь служить в каком-нибудь их культпросвете или наркомпросе. И получать паек. Они тоже не могут без интеллигенции. Их вожди сами интеллигенты, понимают это. Их цель не уничтожить нас, а заставить служить себе. Так отчего бы не послужить? Разве ты не мечтал никогда служить народу?

— Аня, очнись! Какому народу? В народ стреляют за то, что он, подлец, завел от праздности привычку трескать! Не народу, а красным феодалам! Ты что, Чернышевского на ночь начиталась? Не будет тебе алюминиевых дворцов и даже дома этого не будет! Здесь разместят штаб этого самого культпросвета! А тебя босую пустят на все четыре стороны. Вслед за недоучившимся студентом сомнительно прогрессивных убеждений.

— Выгнать не выгонят, а поселить каких-нибудь комиссаров могут, — рассудительно сказала Анна Лаврентьевна. — Да если и выгонят, беда небольшая. В Ялте мы не пропадем, я здесь знаю многих хороших людей. Но главное, Вася, мы будем вместе. И ребеночек, понимаешь?

Комаров смотрел на Анну Лаврентьевну, как на диковинную рыбку сквозь аквариум. Она раскраснелась, прядки выбились из высокой прически. Только рука, сжимающая перила, была белая-белая.

— Аня, нам с ними жизни не будет, знай. Я не пророк, я это чувствую. Террор не остановишь высочайшим декретом. Вот они одну проблему решили расстрелом, другую, третью. Это развращает. Ведь ничего не надо, только патронов вдосталь. И захочешь без расстрелов, да не сможешь. Кончат резать контру, начнут своих Мирабо и Дантонов. А где лес рубят, там щепки летят. Щепки — это мы.

— Не знаю... — Анна Лаврентьевна отвернулась. — Уезжай, если хочешь. Мне незачем, все равно я там останусь одна. Уж лучше здесь.

Комаров не ответил. Что он мог ответить? Глаза будущего были пусты. Он стоял на пороге и мял шляпу в руках. Назад пути нет, а впереди туман, бездна. Из непритворенной двери сквозило ветром. «Культпросвет, культпросвет», — бессмысленно повторял он про себя. Анна Лаврентьевна не двигалась. Плечи ее поникли.

— Ладно, попробуем, — сказал Комаров. — Что нам еще остается? И он прошел мимо нее в дальнюю комнату, открыл дверцу шкафа.

Через несколько дней в кабинете недавно назначенного начальником ялтинской ЧК Буревого заверещал зуммер. Он взял тяжелую трубку. Звонили из караулки.

— Товарыш Боровой? Тут вас пиндос какой-то шукае. Бает, дюже важное дело е.

— Какой пиндос? — не понял Буревой. — Что ты мелешь, дурак?

— Та грек. Греков так у нас кличуть.

— Вот и докладывай по форме. Ладно, пусти.

Через некоторое время, деликатно постучав, в кабинет бочком вошел маленький плотный грек в длинном лапсердаке с траченным молью вытхолевым воротником. Еще от порога начал он кланяться. Буревой насмешливо за ним наблюдал.

— Что ты кланяешься, как Петрушка? — сказал он. — Я тебе не част-

ный пристав. Выкладывай, с чем пришел, или убирайся. Нет у меня времени. Мне здесь надо с контрреволюцией бороться, а не на твой цирк смотреть.

— Так вот, гражданин товарищ начальник, посмотрите, будьте ласковы, сию карточку.— Он протянул Буревому какую-то фотографию. Тот взглянул на нее, потом быстро на грека, потом снова на фотографию. На открытом челе Буревого появилась вертикальная складка.

— Та-ак,— наконец сказал он.— Ты зачем это снимал?

— Я всегда снимаю, гражданин комиссар, когда клиенты просят, ибо имею много деток, которых надо кормить. И господина офицера с мадам Касьяновой снял, еще в октябре, при Врангеле. Только за карточками никто не пришел. А вчера иду по улице и вижу, как этот господин заходит в дом к гражданке Касьяновой. И по сторонам так еще оглядывается. Я его сразу узнал, хотя на нем, извините, ни кокарды, ни погон, как на этой фотокардии, а, напротив, все цивильное да еще борода. Только редкая, все равно узнать можно. Я заинтриговался и встал от дома точно наискосок, чтобы меня из окна не увидели, наблюдаю. Мне это просто — поставил аппарат и стою, будто клиентов жду. Может, думаю, на минуточку зашел господин бывший офицер, по делу какому? Только до ночи, гражданин начальник, из дому никто не выходил. А дальше я уже не стал ждать, замерз. А потом решил на всякий случай принести чрезвычайной канцелярии карточки и негатив.

— Та-ак,— двигал скульптурными желваками Буревой.— Что ж, Панафидин, послужил мировому пролетариату. Избавляешься от мелкобуржуазных иллюзий. Молодец. Давай сюда свой пропуск.

— Я, гражданин начальник, хотел бы еще насчет ателье узнать...

— Ладно,— махнул рукой Буревой,— сымай пока. До освоения пролетариатом фотографической техники в полном объеме. А там мы вас к ногтю, мелких собственников.

— Хорошо бы бумажечку какую, гражданин комиссар, а то ведь без бумажки как?

— Вот привязался!— Буревой взял лист бумаги, черкнул на нем несколько слов, расписался и бросил через стол Панафидину.— Зайди в канцелярию и поставь печать. Давай пропуск. Никому ни слова, понял?

— Могила, гражданин начальник, не извольте беспокоиться. Премного, премного вам благодарен!— Грек пятился к двери с бумажкой, кланяясь, как и давеча, точно его появление показали киноаппаратом и теперь откручивали пленку назад.

Проводив его мрачным взглядом, Буревой взялся за рукоятку телефона, сказал в трубку:

— Осадчего ко мне!— и стал вертеть козью ножку, не спуская глаз со снимка.

Вошел щуплый Осадчий.

— С кем сейчас работает Касьянова?— осведомился начальник ЧК.

— Да вроде пока ни с кем. А что?

— Вот и я думаю, что ни с кем. Наблюдение за ее домом. Хвост за всеми, кто вышел. К вечеру готовь оперативную группу. Понял?

— Понял. А...

— Ладно, иди.

Осадчий вышел.

Буревой откинулся на спинку стула. Самокрутка погасла, но он забыл о ней.

— Эх, Аня, Анюта...— сквозь зубы сказал он.— В двойные игры играешь? Или полюбился тебе офицерик? Вот мы и поставим вас рядышком к стенке, а комендантский взвод вас сфотографирует. На вечную память.

Он снова взял фотографию. На него посмотрела большеглазая миловидная женщина в легком холстинковом декольтированном платье. Округлое лицо в тени шляпки, точеные смуглые плечи. В обнаженной по локоть полноватой руке дымится длинная папироса. Рядом развалился на стуле безусый офицер с нервным лицом. Лихо заломленный картуз, выгоревший на солнце френч, мятые погоны. В правом углу наискосок бежала кокетливая надпись с завитушками: «Не Забывай Ялту. 1920-й Годъ».

Александр ЯГОДКИН

Как я был писателем

1

Все это началось давно. Мне не было еще и двадцати, когда я написал полдюжины фантастических рассказов. После того как друзья прочитали их, ко мне пришла слава. Но небольшая — в масштабах нашего двора. Мне же хотелось большей известности — пусть не мировой, но чтоб в стране обо мне услышали. И я послал свои рассказы в одну организацию, которая должна была стать посредником между мной и любителями фантастики. Называлась она — Всесоюзная литературная консультация. Я думал, они подыщут подходящий журнал или издательство и напишут: так, мол, и так, в таком-то месте желают напечатать ваши рассказы. Но прошла неделя, потом две, а ответа все не было. Слава моя во дворе постепенно забывалась, да я и сам о ней часто забывал — хватало других дел, не менее интересных.

Однако через пару месяцев с почты пришел корешок. Я не думал, конечно, что они уже прислали гонорар, и, размышляя о том, что же мне прислали, отправился на почту.

Пакет, который я получил, был хорош — фирменный конверт, штампы и все прочее. От Всесоюзной литературной консультации — такому-то. В пакете оказалась рукопись. И письмо о том, что рассказы мои по-своему интересны, но для того, чтобы они стали фантастикой, им не хватает... И перечислено, чего именно не хватает. И для того, чтоб они стали литературой, не хватало тоже многого. В конце Консультант похвалил меня за наблюдательность и посоветовал определиться: писать ли, к примеру, психологическую прозу или упирать на фантастику, но тогда уж уходить в специфические глубины жанра.

Про специфические глубины я не совсем понял, хотя обдумывал это дело с разных сторон. Выбора у меня не оставалось, и за месяц я написал несколько штук психологической прозы. Там были одинокие старики, мудрые и несчастные, было про любовь, про убийство и еще что-то такое, не помню точно, но вполне психологическое.

Когда пришло следующее письмо из Консультации, стало ясно, что между нами завязывается переписка. Мне было приятно переписываться с такой солидной организацией. Никто из моих друзей или знакомых не получал из столицы пакетов с адресом, отпечатанным в типографии, с фирменными бланками и кудрявыми подписями солидных Консультантов.

На этот раз в письме было сказано, что способности у меня, безусловно, есть, но надо обратить серьезное внимание на идею и сюжет. И тогда все будет в порядке.

Я перечитал свои рассказы и сразу увидел, что отношение к идее и сюжету в них просто наплевательское. Такое положение надо было срочно исправлять, и я взялся за дело.

В следующем ответе из Москвы сообщалось, что у меня есть наблюдательность и интересные сюжетные ходы, но отсутствие собственного лица, в смысле писательской манеры, и живого разговорного языка сильно обедняет мои произведения.

Насчет разговорного языка я быстро сделал выводы и, не теряя веры в успех, стал прислушиваться ко всем разговорам вокруг, купил даже диктофон и втихомолку записывал болтовню своих друзей, однако использовать их в рассказе чаще всего не было никакой возможности. Я даже представить себе не мог, как можно показать рассказ с такими оборотами редактору-женщине.

Переписка с Москвой затягивалась, и приходилось только удивляться, что целая организация способна терпеливо и регулярно отвечать одному человеку. Правда, совестью я особенно не мучался: ведь отвечали разные люди. Один бы, пожалуй, не выдержал.

В последнем письме, то ли шестом, то ли седьмом по счету, было

сказано, что рассказам моим присуща наблюдательность, в них есть живой разговорный язык, но для того, чтоб они стали литературой, мне необходимо обратить серьезнейшее внимание на идею и сюжет.

Круг замкнулся. На некоторое время я потерял надежду выбраться из него и даже твердо решил бросить писать. И бросил, тем более что в это время шел чемпионат мира по футболу. А когда он кончился, то через неделю или две я осознал, что если друзья не увидят меня по телевизору и не начнут вспоминать, что знали меня живого, я не смогу потом простить себе этого.

И тогда я решился и пошел по кругу второй раз.

2

Добрые люди подсказали мне, что писателем легче стать, если этому делу подучиться. Учиться можно двумя способами: в Литинституте и в литобъединении. Литинститут, сказали люди, знаний особых не дает, зато дает прекрасную возможность общения с себе подобными. Причем зачастую с лучшими из них, потому что попадают в институт не обязательно дети писателей. Ну и плюс к возможности хорошего общения — хорошие знакомства. После Литинститута жизнь разбрасывает его выпускников по разным постам, и если во многих редакциях и издательствах у тебя друзья студенчества, а сам ты тоже при деле, и вдобавок все вы что-нибудь да пишете — значит, учились не зря. Ну, а если по-хорошему, говорили добрые люди, то бессонная ночь в спорах о литературе, и студенческие гулянки, и спартанская жизнь в московской общаге, да и сама Москва — это здорово.

До Литинститута было далеко — это я понимал и решил пойти в городское литобъединение, квартировавшее в редакции «толстого» журнала. Когда я пришел туда в первый раз, то долго топтался у дверей, пока из-за одной из них не вышел обыкновенный человек и не спросил:

— Вы на семинар?

— Да, мне сказали, что здесь где-то...

— Ну заходите в комнату, садитесь, где понравится.

Семинар удивил меня: сюда мог прийти любой, поучиться немного и стать писателем. Это меня несколько задело. Зачем же так-то? Пусть бы учились те, у которых есть наблюдательность, так сказать, разговорный язык и прочее. Но отступать я не собирался, да и в сумке у меня лежали несколько рассказов, которые хотелось побыстрее пустить в дело.

Занятие мне понравилось. Я уже догадывался, что дворовые друзья, попривыкнув к тому, что я писатель без книг, стали считать меня просто слегка чеканутым на литературе. Здесь же все были такие. Они с жаром обсуждали написанное, и мои два рассказика тоже обсуждали и доказывали что-то друг другу, причем на полном серьезе, будто разговор шел об уже напечатанном. Многие произносили при этом слова, которых я раньше не слышал, но без знания которых, я понял, в литературе делать нечего. Однако после обсуждения мне стало ясно, что публикация моим рассказикам пока не грозит.

И вот я стал ходить на эти семинары и ходил долго. Мне казалось, что я все время нахожусь в одном и том же возрасте, хотя на самом деле за эти годы успел окончить институт, жениться, родить двух детей и сменить два раза место работы.

Сначала я считался новичком на семинарах, потом обыкновенным начинающим, потом подающим надежды, и подавал я надежды долго, но их никто не брал. Появились у меня литературные друзья-приятели и, что греха таить, — недруги.

История, например, с одним литературным чиновником ВВ, очень авторитетным в нашем городе, — черти меня дернули раскритиковать его протеже на областном совещании молодых писателей, которые проводились каждые два года.

А на открытии совещания выступал старейший местный писатель и сказал проникновенную речь о том, что стало слишком много графоманов, и от них надо спасаться, да и самих их надо спасать — хотя бы из простого человеколюбия, а для спасения есть только одно средство: сказать им правду в глаза. А то ведь часто получается так, что мы сами винова-

ты, наговорим пустых комплиментов, обнадежим человека, и он, вместо того чтоб стать хорошим инженером или врачом, становится графоманом, ломает жизнь и себе, и окружающим, до конца жизни ходит по редакциям и издательствам и пишет письма во все инстанции, вплоть до ЦК. Давайте же будем честными, сказал ветеран, ибо эта ложь несет в себе большое зло.

Тот парень, протеже, перед чтением своих рассказов сказал, что он пришел на совещание представителем, так сказать, детской литературы и вообще, как опытный человек, у которого за плечами несколько областных совещаний и даже одно республиканское, он призывает всех нас, молодых, попробовать свои силы в детской литературе. Это не только остродефицитная область, то есть весьма благодарная, сказал он, но и возможность совершенствовать свои способности, и, может быть, кто-то из нас станет настоящим детским писателем.

После этого он прочел свои новые рассказы из второй книжки, которая уже готовилась в издательстве.

Один рассказ я хорошо помню. Обыкновенный мальчик со средними способностями ходит в лес гулять и любоваться природой. И однажды на знакомом дереве видит дятла. И этот дятел долбит, и долбит, и долбит. Потрясенный таким упорством, мальчик в корне пересматривает свое отношение к жизни. Он начинает хорошо учиться и вести себя, воспитывает в себе трудолюбие и вообще все лучшие качества. Родители не могут на него нарадоваться. Но однажды мальчик, придя в лес, обнаруживает жуткую картину убийства дятла. Он испытывает новое потрясение, но в обратном смысле. Перестает слушаться и хорошо учиться. Концовка у рассказа была трагической: мальчик серьезно заболевает. Может быть, даже неизлечимо.

И вот, вдохновленный ветераном, я заявил на обсуждении, что автору надо честно сказать: заниматься литературой ему не стоит. Пусть продолжает спокойно работать в областной газете — вроде бы он неплохой журналист.

Другие семинаристы говорили о том же, а один из нас, орнитолог по профессии, очень негодовал: в рассказе говорилось, что дятлы часто умирают от сотрясения мозга, — орнитолог назвал это издевательством и вспомнил, кстати, первую книжку того же автора и сказал, что представителям издательства, которые присутствуют на совещании, должно быть за нее очень стыдно.

Вот так люди сами наживают себе проблемы.

Ну вот, время, стало быть, шло, и я уже был участником двух областных совещаний, а толку от моего участия не было видно. Рассказы, которые я читал там, иногда одобрялись, и их рекомендовали в наш журнал, но там сидел завотделом прозы, который при встречах говорил мне комплименты, однако рассказы спокойно браковал, так что я смирился с тем, что журнал наш мне не светит, но ходить на семинары не бросал, и это длилось очень долго, так что жена уже начала подозрительно коситься, когда два раза в месяц по четвергам я предупреждал утром, что после работы семинар.

— Да что уж... — говорила она. — Может, ты тогда у нее и ночевать останешься?

— У кого?

— У литературы у своей. Или как там ее зовут?

Но тут, на счастье, подоспела первая публикация. Случилась она в областной газете, а устроил ее руководитель семинара. К рассказу был дан даже небольшой рисунок, и большими буквами были означены мои имя и фамилия.

Я принес домой пять экземпляров газеты, дал по номеру жене и теще, и они были потрясены. Жена обнимала меня, а теща все разглядывала рассказ и бормотала:

— Ты смотри, ты смотри...

А я сидел за столом и перечитывал рассказ будто бы для проверки, но ничего не видел, кроме знакомых слов, и рад был до смерти, и никак не мог поверить, что это мой текст, это я придумал — и тиражом в сто тысяч экземпляров! И какой-нибудь тракторист за двести километров отсюда развернет газету, прочтет и скажет: «Эка завернул!»

И знакомый профессор в институте прочтет, и старая моя учительница, и девчонка, которую я без памяти любил в школе и которая, наверное, все-таки помнит мою фамилию. Он останется в библиотеках, мой рассказ, и в архивах, и я буду лежать в этих архивах еще долго, может, сотни лет. Если, конечно, не истлею.

А когда эйфория немного спала, я снова перечитал рассказ и ужаснулся изменениям в нем. Слова «божество» и «рай» просто выпали из фраз, абзац, в котором упоминалась икона у старухи в деревне, был вычеркнут целиком. И еще там был момент, когда женщина, измученная одиночеством, хочет ребенка и переживает, как сказать хорошему, умному человеку, что она не собирается опутывать его и женить на себе, а просто хочет от него ребенка. Себе одной. В газетном варианте она предлагала умному и хорошему, но почти незнакомому человеку... жениться на ней!

Я понимал, что доказывать что-либо поздно, хотя доказать очень хотелось. И еще хотелось закрепить успех, ведь несмотря на искажения, публикация была успехом.

Через две недели я принес в редакцию новый рассказ, в котором не было ни единого словечка, хоть как-то связанного с религией, и не было ни намека на отступления от нравственных норм, зато был приключенческий сюжет, положительный герой и положительный милиционер, а на них напали бандиты, и в борьбе с ними оба проявляют лучшие качества советского человека.

Когда редактор прочитал рассказ, удовольствие на его лице смешалось с досадой.

— Эх, хороший рассказ,— сказал он, цокая языком,— просто нечего сказать. Жаль, жаль...

— Почему жаль?

— Не пойдет. При социализме в милиционеров не стреляют.

Я подавил скрипы заржавленных голосов у себя внутри и подумал: горите вы огнем с вашими милиционерами. Ничего мне не надо.

3

Да, тогда я в очередной раз решил бросить писать, тем более что никто меня печатать и не собирался. И я сладострастно разорвал все свои рассказы, сложенные в одну не очень толстую стопку; просто изодрал ее на четыре части, и жена не смогла помешать, хоть и хватала за руки. Наивная, она после того рассказа в газете всерьез поверила, что скоро я стану писателем. Может быть, даже великим писателем. Иногда мы с ней импровизировали на эту тему. Как, например, в нашей квартире будет музей. Ходит гид, тычет указкой, объясняет. Площадь музея — двадцать шесть квадратных метров. Вот это общая комната, а вторая, маленькая, разделена на две: в одной из них спал писатель с женой и детьми, в другой — тесть и теща. А где же работала знаменитость? Здесь, скажет гид и откроет дверь ванной, совмещенной с туалетом. Вот здесь, разложив свои причиндалы на стиральной машине, на краю ванны и на бачке с грязным бельем, он и писал и печатал потом свои творенья. Небыстро печатал, двумя пальчиками — тюк! тюк!

И вот, стало быть, я бросил писать и начал жизнь человека с затаенной обидой. И продержался я обиженным месяца два, а потом сел за новый рассказ. Не знаю, почему.

Большая часть рассказов валялась в столе; когда-нибудь, когда стану маэстро, вдохну в них жизнь. А несколько других рассказов тоже были в столе, но не валялись, а лежали, и к ним я часто возвращался и что-нибудь переделывал, добавлял, урезал, менял слова местами. Самый же любимый свой рассказ, под названием «Вурдалаки», я перепечатывал девять раз и, когда взялся однажды пройтись по нему с ручкой, смог вычеркнуть только одно слово. Лучшей правки я просто уже не умел делать.

Про рассказ этот на областном совещании было сказано авторитетным человеком, что он по-своему интересен, но никогда не увидит света — во всяком случае, в нашей области. Я не сильно огорчился, так как привык уже к неудачам и даже, наверное, удивился бы положительному ответу из какого-нибудь журнала. Но ответ такой не приходил и удивляться было нечему, хотя в одних рецензиях меня иногда хвалили за то, за что в других ругали.

Иногда я психовал и после какой-нибудь особенно гадкой рецензии собирался завязать с этим дурацким делом и заняться лучше в свободное время чтением хорошей прозы, чем писанием такой, которая никому не нужна. Но потом, освеженный психозом, правил и перепечатывал свои рассказы, и отправлял бандероли в толстые журналы, и жил в ожидании — а вдруг? Однако рукописи исправно возвращались ни с чем, и постепенно стопка рецензий в моем столе достигла объема хорошей повести — и все про мои рассказы.

Почти во всех журналах в меня верили, а в некоторых даже похвалили злосчастных «Вурдалаков», но, как написал один рецензент, «несмотря на несомненные литературные достоинства, напечатать его в нашем журнале не представляется возможным».

Бог с ними, с возможностями толстых журналов, мне уже хватало и просто их одобрения.

«Вурдалаков» похвалили еще в одном месте — в журнале для начинающих писателей. Им понравился и сюжет, и язык, но, увы, напечатать рассказ у них нельзя было потому, что я не вскрыл социальных корней такого опасного зла, как пьянство, а без вскрытия, понятно, незачем и огород городить. Вскрытие же и не могло состояться по одной простой причине: при социализме социальных корней у пьянства нет.

Из жизни многих писателей я знал, что они поначалу бедствовали и никто не хотел их печатать, а потом находился человек, известная личность и обычно тоже писатель, который по счастливой случайности знакомился с бедолагой, читал его творения и приходил в восторг, а потом выводил его в люди. Но у меня никак не складывалась такая счастливая случайность, и знаменитости не торопились со мной знакомиться; к тому же знаменитости живут, как правило, в Москве, и я не мог представить себе, что может заставить их сесть в поезд и ехать в наш город знакомиться со мной, даже не членом Союза писателей.

И все же они сели в поезд и приехали, и называлось это — выездной секретариат Союза писателей. Какие люди! Какие имена! Вот он, мой случай! Знакомые по семинару тоже приободрились, как же: секретариат посвящен проблемам молодой литературы. Это ведь про нас. Может, удастся напечататься под шумок.

Секретариат был недолгим. Торжественное заседание, потом что-то еще, тоже торжественное, и знаменитости говорили речи, в которых призывали нас, молодых, ко многим вещам, но, честно сказать, я не совсем понял, к каким именно.

Рукописей никто читать не собирался, хотя припасено их было немало, а многие семинаристы даже перепечатали все по-новой для такого случая.

Завершала работу секретариата телепередача, которая посвящалась опять же молодым писателям. Вел передачу знаменитый поэт. Я его уважал, так как незадолго до этого прочел в одном журнале его стихотворение, и оно мне понравилось. А потом еще наша областная газета дала спецвыпуск клуба молодых литераторов, и там рассказывалось о выездном секретариате и о приехавших знаменитостях, один из которых был даже родом из-под нашего города. Оставшиеся три четверти полосы газета отвела под творчество гостей — как показательный урок для молодых литераторов.

Телепередача получилась интересной. Разговор складывался раскованный, легко скользил от одного предмета к другому, но в основном речь шла о том, к чему должен стремиться молодой писатель и с кого брать пример. Пример же можно было брать с любого из гостей, и каждый из них подробно рассказывал о достоинствах присутствующих, об их нелегком труде и удивительных способностях, а самым достойным был, безусловно, НН, крупный литературный чиновник. Кто бы из гостей и о ком ни говорил, он неизменно приходил к величию и гению НН. Знаменитый поэт в конце одного из монологов, видно, совсем потеряв голову от восторга, вскрикнул:

— Вот! Вот она, сияющая вершина, к подножию которой должен припасть каждый из нас!

НН же, глубоко задумавшись о проблемах молодой литературы, согласно кивал, сохраняя на лице достоинство и ум.

— Возьмем, к примеру, басни, — запальчиво с кем-то дискутируя, говорил тот, кто был родом из нашей области. — Ведь со времен дедушки Крылова кто только не брался за этот труднейший жанр. И что? Ни у кого не получилось, потому что там надо иметь особую струнку, такую грань таланта, которая встречается, может, раз в сто лет. И только неутомимый, талантливейший НН смог достичь небывалых успехов в этом жанре, потому что он...

Разговор в студии, пройдя несколько раз по кругу, стал немножко терять запал, и тут, будто в поисках свежей струи, ведущий вдруг обратился к самому пожилому из писателей, который до сих пор сидел молча.

— Вот и наш... ветеран, — сказал знаменитый поэт, — ваш земляк, достиг известности и в нашей стране, и за рубежом со своей повестью об этом... ну... Попросим и его высказать свои соображения.

Ветеран выступал недолго, сказал, что из присутствующих он самый старший и не надо лишних слов о славе и прочее; к старости человек обычно и сам уже знает себе цену. Кроме того, секретариат посвящен проблемам молодых в литературе, и об этом-то и стоило бы вести разговор...

Услышав такие речи, поэт совершенно расстроился и сказал, морщась:

— Нет, товарищ, я с вами никак не могу согласиться. Ну просто никак.

— Да, — вздохнул НН, — наш, понимаете... э-э-э... старейшина... не совсем прав. Писатель должен знать свою цену в глазах окружающих. Нельзя замыкаться на самом себе. Это эгоизм. Это нескромно в конце концов. Оценку дают люди. И история.

И разговор о молодой литературе продолжался еще некоторое время, а потом благополучно завершился. На этом выездной секретариат свою работу закончил.

Увы, не удалось мне всучить кому-нибудь свои рукописи. И все же секретариат прошел не зря. Это была хорошая школа, и я узнал кое-что новое — о писателях и о литературе. Да и вообще о жизни.

4

Теперь я был уверен, что пишу для корзины, и от этого хотелось писать совсем непроходимые вещи, просто обреченные, но чтоб они были правдой — самой что ни на есть голой. И хотелось удивлять друзей своих по семинару и учиться вместе с ними искать ту самую правду, давя в себе желание отчебучить рассказ позаковыристее да разукрасить его фразами покрасивей.

Из подающих надежды я стал, как сказал руководитель семинара, подающим большие надежды. В местном журнале напечатали небольшой рассказ, и, когда я читал гранки, был приятно удивлен: ни одного слова не вычеркнуто. И я сказал человеку, разрешившему эту публикацию:

— Даже не верится — ни одной купюры.

— Да что же, — ответил он, — рассказ хороший, чего его править?

Но когда я дочитал до конца, то увидел, что последнего абзаца нет. Он просто исчез, и смысл у рассказа стал какой-то другой.

И все же радость была гораздо больше огорчения: первая публикация в литературном журнале, да еще с фотографией, и я помнил, как в фотоателье меня спросили, какую я желаю фотографию, и я ответил:

— Мне такую... художественную. Для журнала...

Еле дождавшись выхода журнала, я скупил все номера в окрестных киосках и целую неделю купался в славе — и на работе, и дома. Я уже знал вкус гонорара — получил в свое время из газеты шестнадцать рублей за рассказ. Но, когда я принес домой перевод из журнала на сто шестьдесят рублей, все были потрясены. Теща лишь через некоторое время смогла вымолвить:

— Да ну! Этого не может быть. Они просто ошиблись. Зря ты с ними связался, еще через суд назад потребуют. Отнеси ты эти деньги обратно, а то беды не оберешься. Месячная зарплата, с ума сойти!

Когда же наконец она поверила, что это не ошибка, то сделала в ванной генеральную уборку и побелила потолки, а когда я усаживался там стучать на машинке, цыкала на всех нуждавшихся — могли б и потерпеть, человек работает.

Правда, одного я долго не мог понять: как же так, тот самый завотделом — и вдруг согласился на мой рассказ. Позже мне это объяснил ДД — детский писатель, который относился ко мне сочувственно.

— Ничего странного, — сказал он. — Ты сейчас на виду из молодых, так что это просто дань, так сказать, общественному мнению.

А еще через месяц я читал «Литературку» и вдруг увидел свою фамилию — во вполне положительном смысле. Они меня заметили!

Ну все, решил я, прорвало. Теперь пойдет дело. И мы с женой представляли себе, какую мебель купим, как вообще обставим квартиру — да, может быть, нам и квартиру дадут новую. Детей кормить будем с рынка. А машину покупать не будем. Ну ее, машину. Слишком хлопотно.

И только одно меня огорчало: печатать особенно было нечего. Так, десятка полтора рассказиков по пять — семь страниц, половина из которых для публикации не годна. Надо было браться за что-нибудь серьезное. Я начал одну повесть и писал ее целый месяц, но однажды окинул написанное свежим взглядом и после этого придрался за обедом к жене за подгоревшую картошку и крупно с ней поругался. Я был никто, и повесть моя оказалась никудышной. Господин Никто, у которого под маской ничего и не было.

Я собрал в кулак то, что у других людей называется волей, призвал на помощь жадность и тщеславие и начал новую повесть, которая давно грелась во мне и ожидала роста мастерства, обещая стать событием в литературе.

Я порвал ее через неделю, и в этот день ко мне домой приехал руководитель семинара, чтобы сообщить новость: меня рекомендовали участником на Всесоюзное совещание молодых писателей.

Мы сидели с ним на кухне за праздничным мини-ужином, и у меня было горячо на душе и плаксиво, а он говорил:

— Мы с ДД предложили вас, и остальные поддержали. Завотделом тоже согласен, так что все будет в порядке. Готовьте рукописи, надо срочно их отправлять. Да не беспокойтесь, отказа не будет. Нашим кандидатам никогда не отказывали. От области вы поедете и одна поэтесса, а еще одну ГГ, в общем, берет по личной рекомендации. ГГ — ну вы его знаете, из Москвы.

После этой вести я засуетился, перепечатал рассказы и отнес их в Союз писателей, и там меня опять успокоили, что все будет в порядке, и надо готовиться к встрече с великими мира сего, и что по рекомендации Всесоюзного совещания иногда и в Союз принимают, даже без книг.

И я готовился. Чистил рассказы и пытался еще раз написать повесть, но она так и не получилась. И я плюнул на нее и больше никак не готовился, и, наверное, в отместку за это вскоре пришла новая весть: рукописи мои в Москве не понравились, и в приглашении мне отказано.

— Идите к ВВ, — сказал мне руководитель семинара, — здесь что-то не так.

Было ужасно неприятно: кандидату из нашей области отказали впервые, для этого надо быть уж полной бездарью, и этой бездарью оказался я.

— Что-то непонятно, — сказал ВВ. — Вместо вас утвердили еще одну поэтессу... Ладно. Какой-никакой, а выход: я напишу письмо, вы отвезете его в республиканское правление к одной женщине, зовут ее Таня. Привет от меня передадите.

— А по отчеству ее как? — спросил я.

— Просто Таня. Ну и она разберется, устроит вас. Правда, может не достаться места в гостинице...

— Это ничего, — сказал я, — у меня в Москве родственники есть.

— Ну и отлично. Поезжайте. Главное, чтоб на совещание попасть любым способом. Хоть действительным, так сказать, членом, хоть приглашенным. Потом вы всегда сможете сказать, что были участником Всесоюзного совещания. А это уже кое-что.

И я поехал. Я пришел к Тане, и она очень удивилась, как это сняли кандидата из такой области. Она прочла письмо и тут же позвонила ГГ, и он примчался как миленький. И они с Таней загудели:

— В чем дело с этим товарищем? Почему его не утвердили?
— А я ничего...
— Да как же ничего, а кто же?
— Надо посмотреть, кто читал его рукописи. Но разве найдешь сейчас...

Они гудели, гудели, а мне хотелось уйти, но только за день я здорово набегался, и сидеть в кресле, вытянув ноги, было так приятно, что я решил остаться.

ГГ сказал мне:

— Поедем в союзное правление.

Организация, в которую мы приехали, помещалась в шикарном дворце. Народу было много; гул, суета, паника колоссального мероприятия. ГГ добыл-таки мне приглашение, а вот занести в списки какого-нибудь семинара не сумел. То есть я был приглашен, но не как официальный участник, а вроде сочувствующего.

— Ладно,— сказал мой благодетель,— приходи завтра на открытие, там встретимся, и я попробую тебя куда-нибудь всунуть.

На том мы и расстались.

Утром следующего дня я приехал на открытие пораньше. Там уже толпились люди, и по их лицам было видно, что они — молодые писатели. Приятно было чувствовать, что в этой толпе, собравшейся со всей страны, я тоже — какой-никакой, а посланец.

Пусть кто-то считает Москву большой деревней, а мне она нравится. Я часто ездил сюда в командировки, если выпадало время, бродил по улицам просто так, куда глаза глядят. К концу командировки я обычно уставал от дел и от Москвы, она не была мне больше в радость; гул, гарь и толкотня раздражали все сильней, и я не чаял, когда вернусь домой, и возвращался, как в рай, но через месяц или два меня снова тянуло пошататься по великому городу.

Утро было свежим и чистым, и жизнь была впереди свежей и чистой, и ко всему этому великолепию я стал свидетелем грандиозного зрелища: съезжались писатели на торжественное открытие, великие прибывали на правительственных машинах, выдающиеся — на своих «Волгах», а некоторые позволяли себе подъезжать в обыкновенных «Жигулях», но эти, видно, на высокое писательское мастерство не претендовали и чувствовали себя не очень ловко перед сотнями молодых писателей со всего Союза.

Телевидение снимало подъезжающих и млеющую толпу молодых. Прибывшие позволяли себя снимать и давали интервью, обмениваясь рукопожатиями и мыслями с владельцами аналогичных машин, но чистота их рядов была подпорчена владельцами «Жигулей», которые настойчиво пробирались в соседство с ними и то и дело попадали в объективы фото- и кинокамер.

И вот парад закончен, интервью розданы, кадры для истории отсняты; народ повалил в зал. Я тоже пошел и все высматривал ГГ — ведь он же обещал меня к кому-нибудь «всунуть», но ГГ не было, и с каждой минутой я чувствовал себя все более чужим на этом празднике.

На торжественном открытии выступали великие. Они произнесли несколько сильных, красивых речей, но после перерыва я в зал не вернулся, а отправился гулять по вестибюлю, надеясь, что по такому поводу, как совещание, должны же для молодых что-нибудь эдакое продавать. Книги, например. Ведь попасть в вестибюль могли только избранные — с приглашениями. Однако книг никто не продавал и даже буфет оказался самым обыкновенным.

Я гулял и разглядывал других гулявших, и мне все казалось, что другие эти гуляют не просто так, а успевают делать какие-то важные дела; в моем же шатании смысла не было, и я чувствовал себя бестолковым.

И тут появился ГГ, очень серьезный и занятый. Он скользнул по мне взглядом, не заметив, подошел к какой-то группе и влился в разговор. Я тоже подошел и долго стоял неподалеку, делая умное и скучающее лицо. Наконец он меня увидел.

— А-а,— протянул он и скривил губы.— Ну да что ж, пойдем.

Показав мне солидного человека, он сказал:

— Это руководитель одного из семинаров, давай к нему попробуем.

Мы подошли, и ГГ начал негромко говорить с ним. Человек молчал, прислушиваясь, а потом вдруг вскрикнул:

— Да ты что? Да куда ж?.. У меня по плану восемь человек и дватри присутствующих, а уже пятнадцать! Из ЦК комсомола звонят: то одного возьми, то другого, из правления подсовывают, из исполкома просят — уже капут, все! Семинара нет! Как можно за два дня обсудить пятнадцать человек?! Скажи — как?

— Ладно,— сказал мне ГГ чуть позже,— пойдем к другому. Ага, знаю, к кому. Этот мне не должен отказать.

И мы подошли еще к одному человеку, но он, услышав тихую речь ГГ, вдруг страшно оскалил зубы, резко повернулся и скорым шагом удалился.

— Последняя надежда осталась,— сказал ГГ.— Сейчас еще одного найдем... Но боюсь, что везде переполнено.

Это оказалось сущей правдой. Следующий руководитель, прижав руку к сердцу и сделав плачущее лицо, объяснял, что у него уже девятнадцать человек, и обсудить всех просто невозможно, это катастрофа, и откуда они все взялись, он даже толком и не знает,— ведь официально в его семинаре должно быть девять человек.

Тем временем в толпе я увидел земляка — того самого, представителя детской литературы. Он тоже меня заметил, кивнул как знакомому; мне стало неловко, что я так однажды раскритиковал его и даже советовал бросить литературу. Нашелся указчик! Друзья в столичном издательстве не позволят ему зарыть свой талант в землю. Он с таким озабоченным видом разговаривал со стоящими рядом, что я понял: он — среди действительных членов. И еще я понял, что надежды мои на прорыв исчезли, на покупку мебели тоже, да и на фрукты с рынка — во всяком случае, в обозримом будущем. И мне почему-то стало легко. Карнавал был чужим, и ни к чему больше примерять костюмы и маски.

— Все,— сказал я ГГ.— Спасибо вам большое. Я вам доставил столько хлопот...

— Да,— отозвался он,— увы. Извини, что не получилось. Я тебе очень хотел помочь. Честно. Извини.

— Да ладно... Я уже и не очень-то горюю. И писатель из меня никакой... Так что все правильно.

— Слушай,— сказал он,— а ты детских вещей никогда не писал?

— Писал,— сознался я и почувствовал, что краснею.— Но это я не по собственной воле, меня подучили. И даже, говорят, книжку можно будет издать. Когда-нибудь.

— А рукописи у тебя с собой?
— Да взял на всякий случай.
— Так давай же на детский семинар! Они всех берут.

Он объяснил мне, куда идти и с кем разговаривать, и мы расстались.

На следующий день я явился на детский семинар, и оказалось, что туда пускали действительно всех, даже прохожие с улицы могли прийти. В комнате было тесно, уместилось человек тридцать, но шеф семинара сказал, что обсудить постараются всех. И обсудят, как бы ни было это трудно. Всем руководителям семинара придется брать рукописи домой, так что присматривайте, кто вам больше нравится, и всучайте.

Кое-что интересное на семинаре было. Правда, рукописи и книги официальных участников были известны только руководителям и некоторым другим официальным. Пока шло обсуждение, можно было только догадываться, о чем идет речь. Но кое-что запомнилось. Например, на семинаре была представлена верстка романа о реконструкции на заводе. Роман так и назывался — «Реконструкция».

— При чем здесь детский семинар? — спросил я потихоньку своего соседа, толстого, добродушного парня.

— А какая разница? — ответил он шепотом.— «Война и мир» тоже не детская вещь, а издают ее и специально для детей. В принципе для старшего школьного возраста можно издавать что угодно, и тогда это попадает в раздел детской литературы. Другое дело, я эту верстку вчера читал — чистая халтура, передовики борются с консерваторами за производственные победы. Но знаешь, где эта верстка набрана? В «Советском писателе»! Вот так. Первая книга, и уже — лицо советской литературы.

Автор ее обречен быть крупным писателем. Дедушка у него — знаменитый прозаик. Помнишь? А папа — очень продуктивный критик. Сам же «новобранец», я думаю, напишет больше, чем папа и дедушка, вместе взятые.

— Не пойму, — сказал я, — зачем ему тогда какое-то совещание? Стоять, в пол смотреть, да еще вдруг какую-нибудь гадость скажут...

— А как же! — улыбнулся сосед. — Во-первых, Всесоюзное совещание — это как почетное клеймо. А во-вторых, кто его знает, может, хочется человеку, чтоб кто-нибудь его в глаза похвалил. Не папу или дедушку, а его самого. Но я б на его месте фамилию сменил. А впрочем, все равно. Его и под псевдонимом издадут где угодно.

В перерыве мы гуляли вместе по коридору. Он работал учителем в сельской школе, рассказывал про своих мальчишек и девчонок, про их выходки и при этом так заразительно смеялся и переживал за них, что мне стало завидно. У него уже была одна книжка, тоненькая, но я не стал читать ее — боялся разочароваться.

Еще запомнилась мне молодая женщина, из неофициальных участников; она читала трогательные стихи, и сама плакала над ними, и просила разрешения почитать еще, и так волновалась, что ей два раза давали воды.

После двух дней работы семинара я всучил свои детские рукописи одному критику и известной поэтессе и теперь ожидал решения своей судьбы. Поэтесса в последний день прийти не смогла, но оставила записку. Там было сказано, что детей я люблю и понимаю и что я наблюдателен и неплохо владею словом и интонацией, но над рассказами надо много работать.

Критик же читал только один рассказ, самый большой. При обсуждении он сказал, что автор просил его хотя бы начать читать и, если не понравится, бросить. Я, сказал критик, начал читать и хотел действительно бросить. И вдруг пошел великолепный текст — я вам сейчас прочту... И прочел кусок. А потом, сказал критик, идет опять что-то расхожее, а еще через страницу снова прекрасный текст. Так что у меня двойственное впечатление. Автор, несомненно, интересный, но нить часто теряет — не знаю, с чем это связано.

Подводя подо мной черту, руководитель семинара сказал:

— Я думаю, автор может быть доволен. Он заслужил похвалу двух очень уважаемых людей, которые, как мы знаем, на похвалы скупы. Ну что ж. Работайте. Желаем вам удачи.

Вот так и получилось, что никакого решения моей судьбы на совещании не произошло. Правда, теперь, рассылая рукописи по редакциям, я всегда мог упомянуть, что был участником Всесоюзного совещания, но при этом приходилось немножко кривить душой.

5

Угораздило меня написать большой рассказ о первой любви. Про старшеклассника — современного парня, не чуждого поп-музыки и поцелуев на вечеринках с девочками. Назывался рассказ «Обратная сторона Луны».

Жена, прочтя, сказала, что на нее он произвел неприятное впечатление. Хотя, сказала она, ты не огорчайся, может, он и хороший, просто сам подумай, какое у меня может быть отношение к твоей любви со школьницей.

Прочитал я рассказ на семинаре, и руководитель сказал: нормально, будем рекомендовать в журнал. Через неделю я пришел к нему в редакцию, и он сказал:

— Понимаете... Тут вот какая штука. Мы отдали ваш рассказ на рецензию ведущему, так сказать, нашему критику, КК. Вот. Так получилось... Давайте подождем.

Прошло несколько дней, и я получил рецензию. В ней говорилось, что все пластиночники — такая мерзость, что в их среде смешно даже подозревать так называемую любовь. Что рассказ написан грамотно и местами даже художественно, но свидетельствует о полной нравственной глухоте автора. Ну и так далее.

Сначала я растерялся, а потом понял, что в журнале рассказ не пойдет, и мне стало даже лестно, что моя личность способна вызвать такой пыл у ведущего нашего критика. Редактор же, прочитав рецензию, сказал:

— Ну ничего, ничего... Мы знаем КК как человека бескомпромиссного, но тут он, похоже, перегнул. Да... Однако, если хотите, можно дать рассказ еще кому-нибудь. АА, например.

— Хочу, — сказал я, хотя ничего уже не хотел, кроме как приехать побыстрей домой, порвать жалкую стопку своих рассказов, вздохнуть свободно и жить, как все нормальные люди.

АА я знал лишь понаслышке, но не сомневался, что он тоже напишет какую-нибудь гадость про «Обратную сторону Луны» и заодно про меня. И мне только хотелось почему-то лишний раз убедиться в этом, и еще хотелось иметь когда-нибудь возможность посмотреть им обоим в глаза.

И вот через три дня АА по телефону пригласил меня приехать к нему домой. Я поехал.

Он проводил меня в комнату, усадил в кресло и долго расспрашивал, кто я такой, давно ли пишу, печатался ли где. Потом достал из стола мою рукопись и сказал, что я — писатель от бога и что он весьма удивлен тем, что в истоптанной вдоль и поперек теме первой любви мне удалось найти свое и рассказать об этом очень искренне.

— Но! — сказал он. — Мне также ясно, что писатель вы неопытный и не очень начитанный.

— Увы, — согласился я. — Во-первых, школа отбила охоту к чтению, а во-вторых, книг хороших и не купишь, а своей библиотеки у нас никогда не было. Так только, последние два-три года...

Он поморщился, качая головой.

— Вам обязательно надо читать, и очень много. Но — хорошую литературу. Лучше классиков. А то вы пишете иногда такие вещи... Смотрите...

Он открыл рукопись, и пошел по тексту, и дал мне урок, какого я еще не получал, — ясный, логичный и очень доброжелательный.

Когда-нибудь, когда стану я маститым, богатым и завистливым, я вспомню этот урок и среди начинающих найду одного и скажу ему, что он — писатель от бога, и научу его всему лучшему, что буду уметь сам, и не позавидую ему, хотя бы одному, что он умеет кое-что, чего я не умею.

Я перепечатал «Обратную сторону» и многие другие рассказы к очередной засылке и вскоре отправил бандероли по восьми адресам. Приятно ждать и тешить себя надеждой, даже если отказы идут один за другим...

Шестой или седьмой пришла бандероль из Очень солидного журнала, и я испытал некоторый стыд, так как осмелился послать туда самые плохонькие экземпляры — просто ни на что не надеясь.

Я прочитал короткое письмо и ничего не понял. Прочитал медленно, и оно показалось мне злой шуткой, но внутри уже что-то поплыло горячо — как в детстве, когда чудеса были близко. Они одобрили «Вурдалаков», готовили их к печати и извинялись, что не могут назвать точного срока. Кроме того, если вы не возражаете, мы рекомендовали три небольших рассказа в журнал тонкий.

«Если вы не возражаете»... Да братцы!..

Целую неделю я жил будто оглушенный, и в конце этой недели мне позвонили с почты и сказали, что у них есть для меня телеграмма из Москвы, но что доставить они ее пока не могут из-за нехватки людей, зато могут прочитать по телефону.

В телеграмме мне предлагали срочно позвонить в редакцию еще одного журнала. Или приехать. Дрожа, я набрал по автомату указанный телефон и попал на заведующую отделом прозы. Она обрадовалась, что я позвонил, и спросила, не предлагал ли я свою рукопись другим журналам, а то, сказала она, в нашей практике такое, к сожалению, бывает. Я сразу не нашелся, что ответить, а она сказала, что «Обратную сторону Луны» хотят поставить в двенадцатый, молодежный номер. Но времени мало, уже конец сентября, и вам надо как можно скорее появиться в редакции — командировку можно оформить за счет журнала. Я пообещал приехать при первой возможности. На этом наш разговор закончился.

Жена во время разговора стояла рядом и переживала.

— Слушай, — сказала она, — ну это вообще... Даже не верится. Я только не поняла — что они взяли?

— «Обратную сторону», — ответил я.

На следующий день я оформил на работе командировку в Москву — у нас это запросто, работы по запуску ЭВМ всегда много, и я был уверен, что и работу сделаю, и выкрою время походить по редакциям.

И вот мы с другом приехали в Москву, но в первый же день нас ждала неприятность: номера в приличной гостинице нам не смогли забронировать из-за большого наплыва интуристов.

Сережка остался в нашем базовом НИИ звонить, чтоб найти гостиницу, а я отправился в редакцию. Встретили меня там как сингапурского консула. Водили по редакции, знакомили со всеми и расспрашивали, кто я такой, давно ли пишу и где печатался. Я не удержался и сказал, что был участником Всесоюзного совещания, а печатался мало; правда, намечается детская книжка и недавно в Очень солидном журнале взяли рассказ, а теперь вот — здесь...

Они очень удивились, узнав, что я регулировщик по ЭВМ. Ох, а мы думали, вы постовой. Который движение регулирует. Мы еще удивлялись: смотри-ка, милиция стала какие рассказы писать...

Я со всеми перезнакомился и почти всех тут же забыл, потому что мы сели с редакторшей разбирать правку рукописи. Она сказала, что правки мало — так, чтоб немножко текст ужать. Ни одного куска не выпало, хотя сначала ее покоробил эпизод в ванной и она хотела его опустить, но потом поняла, что он очень важен.

Однако когда мы пошли по рукописи, я увидел, что правки много, на каждой странице десятки мелких исправлений, и от этого тон и темп рассказа порядочно изменились. А когда мы дошли до эпизода в ванной, то там все оказалось по-другому, весь смысл, хотя внешне исправлений действительно было немного. И когда я понял, что ничего не могу с этим поделать, я потерял интерес к жизни и согласился на все исправления, все до одного.

Редакторша убрала рукопись, и мы поговорили о делах житейских. Она сказала, что я должен знать, через какой прошел жесточайший отбор. Вы не можете себе представить, сколько было желающих попасть в этот молодежный номер. И нам даже самим удивительно, что мы взяли ваш рассказ, ведь за многих лично приходили просить известные в Москве люди и писатели с положением. Но мы взяли вас, сказала она, потому что «Обратная сторона Луны» — удивительно искренний рассказ и всех нас просто покорил.

Я был, конечно, ужасно рад, что я такой талантливый, но все это происходило будто не со мной, а с каким-то очень похожим на меня человеком из параллельной жизни... И мне хотелось срочно остаться одному, чтобы разобраться, с чего бы это — неужели из-за небольшого эпизода в ванной?

Мы договорились, когда надо приезжать смотреть гранки, и я стал прощаться, но вдруг вспомнил, что Сережка все еще сидит в НИИ, и спросил, нельзя ли отсюда позвонить. Она сказала: конечно, можно. Я позвонил, и Сережка сказал, что дела плохи: гостиницы хорошие есть, но сегодня нас устроить никто не успевает.

Редакторша стояла рядом и разговор слышала.

— У вас трудности с жильем? — спросила она. — Так что же вы молчите? Сейчас сделаем.

Она взяла фирменный бланк и быстренько отстукала на машинке: просим разместить в гостинице приехавших по вызову редакции писателей такого-то и такого-то. Потом сходила за подписью и печатью, и я, простившись, помчался в управление гостиниц.

Когда мы с Сережкой приехали в «Россию», у нас возникло только одно недоразумение — по поводу места работы. Ну как, сказал я, там же написано: писатели. Работаем на дому. А зарплату где получаете? Где напечатают, там и получаем. В издательствах, в редакциях. Я должна указать место работы, сказала администраторша; здесь вот стоит штамп издательства «Правда», там тоже получаете? И там тоже, согласились мы. Тогда она записала нас корреспондентами газеты «Правда». И это польстило нам не меньше, чем звание писателей, которым наградили нас в журнале.

В Очень солидном журнале меня приняли не хуже, чем в первом, и, главное, они не передумали насчет «Вурдалаков». Правда, сроков до сих пор назвать не могли, но зато сказали, чтоб я приносил к ним все, что напишу, и что авторов своих они берегут и стараются не отдавать их другим журналам. Мне было у них хорошо, как в раю, и уходить не хотелось, хотя надо было, чтоб не отрывать людей от дел, и я несколько раз поднимался со стула, но они меня удерживали. Потом я все же собрался с силами и ушел. После этого визита мне казалось, что я проживу еще лет сто. И умру тогда, когда сам захочу. А не захочу, так и не буду.

И почти каждый день потом я вспоминал маленькую комнату в отделе прозы, слишком обыкновенную для такого солидного журнала, и неудачам было бесполезно искать меня в ближайшем будущем.

Через три дня мы вернулись из командировки, и я сразу попал с корабля на бал. Та осень вообще была богатой событиями и людьми. Началось областное совещание молодых писателей.

На такие совещания часто приезжают столичные гости из редакций и издательств, и на них-то истосковавшаяся по публикациям провинциальная молодежь взирает с особыми надеждами. Я тоже всегда взирал, и последние семь лет, в которые уместились три таких совещания, ума мне не прибавили. Я даже питал еще большие надежды, потому что теперь было чем козырнуть.

На этот раз на поиски талантов приехали из Москвы ГГ, еще один известный поэт и работник журнала для начинающих писателей. Звали работника Яшей, а фамилию я не запомнил.

Несколько лет назад я уже побывал у них в редакции. Оставил пакет с рассказами у секретаря, потом погулял по коридору, пахнувшему чем-то очень литературным; запах был мне приятен, и я не торопился уходить. Постоял у стенгазеты и прочитал статью главного редактора с анализом причин, почему падает спрос на журнал. Спрос падал в основном из-за нерадивости некоторых сотрудников, которые не придают должного внимания пропаганде журнала среди читателей. Если не будет налажена соответствующим образом пропаганда, предупреждал главный, придется принимать серьезные организационные меры.

В письме, которое пришло через два месяца из этой редакции, было сказано, что способности у меня есть, и расписывалось, какие именно способности, но... И так далее. В конце было написано: «Мы всем советуем выписывать наш журнал. Он может оказать Вам серьезную помощь в процессе становления».

Совещание было обыкновенным и ничего для меня не изменило. Зато с представителем журнала для начинающих я встретился как раз в тот момент, когда он разговаривал с шефом семинара. Говорили они про мой рассказ, который шеф вполне одобрял. Яша московский, взяв рукопись, прочитал вслух первую фразу: «Я увидел ее в фойе кинотеатра, когда мы с женой, оставив сына бабушке, выбрались наконец-то в кино».

— Ну и что? — сказал он. — Что? Это фраза, да? А ведь начало должно быть энергичным и емким, задавать тон всему дальнейшему. А тут!.. Кто «я»? Кого «ее»? Нет, это просто безграмотно. А если начало безграмотно, то дальше мне и читать не хочется.

Через два дня я видел его еще раз — на торжественном закрытии совещания. Я сидел в зале, он в президиуме. Когда Яше предоставили слово, и он, качнувшись, вышел на трибуну, то произвел впечатление человека очень уставшего. Говорил Яша о том, что у каждого писателя должно быть свое, незаемное. А где же взять эту незаемность? Ну, умному человеку ясно, что незаемность в каждом регионе своя. Вот у вас в городе тоже много своего, регионального. Например, как вы произносите букву «г». Вы только послушайте, вам это привычно, а мне, приезжему, сразу бросается в глаза. Г-г-гэ. Ог-г-гурец. И вот об этом надо писать, понимаете? О своем.

Если б не было у меня теперь надежды сразу на две московские публикации, я б, наверное, подумал: черт с вами, со специалистами по литературе. В конце концов у меня есть работа, и именно она дает мне возможность иметь семью и быть нормальным человеком. Не бойтесь, проживу.

Правда, когда бывают неприятности на работе, я думаю: черт с ней, с работой, все равно я рано или поздно стану писателем, и тогда гори она огнем, ваша работа.

6

Пусть засохнут все мои шариковые ручки и исчезнут из магазинов большие толстые тетради, чистота которых рождает во мне приятное беспокойство, пусть сломается пишущая машинка и не хватит денег на покупку новой; пусть отсохнет мой лживый язык, если я скажу когда-нибудь, что мир литературы без добрых людей.

У меня был руководитель семинара, умный и деликатный человек. Он работал редактором в журнале, но голоса решающего, увы, не имел. Восемь лет хождения на семинары, если нет практических результатов, способны сделать лицо человека зеленым и перекошенным. В зеркале же я ничего подобного не наблюдаю. Спасибо ему за это. Ему и семинарам.

Еще был в этих восьми годах детский писатель, который еще давно, на самом первом совещании, доказывал, что «Вурдалаков» вполне можно публиковать. И потом он не оставил меня, выписывал даже деньги из Литфонда — то на матпомощь, то на перепечатку рукописей. Он готов был читать все, что я напишу, и поддерживал во мне веру все эти годы — может быть, и зря, но это была уже не столько литературная школа, сколько житейская. И никакой корысти в этой поддержке не было.

Многое можно было бы написать о людях хороших. Но они все время перемешиваются с остальными, хотя выделить их легко: кто меня поддерживает, те хорошие, а кто против... Ну, они тоже хорошие, только иногда в них проявляется сложность характера, а я почему-то попадаю в поле их зрения именно в эти минуты.

Мне не хочется подробно писать о хороших. Хотя бы потому, что сделали они для меня много и было бы черной неблагодарностью с моей стороны пытаться описывать их так называемыми художественными средствами. Лучше я когда-нибудь напишу о них мемуары. О редакторе отдела детской литературы в нашем местном издательстве, которая возилась со мной, как с родным сыном, и издала-таки мою первую книжку — сборник рассказов для дошкольников; о великолепном Юрии Третьякове, книги которого я читал еще в детстве, потом читал во студенчестве и читаю до сих пор с не меньшим удовольствием. Для меня раньше он был личностью легендарной, как Марк Твен или Жюль Верн, о которых в мальчишестве и не знаешь толком, из каких они стран и веков; я и думать не мог, что когда-нибудь буду знаком с Третьяковым. А он оказался живым писателем. К тому же из нашего города. Познакомила же нас мой ангел-хранитель из издательства. Она убедила Третьякова прочесть мою рукопись, хотя последние годы он часто болел и от чтения чужих рукописей категорически отказывался. Он рецензировал мою книжку и переживал за нее едва ли не больше меня; однажды, не выдержав моей бестолковости, переписал заново два самых неудачных рассказа. В таком виде они и вошли в книжку — маленькую и тонкую, зато почти самостоятельную.

И забавный случай с местным классиком ЦЦ, о котором рассказал Третьяков, я тоже приберегу для мемуаров.

Этот ЦЦ был всеяден. Он писал все: стихи и прозу, и диапазон его в этих жанрах был чрезвычайно широким. Печатался он непрерывно и во многих местах. И вот однажды в одну из московских редакций пришел малоизвестный поэт и сказал: книжка стихов, которую вы недавно напечатали под именем ЦЦ, моя. Ну, сказали в редакции, это серьезное обвинение, его надо доказать. Запросто, сказал поэт, это стихотворение — акростих. Читайте первые буквы строк. Прочитали. Получилась фраза: ваш ЦЦ — дерьмо, а стихи написал я, такой-то. Скандал получился жуткий. И выяснилось, что в своей колоссальной плодовитости ЦЦ не написал ничего, а все купил. Как купил? — удивился я. Да просто, ответил Третьяков. Приходил к писателю и предлагал живые деньги за любую оконченную вещь. Полцены, зато сразу. Связи у него богатейшие в редакциях и издательствах по всему Союзу, и, купив вещь, он немедленно запускал ее в дело. А поэта того он, наверное, просто надул.

В правлении я и сам видел объявление с повесткой дня: персональное дело члена Союза писателей товарища ЦЦ. Знакомые окололитературные ребята говорили, что дела его плохи. Однако кончилась эта история вполне логично: ЦЦ написал письмо в Москву одному из крупнейших литературных чиновников, с которым во время войны в одном полку служил, и напомнил ему про славный путь полка, и вообще о войне, и о фронтовом братстве, и о солидарности ветеранов, которых остается все меньше и меньше. Чиновник письмо получил, позвонил в наш город и велел дело остановить.

Все, все — в мемуары! И хорошее, и плохое.

И мытарства мои по редакциям и издательствам; ах, как сладко представлять себя непризнанным гением и мечтать о восстановлении справедливости... А потом вдруг в зеркале: гений! Хи-хи-с!..

Но вера вскоре возвращается, и живет некоторое время, и умирает неожиданно, в минуту чтения собственного рассказа, например, и так всю жизнь — как на качелях.

Быть может, когда-нибудь выйдет у меня и вторая книжка, и тогда можно подавать заявление в Союз писателей — говорят, там хорошо, — и вдруг примут; я представляю себе: вот сегодня, сейчас, когда мне только что вручили билет члена Союза писателей и я держу его в руках — новенький, престижненький, — вдруг стало как-то тоскливо на душе, будто вырвали меня из толпы таких же неприкаянных бродяг, а я хочу назад, но уже поздно, шлагбаум закрыт, навсегда, и кажется мне теперь, что блаженные времена, когда я был писателем, — прошли...

г. Воронеж

Леонид КОСТЮКОВ

В чужеземном порту

Петров спустился по трапу, достал «Дымок», закурил, затянулся, расхотел — и шикарным движением швырнул окурок за спину. Танкер с нефтью, на котором Петров приехал в Сингапур в качестве матроса, сгорел, как тополиный пух.

— Капут! — крикнул Петрову туземец, белозубо улыбаясь и показывая на огненный фонтан у берега.

— Ничего, браток! — крикнул в ответ Петров. — Живы будем, прорвемся.

И пошел в город.

На базаре ничего интересного Петрову не встретилось. Смуглый человек схватил Петрова за рукав.

— Советико... прего! О-безь-яна, хорошо охотить! Гуд. Тайга, Амур, тигр в глаз... бай...

— Эмигрант, что ли? — брезгливо спросил Петров. — А ну пусти рукав. — Обезьянка с умненьким старненьким личиком показала Петрову кукиш. Попугай под соседним баобабом назвал его на чистом русском языке ...м. Запах гнилого манго забивал ноздри.

— Черт, — ругнулся Петров, — совершенно негде еще у нас расслабиться. Даже в Сингапуре.

В первом же баре Петров обнаружил своих.

— Петров! — крикнули ему из угла. — Ты, что ли, корыто рванул?

— А вы откуда знаете? Вы же вперед ушли.

— А тут «Голос Америки» передал.

— И не глушат?

— Не... Здесь через СССР, а там теперь не глушат. Ты... тово, назад не спеши, посадят, не дай бог.

— Посадить не посадят, чего за жестянку с жидким дерьмом человека сажать. Не то время. Оштрафуют... А вы чего, домой собрались?

— В натуре. Нам-то чего бояться?

— Орлы, — похвалил товарищей Петров. — А на чем?

Все заржали. Ребята заказали еще мартини со льдом. Васильев указал бармену на Петрова.

— Вот, частник, любуйся... Петров! Звезда эфира.

— Да ладно тебе, — смутился Петров.

Бармен улыбнулся Петрову, высоко поднимая усы.

— Он, — продолжал объяснять Васильев, — танкер... тово. — Васильев показал жестом.

— О! — понял бармен, улыбка его вспыхнула ярче, и он сделал жест еще красноречивее васильевского. Ребята сгрудились у стола: учись, мол, брат. Южная Америка, горячие нравы.

— Цэрэу? — спросил бармен у Петрова. Тот засмущался еще больше, товарищи его так и скисли от хохота.

— Да нет, — прогудел за всех боцман, — какой из него разведчик... Просто раздолбай. Или все-таки ЦРУ? А, Петров?

— Да ну вас! — Петров покраснел, как на юбилее. — Вам бы только ржать.

Из бара вышли за полночь, пошли к публичным женщинам. И тут Петров отличился. Бывают такие дни, не повезет, так не повезет. А вообще день на день не приходится.

Утром случилось извержение вулкана. Потоки красной лавы стекали с высокой горы и терялись в голубоватом тумане у подножия. Ребята, натягивая постепенно штаны, вышли из хижин своих ночных подруг.

— Красиво, — не удержался самый молодой, Торцов. — А, ребята? Ведь правда красиво?

— Как боцман наш после джина с тоником, — пихнул Васильев Петрова, — помнишь, в Занзибаре?

— Молчи, салага, — огрызнулся боцман. — Поплавай с мое, потом шути.

— Уж и сказать нельзя.

— Да говори, — боцман набил трубку табачком, — а вот через семь минут чего ты скажешь?

— А чего будет через семь минут?

— Лава сюда докатится. Я в этих местах был... в шестьдесят третьем. Семь минут, как сейчас помню. Город как тряпкой со стола смахнуло.

— Так чего стоим? — спросил Петров, зевая.

— А где капитан? — спросил боцман. — Команды суетиться не было.

Все помолчали немного. Утро было холодное, сырое.

— А в тот раз чего делали? — спросил Торцов тоскливо. — В шестьдесят третьем?

— В шестьдесят третьем? — оживился боцман. — Так в шестьдесят третьем мы уже с моря наблюдали, с борта. Потом вернулись. На случай, если помочь. Да некому.

— Да он врет, — догадался Васильев.

— Вру, — признал боцман. — Я же тебе говорил: поплавай с мое, потом шути.

С похмелья голова у Петрова не то чтобы раскалывалась, но все же болела. Он представить себе не мог, как добираться назад. Не то чтобы он чувствовал за собой какую-то особенную вину — окурок есть окурок, не больше и не меньше, но никто, кроме него, домой не спешил, а Петрова ждала молодая невеста, Катя.

— Ребята, — сказал Петров, — а может, нам устроиться на какой-нибудь корабль матросами — и домой? А?

— Давай капитаном, Петров. Чего мелочиться? А хочешь, мы тебя на местное радио сосватаем? Там тебя знают.

Петров сам уже начал понимать, что после его оплошности никто их на борт не возьмет, разве что за большие деньги. Но за большие деньги можно бы и пассажирами доехать. А за очень большие — и на самолете. Петров машинально посмотрел себе под ноги, чтобы не пропустить очень большие деньги. Под ногами было сыро и склизко, в цветастой луже бензина валялась этикетка на иностранном языке. Петрову почему-то стало зябко, хотя было жарко. Он передернул плечами.

Нашего посольства они не нашли — ну бывает, старик, просто не нашли, честное слово. Город немалый, все на холмах, темнеет быстро, спросить некого, да еще непонятно, столица или нет, а если не столица, так и искать нечего.

Сгущался вечер, белые скалы торчали на фоне синего звездного неба, как белые зубы. Ребята сходили к морю, все, кроме боцмана, разделись и окунулись, поплавали, поныряли. Боцман сел на песочек и закурил свою трубку.

— Михалыч! — крикнул ему Васильев. — А ты чего? Заходи.

— Да нет, ребята, — ответил боцман, — тут акул полно.

Торцов вылез на берег.

— Ты отойди, — посоветовал Торцову боцман, — метра на два от кромки. Там, где стоишь, она в прыжке достанет.

— Шутишь, что ли? — неуверенно предположил Торцов. — Ребята, он шутит или нет?

Тут в воздухе тускло блеснуло гладкое влажное тело и бросилось на Торцова.

— А-а-а! — заорал тот. В прибрежных домах кое-где загорелся свет, послышалась невнятная испанская речь. На песке валялись Торцов и Васильев. Боцман тихо смеялся.

— Видишь, старик, — сказал Васильев боцману, — не ты один умеешь шутить.

— Идиот, — сказал Торцов.

Петров вылез из воды, отряхнулся.

— Дайте, мужики, майку вытереться, — сказал он. — А акулы, кстати, действительно есть.

Они посмотрели в воду — точно, вблизи от берега бегали белые бурунчики — акулы резали воду плавником.

— Это небольшие акулы, — сказал боцман, — на человека не нападут.

Весь следующий день они рыли небольшую канаву для стока воды на обочине окраинной улицы.

— Закурим? — спросил Васильев.

— Нет возражений.

Они закурили.

— Михалыч, ты присыпь хотя бы лопату землей, а то подумают, что ты не работал.

— Учить... — проворчал Михалыч. — Петров, ты точно договорился повременно? не сдельно?

— ... его знает, — неопределенно ответил Петров.

Они покурили, ссыпая пепел в отрытый уже кусок канавы; он и размерами и формой очень удачно напоминал пепельницу. Обсудили текущие дела.

— Как вы думаете, хватит на билеты? — спросил Торцов.

— Буржуи... — задумчиво сказал Васильев. — Темное дело. Дня за три должно хватить. Все от расценок зависит. Ну что, мужики, за работу?

— Нет возражений, — прогудел боцман, впрочем, не пошевелившись.

К концу рабочего дня Торцова выставили на стрём, и вовремя.

— Идет! — заорал он.

Ребята поплевали на ладони и, пока буржуй подходил, вырыли приличный кусок. Тот встал около канавы, заулыбался (блеснули зубы), жестом показал, что надо глубже.

— Бульдозером бы, — проворчал боцман. — Петров, объясни ему, что надо бы бульдозером.

Но капиталист понял и без Петрова.

— Бульдозера у них нет,— ворчал боцман,— отсталость... Петров, скажи ему, что мы из СССР непременно вышлем бульдозер... если они не в НАТО, естественно...

Капиталист между тем, все так же отчаянно улыбаясь, начал маленькими шажками вымеривать канаву.

— Гляди,— заволновался Васильев.— Обманывает трудящихся. Ты же говорил, что повременно, а, Петров?

— Я не говорил,— мрачно ответил Петров.

Промерив, буржуй особым образом свистнул, и из темноты выступили два негра с огромной охапкой бананов. Подумав пару секунд, буржуй дал каждому работнику по грозди, а боцману — две.

— Учитесь,— сказал боцман,— салаги.

Буржуи ушли. Ребята посмотрели на бананы.

— Да,— сказал Васильев,— так нескоро уедешь.

— А почему боцману две грозди?— несмело спросил Торцов.

— Политика,— неохотно объяснил Васильев.— Создание рабочей аристократии. Михалыч, дай куснуть.

— Пошел ты... Свое доешь, потом проси.

— Видишь,— Васильев, флегматично жуя банан, встал, прошелся по улице, взглянул вниз, в сторону моря.

— Чего смотришь-то?— спросил Петров.

— Не знаю... маяк...

— Ну и чего тебе маяк?

— Да не знаю. А чего делать-то?

Эту ночь моряки провели под открытым небом, хорошо еще, что ночь оказалась теплая, мягкая. На горах лаяли шакалы. В небе горели звезды. Петрова все не оставляли мысли об обратной дороге, с ними он и заснул.

Еще было обидно, что никто толком не помнил, остров Сингапур или материк, и если материк, то какой. Если наш, то в принципе можно было бы добраться автостопом (если, конечно, знать куда). Если нет, то приходилось связываться с мореходными делами — на самолет никто не рассчитывал. Деньги кончились. От голода моряки не страдали, потому что пробовали на базаре. Капитана так и не встретили — может быть, он набрел на посольство, но вряд ли, потому что его там ждал втык. Вообще остальная команда (старпом, кок, механики и так далее) растворилась в лабиринтах портового города. Торцов заболел лихорадкой, боцман вылечил его водкой, которую выменял у проституток неизвестно на что. Петров торопился домой, Торцов просто ныл, боцман ворчал, Васильев уходил часто и надолго. Приближался сезон дождей. Наконец, моряки приняли то же решение, которое лет пятнадцать назад пришло в голову битлам,— расстаться. Боцман пока что никуда не спешил, Торцов решил жениться на богатой женщине, уговорить ее поехать в свадебное путешествие в Союз, а там потихоньку смотаться и остаться. Петров задался целью влезть в трюм какого-нибудь парохода, а Васильев интереса ради рискнул и отправился на северо-запад на попутных машинах, как Афанасий Никитин.

Здесь следы их теряются.

Правда, во многих портах моряки видели такую картину: поздно ночью, в глухой, абсолютной темноте акватории лязгает железо, потом на причал выскакивает... чучело не чучело, человек не человек, нечто ободранное, чумазое, с красивой седой шевелюрой. Существо начинает приставать к прохожим и что-то у них выяснять. Моряки считают встречу с Белым дьяволом плохой приметой: редкое судно возвращается в порт, если кто-то на нем видел Белого дьявола.

Военно-морские силы США проверяют всех матросов на детекторе лжи. Они задают им всего один вопрос: видел ли ты е г о? И если матрос кивает, его увольняют с выходным пособием пятьдесят долларов.

Петров позабыл русский язык, а другими и не владел никогда. Он надеется рано или поздно оказаться в советском порту: ему невдомек, что это случилось уже, и не раз — он был и в Архангельске, и в Одессе, и в Находке. Но вот уже несколько лет, как в стране идет перестройка,

на причалах чисто, ползает разная техника, никто не ругается матом, и Петров не может отличить наш город от иностранного.

Его невеста Катя примерно раз в два-три года приходит на Речной вокзал в Москве. Сзади идет ее муж с дочкой на плечах и канючит:

— Катя! Ну мы опять поссоримся. Очевидно ведь, что он не вернется.

— Тебе не понять,— задумчиво говорит Катя.— Он ведь мог искорежить мою молодость.

— Но ведь не искорежил.— Муж тяжело дышит, быстро устает. Дочка с каждым годом растет, таскать ее на плечах все тяжелее, сейчас ей пятнадцать лет, и весит она килограмм семьдесят — семьдесят пять, но Катя вбила себе в голову, что встретит идиота Петрова именно так, ненароком, с мужем за спиной и дочкой у него на плечах.

— Ну как ты?— спросит Петров. Он всегда был дураком.

— Как видишь,— гордо ответит она и пройдет мимо.

Они встречаются действительно случайно. В автобусе в час пик.

— Привет, Катя,— негромко говорит Петров.— Ну, как ты?

У него на носу тоненькие золоченые очки, он в светло-сером плаще.

— Ничего,— говорит Катя.— Устаю... кого этим удивишь. Дочка растет, скоро пойдет в десятый.

— Ну!— Петров имитирует свист, он действительно удивлен.— Вот время-то бежит.

Он всегда умел блеснуть оригинальным суждением.

— Ну, а ты как?— спрашивает Катя.— Бороздишь моря?

Петров сперва даже не понимает, что к чему.

— А!— вспоминает он наконец.— Это мы с Гатаулиным трепались, что пойдем в мореходку. Я забыл, представляешь, забыл. Производило впечатление, правда?

Эти слегка недоделанные мужики обожают вспоминать детство, хотя и его помнят неважно.

— Ну и кем ты стал?— спрашивает Катя.

— Никем,— смеется Петров,— инженером. Иванов — не фамилия, русский — не национальность, инженер — не профессия. Чересчур заурядно.

— Ну, ты у нас Петров, а не Иванов,— поддерживает Катя беседу.

— Это точно,— подтверждает Петров.

Катя смотрит в окно, чтобы понять, не заболталась ли она с Петровым и не проехала ли свою остановку. Нет, все в порядке, выходить через одну, пробираться надо сейчас.

— Ну,— говорит Катя,— счастливо.

— Счастливо,— отвечает Петров легко — не облегченно, а именно легко. Он с удовольствием потрепался бы с Катей еще пять-шесть остановок — и точно с тем же удовольствием проедет их один. Такой тип человека.

Катя выходит на своей остановке — не раньше и не позже, выдергивает из автобуса сумку, идет по кромочке огромной лужи в сторону дома. Катя думает о мелких-мелких повседневных заботах, и ей становится грустно и пусто на душе.

И тут ее сумку кто-то подхватывает: Катя оглядывается — Петров.

— Я вышел,— скомканно, изначально путанно объясняет он,— нельзя так. Давай я посмотрю на твою дочь, вообще как ты живешь. Знаешь, странное дело, нельзя по-русски спросить у человека, как он живет,— выглядишь, словно хочешь отвязаться.

Перед Катиными глазами подрагивают, плывут два больших белых пятна. Голос Петрова доносится издали, слова неясны.

— Нет, ничего...— говорит Катя на случай, если Петров заметил, что она плачет. Она стряхивает слезы свободной рукой, впрочем, сейчас у нее обе руки свободны. Белые пятна фиксируются, превращаются в строгие, вытянутые вверх прямоугольники.

— Вот мой дом,— указывает Катя Петрову на левый прямоугольник,— там я и живу. Видишь, совсем немного осталось...

Александр КУШНЕР

Новые стихи

* * *

Счастливые стихи писали мы,
Когда все, все препятствовало нам.
И волновали нити бахромы,
И взгляд тянулся к вышитым цветам
На скатерти, — да здравствует пустяк,
Под подозреньем он у дураков!
Ты, солнца луч, ко мне на пальцы ляг,
Приди, прильни, скользнул — и был таков.

Пленяла жизнь, давленью вопреки.
Сейчас, когда все, все разрешено,
Еще посмотрим, что нам смельчаки
Преподнесут, какое нам кино
Подарят... Помню фильм «Жил певчий дрозд»,
Насквозь прошитый музыкой ночной,
Тбилисский дом, грузинский длинный тост,
Борьбу во сне уснувшего с луной.

Моя любовь, тебя я не отдам,
Вас, дни мои, в аду не прокляну...
Никто, никто читать по вечерам
Нам не мешал, я жизнь свою одну
Не поделю ни на две, ни на три.
Волшебный смысл то вспыхивал, то гас,
И сад не зря шумел, держу пари,
И с полуслова понимали нас!

* * *

Потому что жизни нет без фальши,
Без тоски, без жгучего стыда,
Жить от самого себя подальше
Я хотел бы иногда,
Как от толстой этой генеральши
В кружевах, как на небе — звезда!

О, сиять, сиять с небес, уставясь
В темный лог, в дремучий бурелом!
А еще тщеславие! и зависть!
Со вторым, клянусь, я не знаком,
Как цветок, лелея завязь,
По ночам, за письменным столом.

Сладковатая забота
Отгоняет лень и сон.
Все же любишь ты меня за что-то —
Этим я с собою примирен.
Не без грусти жизнь, не без расчета,
Смех, и страх, и вырвавшийся стон.

* * *

Облаков на небе маленьких так много!
Мелких-мелких, в темном небе, в поздний час.
Из гостей мы. Что за странная тревога
На Суворовском охватывает нас?

Убыстряем шаг, зачем? Остановиться
Было б правильней, подумать, постоять...
Эта белая ночная вереница
Разве лучшим нашим мыслям не под стать?

Или трудно нам собрать свои волокна,
И в рассеяньe закончить легче день?
И собор покрашен в цвет какой-то блеклый,
И бесформенной толпой стоит сирень.

Как бы я себя ругал, как недоволен
Был бы я собой, когда б я шел один!
Ты спешишь — и я как будто приневолен.
Пусть плывут себе подобьем мелких льдин!

Так хорош он, этот мир, что не по силам
Нам... скорей, скорей домой, скорее лечь
Да, немыслящим; бездушным, да; бескрылым!
Счастье в том, что можно счастьем пренебречь.

* * *

Париж двусмысленный в двухбашенной красе
Как жить — не думает, живет себе — и весел!
Кружась, как белка в колесе,
Сорваться вдруг готов со стульев всех и кресел
И, дверь зеркальную толкнув, бежать... За кем?
Нам легкомыслия б занять чуть-чуть, хоть малость!
Я выпью что-нибудь, и съем,
И вдруг почувствую смертельную усталость.

За всех, оставшихся за тридевять земель,
Смотреть я должен в восхищенье
На Елисейские, в огнях, Поля; не хмель,
А горечь голову мне кружит, оскорбленье —
Вот что я чувствую, тоску, — не подходи,
Официант, ко мне с вопросом.
Я жил на привязи всю жизнь, я взаперти
Жил, я к декабрьским не привык помятым розам.

* * *

«Слава — это солнце мертвых».
Пыль на стоптанных ботфортах,
Смерти грубая печать.
Сыну почв сухих и твердых,
Корсиканцу лучше знать.

Смуглый, он-то в этом зное
Разбирался, как никто.
Припечет нас золотое
Лет примерно через сто.
Фивы рядом с нами, Троя.
Не похож ты на героя:
Шапка, зимнее пальто.

Не тянись, себя не мучь.
Что ж, любил,
любил я страстно
В нашей стуже из-за туч
Достававший нас нечасто
Изможденный, слабый луч.

Ненадежное мерцанье
Сквозь клубящийся туман —
Нам он был, как обещанье
Незакатных волн и стран.
Городские расстоянья,

Разбежавшиеся мысли...
А тому, кого при жизни
Он избаловал, тому
Будет холодно в отчизне
Той, как в зимний день в Крыму.

* * *

А ты, стремление к свободе,—
Подарок родины другой,
Во снах всплывающей, мерцающей в природе
За влажным пологом, за тающей рекой.
Однажды плыл я так на тихом пароходе
В лугах петляющей, туманною Окой.

Казалось, не было ни лжи, ни принужденья,
Ни разоренных деревень.
Еще свобода нам порой в стихотворенье
Приоткрывается, но вдруг находит тень—
Какое-нибудь столкновенье
Слов неудачное, и мысли спад, и лень.

Не научиться ей—врожденный дар, подарок.
Неточно выразился в первой я строке:
Нет, не стремленье к ней, а сразу, без помарок,
Ее явленье налегке
Подобьем радужных, вдали дрожащих арок.
Она не в тяжести—во вздохе, в пустяке!

В сердцебиении; ей вербы служат, грозы,
И Моцарт, связанный контрактом по рукам,
Высокомерия и позы,
Как дождь, не знающий, естественен и прям.
Упершись в бедные колхозы
Концами, выгнутый вставал навстречу храм.

Свободолюбие тут ни при чем—другое
В виду имеется, и вовсе не борьба,
А радость, чувство дорогое
Того, что вот душа—не тяжесть, не раба.
Пылай же, радуга, и влажный под рукою
Стынь, поручень, дыми, труба!

Дмитрий ХОЛЕНДРО

Совет да любовь

УВЫ, НЕ СКАЗКА

В этот дом, отхвативший угол приморской набережной, она приходила для того, чтобы посмотреть на жизнь. Занимала свободное место где-нибудь у стенки, чем дальше, тем лучше, больше видно — это ее единственная и к тому же немая просьба ко всему и ко всем, она не требовательна. Садилась и наблюдала, как люди сгибались над длинными столами — одни с угрюмыми, другие с веселыми и даже лукавыми лицами, порой готовыми поделиться улыбками с самими собой, строчили письма, скорые, летучие и задумчивые, деловые и шутливые, разные, и почти бегом или, наоборот, неспешно несли их к огромным почтовым ящикам, тяжело стоявшим прямо на полу, как терпеливые гардеробы жизни.

А там кто-то сдавал телеграммы, кто-то томился в очереди за получением денег и еще кто-то, нервничая, тянул свой паспорт; нет ли наконец письмеца или хоть открыточки до востребования? Сама она не писала и ответов не ждала — некому и не от кого.

До походов сюда, на почтамт, принадлежавший всем на свете, а не только жителям города, она обычно проводила время на далекой, как забытой, скамейке у моря, и ее устраивало, что скамейка пустая и море в эту почти уже зимнюю пору пустое, и она чувствовала себя вовсе не одинокой, а невыдуманно одной перед скорее темным, чем синим морем, перед небом, заваленным если не тучами, то облаками с таким пухлым избытком, что ни щелки не оставалось для солнца, и перед деревьями, в глубине которых из-за боязни пусть короткой, но все равно неотвратимой стужи тихо прятались птицы, будто их и не было.

Ее стужи были длиннее и глубже, чем у этих птиц, пока не выморозили жизнь, и стало понятно, одиночество — это чувство, при котором всегда есть надежда, что завтра, послезавтра, когда-то встретится кто-то и все радостно переменится и пройдет, а одна на всем белом свете, ты отдельно и белый свет отдельно,— это не чувство, а непоправимое состояние: одна.

Но в жизни невольно остаются ее законы, например, закон привязанности. Она привыкла к той скамейке и не спеша ходила бы к ней, как другие к своему почтовому ящику, если бы там вдруг не возник еще один обитатель, пожилой рыцарь с тоненькой прослоечкой седых волос на голове, проще — сухощавый старикашка, который, естественно, жаждал разговоров, но до поры выносливо не пытался заговорить, а встречал ее кивком и сидел рядом, пока она не уйдет.

Тогда-то, под обложным дождем, она заглянула на почтамт, и ей открылся мир тамошней жизни. Про себя она поблагодарила старикашку и забыла о нем. Новая жизнь, кроме всего, отвлекала от воспоминаний, которых страшишься,— одной легче. Но она все помнила, будто прошлое было не сто лет назад, а вчера, доведись — могла бы рассказать о прожитом по минутам.

Ее мужем — да, она была замужем в те времена — легко ходил по земле рослый — еще чуть, и можно сказать, как Тухачевский, ну, очень вытянутый и тоже военный, да не просто, а заместитель командующего особым округом генерал Турьев, это для всех, а для нее — Леня. Пост и звание подчеркивали, как он завидно молод — двадцать семь, а она на целых пять лет была моложе его. И ходил он по комнатам и улицам легко не потому, что его носили

так долгие и сильные ноги, а потому, что сам был легким на подъем, на жизнь, внутренне быстрым.

Как-то кормила она его обыкновенным обедом, щами и кавардаком — кусочками мяса и картошки, и спросила:

— Чему ты улыбаешься?

— Тому, до чего я счастливый. Через полтора месяца жена подарит мне сына или дочь. Сейчас я ее поцелую.

— Ты считаешь дни? — спросила она, когда Леня снова уселся.

— Помню, Катя.

В тот же вечер его вызвали в Москву, где уже зажился сам командующий округом. Перед отлетом Леня признался ей, что его это не на шутку тревожит...

— Что? — испугалась она, уставясь на него неверящими глазами.— То улыбался, а стал мрачный.

Вокруг чаще, чем всегда, и открытей говорили о близкой войне, он не сомневался, что из-за этой нарастающей угрозы его так срочно вызывали в Москву вслед за командующим, но она, Катя, не хотела верить, и все.

— Ну, улыбнись!

Он пригладил ладонями густые русые волосы перед тем, как надеть фуражку, а она повисла на его руке, проводила донизу не в лифте, а по крутой лестнице, и на ступеньках они, как подростки, останавливались и целовались, словно бы прощаясь навсегда, хотя еще никому из них это не приходило в голову. Ночью он сообщил по телефону, что благополучно долетел и чудесно устроен в гостинице.

— Целую!

Это было последнее слово Лени, услышанное ею самой. Три дня он ей не звонил... Ну, занят, не до этого. Она сама заказала среди ночи номер телефона, узнав от дежурного администратора, какой... Без ответа! И она, Катя, тут же бросилась кидать в чемодан кофту, плащ, туфли на низком каблуке... Живот ее прыгал... Она мучительно летела; в гостинице, носившей имя столицы, коротко сказали, что Турьев вчера выбыл. Куда? Если домой, прикинула она, позвонил бы. И решила переночевать, чтобы утром навести справки — где? Где-то... В гостинице для нее не нашлось пристанища, но в те поры не выгоняли на улицу ни снизу, ни с этажных площадок, считалось, что людям где-то нужно прижать голову если не к подушке, так к стене. Ночью ее кто-то тронул за плечо, она тут же очнулась. Перед ней замер длиннобородый служащий в допотопной форме с золотой отделкой, как один из недобитков старого режима.

— Ты кто?

— Турьева... Екатерина.

— Не выдумываешь?

— Зачем?

— А доказательства?

— Вот паспорт,— протянула она.

— Паспорт — грош цена, бумажка!

— Еще его ребенок во мне. Вовсе не годится?

— Так это твой муж был, молодой генерал?

— Вы его видели? — И она подалась к золотому человеку.

— Ладный был, от пят до маковки. Какой уж там,— золотой человек стукнул себя в грудь,— не знаю, но ладный был.

— Почему — был, был?

— Увели его вчера ночью. Я тебе, горюшко, ничего не говорил, но увели.

— Как так — увели? Куда? — Она вцепилась в его руку.

— Отпусти и слушай, а то перестану. Чего себя подвергать? Из-за колонны видел. Увели, как запросто уводят врагов народа.

В те дни разрастались слухи о репрессиях среди военных. Сказано ведь, молодое государство не может обойтись без врагов. Конечно, но при чем тут Леня?

— Какой же он враг?

— Иначе,— тут длиннющая борода сильно отшатнулась, покривилась,— не уводят. А чей он друг — немецкий или французский, сами распределят.

Она стиснулась, словно скомкалась враз, это помогло ей бережней удерживать золотого человека и спросить разумней:

— Куда пойти, чтоб узнать хоть что-то?

— Другой вопрос. Близко. Известная площадь. Но не тот самый дом, а улица сбоку...

Сколько она ходила на ту улочку — не счесть. Измаялась, губы искусала от боли то в животе, то в ногах, то везде сразу. Все стояла в очереди, и, если по два раза в день, жизнь обретала как бы двойной смысл. Правда, обращаться с ней начинали резче, отвечали односложно или, совсем не отвечая, подзывали следующего. О муже, кроме того, что да, он взят, не узнала ни слова, привыкая к тому, что люди, с которыми столкнулась, выглядели одинаково, мельтешили в глазах вроде отштампованных пуговиц. Так считала, пока не поняла, что ошибается. Проходя мимо очереди, какой-то старший лейтенант поманил ее, Катю, пальцем.

— Опять тут? Ничего не услышите. Работают.

— А мне что делать?

— Рожать.

Ова закивала грустно и горестно.

— Это жизнь,— сказал он, уходя.

Чуть не кинулась следом, чтоб вымолить хоть слово еще: уж если ты такой, скажи. Но поняла, что больше он не в силах сказать ей. На улице заметила, что облетел тополиный пух. Накрапывает промозглый, хуже осеннего, дождь. В полночь купила билет на вокзале, где теперь ночевала, не ходила ни к кому из знакомых, оберегая от неприятностей, поднялась в вагон и уехала без копейки в кармане...

Дома ее встретила Ляля.

Домработницу солидно звали Еленой, но сызмала к ней пристало и не отрывалось Ляля, а в этом имени было и что-то нескрываемо-свое, и безотказно-легкое, четыре буквы, по две одинаковых, и прирожденно-доброе, ненавязываемое, хочешь — называй, а хочешь — нет, твоя воля. Домработницу она взяла с позволения Лени, продолжая работать младшим бухгалтером в облторге, молодой работать интересно, не сиделось дома, когда все работали. Познакомилась с будущим мужем нечаянно, на киносеансе в Доме Красной Армии, счастье выпало сесть рядом, и он, молодой человек в гражданском костюме, не откладывая, пригласил ее на другой фильм. А ведь могла не прийти в армейский Дом, что-то еще было на уме, поддалась уговорам подружки, о чем не жалела, особенно сейчас,— как же было сейчас оставить Леню одного?

На две эти страшные недели Ляля ездила в отпуск, в родной городок по соседству, попросилась, когда Леня еще был дома. А теперь могла и не вернуться. Слухи до сих пор сочились во все стороны не только об аресте Лени, но и самого командующего. Однако Ляля вернулась.

— Катерина Сергеевна! Катенька!

Они уткнулись лицами друг другу в плечи, а выпрямившись, Ляля без поблажек заругала ее:

— Да что это вы, совсем голову потеряли? С генералом горе, ох, и не верится, но ребенок-то выше всех. Генерал сейчас он. А вы? Забыли?

— Не забыла. Надеюсь, Ляля, все будет хорошо!

— А силы?

— Ляля! Я крепкая, крепкая, понимаете, крепкая!

Она повторяла, еще не зная, сколько вынесет. Конечно, молодость выручала. И неиссякаемая вера, что все исправится. Ведь закричал на свете здоровенький мальчик, а через три месяца он уже улыбался — весь в отца. У нее, правда, вдруг пропало молоко, но тем скорее она опять покатила в столицу, на ту улочку, договорившись с Лялей, та и денег дала, сколько было, как родная. И как-то из единственной двери в этом коридоре, где тянулась замершая, необозримая очередь, ее позвали. Она шагнула за дверь, а оттуда уже не вышла.

Просилась в тот самый лагерь, где Леня, и ей сказали: «Еще бы!», но доставили в другой, где его и не бывало. За что так? Она не спрашивала, боясь расшевелить интерес к ребенку. Сказала — отдала незнакомой, и это вроде бы не вызвало беспокойства. В лагере страдала долго, то среди несметных снегов, то злющих коряг на лесоповале, зимой и летом. Прежняя жизнь начинала забываться, будто ничего другого, кроме этих коряг, на земле нет и везде люди ломают руки и ноги, как она. Все вспомнилось, когда и сюда вести о войне, бескрылые, но долетели.

На клочках бумаги, доставаемых за еду, она корябала буквы и умоляла,

чтобы ее послали на фронт — бойцом, если подучат стрелять, медсестрой — выносить раненых с поля боя, санитаркой в госпиталь, спать не будет, все вытерпит, справится... Как-то, улучив секунду, спросила у охранника, когда ее отправят, и услышала:

— Никогда.

— Почему? — завопила. Ведь под пули просилась, не куда-нибудь.

— Вона чего,— отозвался он,— жен расстрелянных отправлять на фронт, эка!

Выругался, и отошел, и оглянулся, механически или чтоб еще какое словцо прибавить, обшарил снежное раздолье сивыми глазами, не разглядел ее и вернулся. Она, Катя, пластом растянулась без памяти, провалившись в снежной белизне. Неожиданно он стал тормошить, даже растирать ее, приводить в себя.

— Ты что, первый раз услышала, не знала? А тебя у нас все иначе и не зовут никак: расстрелянная.

— Кто все?

— Свои ребятушки.

После войны ее сослали в какую-то казахстанскую даль, считалось, на вольную жизнь. И правда, волей потянуло от работы, пусть как бы не своими руками, покрытыми чужеродными мозолями в грубой луковой шелухе, она срывала огурцы и помидоры, а то и вовсе — абрикосы и груши. Сказка началась и не кончалась, но не в этом было главное. А в том, что Ляля откликнулась. Получив право на переписку, она, Катя, постаралась понятней вывести строк пять-шесть и вместе со своим новым адресом послала в тот самый городок, куда Ляля ездила в отпуск, где жили Лялины родители. Оттуда прибыл безбоязненный ответ, а вскоре и письмо самой Ляли с первым словом: «Катенька!»

Выселенная из квартиры Турьева, Ляля перебралась жить в южный приморский город. Море там грозно называлось Черным, но Ляля писала, что оно синее насквозь. Радостное было письмо. «Просите отпуск, дать могут, поправитесь сами и поглядите на моего мальчика, ему уже десять».

Мальчик встретил ее пугливо, жался к Ляле, как махонький, вдавливался в нее.

— Что ж ты так, Алешенька? Это ж твоя настоящая мама.

— Нет! — топнув ногой, в голос крикнул мальчик, большеглазый, а глаза-то светло-серые, и нос с пупочкой под ноздрями, и ямочки на округлых щеках, как две капли — Леня, вот оно — главное счастье-то!

— Не выдумывайте! — кричал Алешенька.— Ты моя мама Ляля, ты, ты, ты!

И все топал ногой, пробивая пол. Она, Катя, растерянно повела глазами, будто в море без берега и без спасательного круга, и даже упрекнула, но с улыбкой:

— Ляля! Сразу!

— Так верилось, кровь сама себе скажет,— ответила Ляля, тоже улыбаясь.

Хотя и у нее, Кати, не было другой надежды, кровь сама себе ничего не говорила, и мальчик Алеша отдалялся, а конец отпуска приближался. И текли бесшумные слезы да текли. За кухонной работой, за готовкой, когда она, Катя, стряпала мальчику что-то повкуснее, фаршировала провернутым мясом помидоры, поджаривала кефаль или воскрешала другое блюдо, забытое напрочь, Ляля вдруг спросила ее:

— А куда вам торопиться?

— Как?!

— Мой Петя уверяет, сейчас за этим не очень следят.

— Какой Петя?

— Знакомый. Участковый наш.

— Почему не следят?

— Себя жалеют. Устали. Тоже люди.

— А паспорт? Я же там не прописанная, а приписанная. У меня весь паспорт в отметках.

— Чепуха! Петя новый паспорт сделает.

— За большие деньги? Откуда ж я...

— Да нет,— перебила Ляля и засмеялась.— Какие деньги? Он хороший.

Человеческий человек. Партизан. Во время войны от голода спасал, заносил крупу, а то и мясо в банке, трофейное.

— Кому?

— Мне с Алешенькой. И жене... Сначала они вместе были в лесу, в горах. А потом ее ранило. Да сильно. Бомба взорвалась с самолета. Без ноги оставила... Да что там — без ноги! Без обоих глаз, вот... Сам он до войны был спасатель, на море работал, а сейчас — старший сержант милиции.

— У вас старое знакомство, Ляля?

Ляля кивнула, и сердце сдавилось, не в первый раз подумалось, что должна же быть у Ляли своя жизнь.

— Любовь?

Ляля кивнула.

— Сейчас-то я запретила, а до войны он что ни день собирался ко мне, жена у него поскандаливала, верно, от тоски, от бездетности, а он о детях мечтал, в моего Алешку без памяти втюрился... Я ж Алешеньку в свой паспорт записала и фамилию свою дала — Белоручко. Боялась, отберут, как ребенка... этих, ну...

Она, Катя, медленно, но согласно покачала головой.

— Могли.

— Вот не знала, как сказать вам, а вот сказала... Давайте паспорт.

Ляля поступила с паспортом незатейливо — положила в карман ситцевого халата, обрисованного ромашками, и долго стирала в мыльной пене. Могла увлеченная купальщица забыть про документ в кармане? Та самая страница и вылиняла дочиста, и растрепалась.

— Еще сотенка штрафу, и новый паспорт в сумочке... А фамилие у Пети — Карась. Смешно?

Сумочки у нее, Кати, не было, а новый паспорт появился. Из-за растрепанности старого вместо Турьевой написали Турова. И она поступила работать бухгалтером в крупнейший на южном берегу винкомбинат с длинными подвалами, уставленными по скалистым стенам бочками на боку, да какими, покрупнее изрядного грузовика, то с кранами, облитыми сургучом, то с этикетками из болтающихся на шпагате фанерок, на которых подвижные старички, в основном с бородками клинышком, читали и переводили любопытным экскурсантам интригующие названия, вроде «Педро сальварес».

Да, в подвалы привозили экскурсии с утра до вечера, место, как она сразу догадалась, слыло экзотическим, но не это манило ее, а то, что, став обыкновенным бухгалтером, она вернулась к прежней работе или прежняя работа вернулась к ней. Впервые она робко подумала о себе и кинула на счетах — ей шел тридцать третий год. Она покруче приподняла счеты и спустила все кругляшки по спицам набок — забыть, не обращать внимания...

Мужчину, не такого высокого, как Леня, но тоже рослого, заметно выше ее и всем видом, неухоженным, чего она не любила, а от природы ладным, как говорил тот золотой человек в гостинице, она увидела под деревьями у выхода из парка комбината после рабочего дня. Тут всюду перла в глаза экзотика, и симпатичный мужчина маялся между двумя кипарисами, притиснувшимися друг к другу вплотную, и магнолией, зеленый шар которой с разных сторон набух белыми цветами, а заодно их головокружительным запахом.

— Здравствуйте,— сказал ей мужчина.

— Вы кого-то ждете? — вопросом ответила она.

— Вас.

— Мы знакомы?

— Нет, но я вас видел.

— Где?

— В конторе. Приезжал вчера по делам, ждал, когда вы поднимете на меня глаза, но... так и не дождался. Вы усердно работали, Екатерина Сергеевна.

— Уже знаете, как зовут меня. От кого?

— От вашего главного.

— А сами вы кто?

— Ваш коллега из горфо.

— Начальник.

— Да не в этом дело.

— А в чем?

— Меня зовут Валерий Максимович Андрианов. Можно просто Валерий. Познакомились?

Они бродили с Валерой месяца два, и первый раз он поцеловал ее руку почти у дома, на углу улицы, она все время по инерции сохраняла это оберегающее «почти». А безотчетно целоваться начали на окраине приморского парка, перепутанного витыми тропками под корнями, как лес. И всем начала командовать жизнь, своевольно тащащая свои радости и печали до поры до времени. Она не стояла на месте. Вдруг погиб от руки пьяного бандита Петя Карась, не убитый на войне фашистами. Ляля изрыдалась за два дня, а затихнув, сказала по извечной готовности своей души:

— Слезами горю не поможешь.— И пошла кормить невидящую одноножку, как с лаской назвала ее.

Там была одна комната, тут — маленьких, но две, сейчас — ее, Катина, и Алешина, уже давно ставшая из угла для ребенка углом для школьника. Мамой он не называл родную маму еще ни разу, но уже ел с ней, поджидая, если приходилось, и ее просил разбирать постель. Ляля, забегая, облегченно вздыхала:

— Ну, вот... Авось все утрясется.

Для него, для Алеши, и Петя Карась старался, оставлял здесь его маму.

И ей самой, Кате, казалось, что жизнь, десять лет назад перевернувшаяся вниз головой, встала на ноги и зашагала к благим переменам. Валера в ее глазах был открытым и порядочным. Правда, спрашивал с мягкой усмешкой:

— Когда же ты позовешь меня? Чего ж боишься?

Чуть не сказала: «Сына», он-то был для нее важнее всех, видно, потому и удержалась, сослалась на мальчика соседки Елены Белоручко, которая ночует у больной подруги. Успокаивала, однако:

— Скоро позову...

Ему было под сорок, ей меньше, но оба не дети... Ночью, когда, наконец, пустила его под «свою» крышу, у них развязались откровения. Сразу, как и полагается мужчине, Валера признался, что у него — семилетняя дочка.

— А сына мы себе родим сами. Завтра же пойдем и распишемся.

— Ты воевал?

— Еще бы!

Ранили. Без сознания стыл на снегу и очнулся в плену. После войны из западной зоны уехал, думал, домой, а привезли в лагерь для проверки — еще на два года. Когда выпустили, как был, в рваном ватнике помчался домой, но жена уже развелась с ним, с лагерниками это легче легкого, стал сражаться за девочку, не отсудил, куда ему. Дочка на суде мать обнимала, а его боялась, зато другого, пригретого женой, называла папой.

Опять в рваном ватнике обзавелся билетом подальше, на сколько денег хватило, случайно услышал, что здесь без пальто зимуют. И работа досталась — не пожалуешься, и ее, Катю, встретил...

Так тронул этот рассказ, что она решила тоже всем поделиться. Да как же иначе, если завтра расписываться? И поведала обо всем, кроме сына: освободится от благозвучной, но чужой фамилии и прибавит мальчика к Лене, расстрелянному, она уверена, ни за что ни про что, ей ведь так и не сказали ни слова о его враждебной деятельности. О своем лагере тоже рассказала. О ссылке, о паспорте, где она Турова, а не Турьева. А на остальное — до утра времени не хватит...

Валера ушел перед утром, сказав, что не хочет попадаться на глаза мальчику, и не забыв поцеловать крепко.

— Платье понарядней надень, родная.

А скоро за ней прикатила наглухо закрытая, как гроб на колесах, машина. Дали большой срок и опять — в концлагерь, на лесоповал. Она выдержала столько, что Алеше исполнилось целых двадцать. А отпустили — вернулась сюда, ни о ком ничего не зная. Здесь получила бумагу о полной реабилитации генерала Турьева, не виноватого ни в каких грехах. И опять — новый паспорт, где ее записали верно, под фамилией мужа, Турьевой. И квартиру ей вернули...

А Ляли уже не было, инфаркт за инфарктом, настрадалась по доброй воле. И сыну она, Катя, разразилась длиннейшим письмом об отце, а что еще было делать? Умоляла третьекурсника МГУ, взрослого, образованного, начитанного и наслышанного, способного все понять, довериться матери и этим, только этим помочь ей. Днями и ночами писала, не отрываясь, не раз переписывала, пока, устав, точно вагон дров переколола, не отправила письмо заказным — адрес Ляля, спасибо ей, оставить не забыла.

Ответ получила скоро, написанный мелким, косым почерком, на полстраницы, не больше.

«Дорогая Екатерина Сергеевна!

Благодарю за трогательные слова, но к чему столько неправды? Моя мать — Елена Ивавовна Белоручко, у которой я и в паспорте записан был, известная партизанская разведчица, о чем можете справиться в краеведческом музее в областном центре и даже посмотреть ее фото. Того отца, о котором вы сообщаете, я не видел в глаза и не жалею. По Вашим словам, в известное время он был репрессирован как враг народа и расстрелян якобы безвинно. Но все равно мне это неприятно. Зачем мне это надо? Готов считать своим отцом Петра Карася, которого я знал и любил. Или кого угодно, если погибшего, то лучше на фронте. И оставьте меня в покое во избежание неприятностей. Я Вас не пугаю, дорогая Екатерина Сергеевна, а искренне прошу. Мое правило — самому искать свою дорогу в жизни, и не мешайте.

P. S. Еще Вы пишете, что у меня сохранились права на квартирку. Заставили даже улыбнуться. Никакой квартирки мне не нужно и никаких прав, простите, тоже. Я днями женюсь. Невеста — позавидовать, у ее родителей квартира — на том же уровне. Все, по-моему, ясно. Прощайте. А.»

Она смотрела часами на эту букву и без конца перечитывала письмо, хотя сразу уловила одну больную, крошечную, но действительно ясную ноту. «Дорогая» в начале и заключительное «Прощайте». Он хотел прикоснуться к ней, но боялся. Чего? Неведомого. И Валерий Максимович боялся. Чего? Всего. Оттого и выдал ее на всякий случай, в чем убедили первые же вопросы тех, кто допрашивал, вытащив из гроба на колесах.

Вернувшись сюда через много лет, после собственной, тоже полной реабилитации она, которой все же не хотелось верить в предательство сердечного друга, узнала в горфо, что Андрианов уволился и умчался отсюда неизвестно куда в тот же день... Бежал от воспоминаний... Нет, не преувеличивай, родная... От страха. Перед чем?

Люди начинали бояться без оправданий и поэтому поступали бесчеловечно, не продумывая всего до дна.

Сыну она написала еще раз, предлагая воспользоваться квартирой, если они с женой захотят навестить могилу мамы Ляли. Ответа не пришло.

И она начала бояться. Чего? Знакомиться с людьми, общаться с ними, предпочитая затворничество. Можно было только смотреть и молчать. Для этого она облюбовала почтамт, чтобы как-то жить. И вдруг она увидела там, на почтамте, такое, что захотелось зажмуриться. Ей кланялся и улыбался старикашка с той далекой, как забытой, скамейки.

Она вскочила и выбежала — так ей хотелось думать. И поплелась в своей затрепанной, рассыпающейся шубейке к той далекой скамье у моря, уверенная, что она пустая. Но когда добрела сюда, увидела, что старикашка сидит на скамейке и опять осторожно улыбается. Обессиленная, она присела рядом, скамейка была одна.

— Я знал, что вы придете,— сказал он.

— Почему?

— Люди не могут жить в одиночку.

— А я не знаю, как жить с людьми.

— Расскажите, что с вами случилось. Станет легче.

— Тяжелее.

— Я умею слушать и молчать.

И опустил голову в мятой кроличьей шапке, ожидая ее исповеди, а она вместо этого закричала:

— Меня нет! Понимаете, меня нет! Меня нет!

●

М. ПРИШВИН

1931—1932 годы

1931 год

1 января. Лева[1] съездил утром в Москву и наконец привез желанную «Лейку» с тремя объективами[2].

Ведь даже ремень от футляра, тот самый ремень, который из русской кожи,— чуть к нему дотронешься и чувствуешь по мягкости культурно выделанной кожи, что непременно в состав рабочих ценностей создавшего этот ремень входит и заповедь далеких от нас поколений: чти отца твоего и матерь твою. И, конечно, уж ремень этот сделан на большой современной фабрике, но рабочий, который сидел над ним, потомок ремесленников таких же, как наши кустари, и когда до его быта дошла разрушающая ремесленный быт сила крупной индустрии, то и сам он, теперешний рабочий, унаследовал от отцов любовь к труду ремесленника, способность ремесленника все условия принимать близко к сердцу, отчего в крупной промышленности, ему чужой, он работает не совсем как чужой.

Америку начинали тоже не безродные люди.

Итак, вопрос: семья или колхоз?

4 января. Много всего говорится между нами, и большую часть сказанного мы ни за что считаем, но если завести канцелярию с секретарем и машинисткой, то довольно двух простых болтунов, чтобы канцелярии было дел по горло... (Хорошо сказать на суде или в ГПУ на допросе).

8 января. Вчера было тепло, но весь день мело: ни зги. Сегодня в предрассветный час южный ветерок, легкий, как дыхание, баловался с дымом соседа. Вероятно, опять понесет.

Решил Леву командировать в Ленгиз. Денежные дела, видимо, скоро наладим. А тоска грызет неустанно, просто замираю в тоске.

Вычитал у Фабра[3], что он делает свои метеорологические наблюдения, избегая инструментов. Фабр, видимо, недаром смотрел всю жизнь на жуков и ос, от них он, видимо, получил бережное отношение к инстинкту: действительно, зачем термометр, если для своих опытов достаточно узнать холод и тепло «по себе». Совершенно так же, как очки, ведь только в крайнем случае мы их надеваем. При пользовании инструментом мы обыкновенно приучаемся не «обращать внимания» на непосредственное воздействие среды, утрачиваем корректив «по себе», и вот начало той страшной силы, которую называют по-разному, то схоластикой, то бюрократизмом, то автоматизмом и т. п.

11 января. Сборы в Свердловск[4].

13 января. Начались письма, восхваляющие мою статью «Нижнее чутье». Да, по-видимому, вся сила моего творчества этого лит. сезона нужна была для того, чтобы дать эту статью. В будущем для понимания этой статьи нужны будут большие комментарии. Теперь она является в очень понятном окружении[5].

16 января. В Свердловск едем около 21-го.

Итак, я тоже «ударник», тоже закрепился... поставлять свое производство

Продолжение. Начало см. «Октябрь», 1989, № 7.

в количестве (столько-то печ. листов). О качестве не может быть у нас и разговора, потому что качество вещей связано с личностью.

17 января. Барометр упал ниже «бури», метель, пурга.

Иду вечером, слышу, какая-то старушка стонет. Кому нужна она? Ведь в ее-то положении возможна только от родных помощь. Если же социализм, то «родство» это должно распространяться на всех (и так у наших дореволюционных социалистов и было: разрывалось кровное родство, и на место его вступало человечество). Теперь «человечество» и «родство» взяты в принцип, и раз так, то, конечно же, моей старушке надо идти не к родственникам, а к «начальству». Так вот и обездушивается вся страна как бы принципиально.

Возможно, такое страшное (и, кажется, ненужное) разрушение имеет значение «сжигания кораблей». А, впрочем, разве можно что-нибудь понять в этом стремительном падении «жизни» и материализации «принципа» (вернее, военизации).

18 января. Лева в Москве собирает экспедицию нашу в Свердловск.

Размножение человека, государство и крупная промышленность — это на одной стороне; личность человека, общество и творчество — это на другой.

Размножение — государство — производство — цивилизация.

Личность — общество — творчество — культура.

Левин «брак» по заявлению, абсолютно циничный в отношении установленных форм, не этим цинизмом оттолкнул Павловну[6], а тем только, что это «не пара»[7]. Вот эта легкость, с которой у нас в русском народе сбрасывается «форма» и вещь рассматривается по существу (пара или не пара?), нечто действительно ценное в революции: как будто мы подходим с открытыми глазами к существу вещей...

...И вот еще сверкает игрушка — Европа — на весь мир своей культурностью, затянутая в сюртуки, украшенная белыми воротниками и манжетами.

А там, на востоке...

«Поневоле соглашаешься» — есть такое выражение, когда хотят сказать, что какие-то события выросли как бы вне нас, предстали нам как факты и заставили с ними согласиться. Так вот, сопротивляясь насилию революции, «поневоле соглашаешься» и «приходишь к убеждению» во многом таком, чему непременно бы сопротивлялся вначале.

Сегодня на рассвете я молился о продлении людям радости на земле (посредством приобщения их к творчеству жизни).

Наша революция родилась в недрах великой мировой войны, загоревшейся в сердце Европы, и является как бы мостом к новой войне, которая даст, наконец, смысл той великой войне. Правда, как-то после краха христианской культуры стало бессмысленно жить. И вот эта необходимость продолжать эту войну и привести жизнь современную к относительной ясности и прочности является единственным смыслом нашего мрачного, жестокого существования. И вот, что если и в этом тоже мы действуем лишь «под предлогом» (сознательно или бессознательно), а на самом деле весь спор лишь в том, чтобы тем или иным путем (как Америка или как колонии) одна шестая часть земного шара присоединилась, как агент, к современной цивилизации?

19 января. Тепло стоит, только не тает. Ходил с N[8] на Вифанский пруд. Этот молодой человек был воспитателем в детдоме. Начал с того, что составил из ребят свою партию, а потом и всех подчинил: заставил, например, умываться. Откуда взят прием, из деревни (родовые группы или из партии РКП, или же это правило всякой общественной деятельности)? Новое тут — только чрезвычайно раннее постижение этого коварного закона господства. Вспоминая Петин[9] опыт, полагаю, что тут все три фактора: 1) деревня, 2) школа, 3) пример комсомола.

N говорил, что у него будущего нет: «Какое будущее, если с каждым го-

дом уровень развития учащихся все ниже н ниже?» «А комсомольцы?» — спросил я. «Те,— ответил он,— знают только «я» да «я», у них ведь «делячество».

20 января. Вечером приехал Лева, деньги получены от «Достижений», и 23-го мы едем в Свердловск искать достижения.

21 января. «Крестьянский писатель» Каманин[10] рассказывал о тех чудовищных антихудожественных требованиях, которые применяются к крестьянским писателям,— что, например, «аксаковщина» (вероятно, понимаемая как созерцание природы) является преступлением. С другой стороны, легко и дурачить «начальство»: против аксаковщины, например, довольно было сказать, что ведь Аксаков убивал дупелей и ел их, значит, не был только созерцателем. Вся эта эстетическая принудиловка верней всего происходит по традиции от Чернышевского и других революционеров-марксистов вплоть до Ленина. Что-то вроде Спарты...

23 января выехали в Свердловск и вернулись 23 февраля. Целую неделю по возвращении хворал и отпечатал всю фотоработу.

6 марта. Ах, Толстой Алеша![11] Зачем он написал американским рабочим, что у нас нет принудительного труда? Надо бы написать, что есть такой и да, будет он, раз мы строим государство.

Процесс меньшевиков: воистину «и покори ему под нози всякого арага и супостата».

У нас в городе отбирают коров и в объяснение этого дают ответ: «Твердое задание». Отбирают у некоторых и единственную корову, конечно, сделав при этом мало-мальски приличный социальный соус, вроде того, что хозяйка продавала молоко. Несомненно, это ужасный удар и коварный! Ведь прокормить в эту зиму коров (10 р. пуд сена) — истинно геройский подвиг, и вот как раз в это время, когда определилось, что прокормим, ее отбирают. А в деревнях все время так. И эта другая сторона героической картины строительства.

Итак, если тебе получшеет, то знай, что, значит, кому-то похужело, вроде как бы отобрали корову у кого-нибудь... Ты можешь радоваться бытию при условии забвения ближнего, ты можешь, впрочем, жить идеей, то есть самозабвенным участием в творчестве будущего нового человека.

Через год будет лучше вот почему: тогда определится, что пятилетка удастся, и все множество людей станут продолжать ее добровольно.

Существует жестокость — это вышло из деревни, это жестокость физическая.

11 марта. Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет, правда, ведь и не с чем сравнить этот ужас, чтобы сознавать виденное. Только вот теперь, когда увидел в лесу, как растут на елках сосульки, вернулось ко мне понимание возможности обыкновенных и всем доступных радостей жизни и вместе с тем открылась перспектива на ужасный Урал.

12 марта. Оттепель. Метель.

Из деревни мужики исчезают, на производствах это уже не мужики. Где же эти миллионы? Кажется, верно сказать — мужики теперь самые настоящие только в вагонах.

На этих позициях строительства, как на обыкновенной войне, люди мало и все меньше и меньше смеются. Но нельзя это назвать и трагедией, потому что не «иная» жизнь, которой разрешается трагедия, является целью этой борьбы, а та же самая наша материально-мещанская, чисто земная, только с производством и распределением.

При чем тут искусство? Да, было время, когда нужно было искусство, и — мало художников! Была потребность в блаженных всякого рода, (людях) как бы абсолютно лично бескорыстных. В Доме ветеранов революции до сих пор жива милая старушка, которая 40 лет учила в деревне ребят...[12] (...) Это очень яркий пример, а менее ярких сколько угодно, все они сейчас, глубоко смущенные, кое-как существуют, встречаясь друг с другом, иронизируют над своим положением, говорят не «как поживаете?», а «как доживаете?».

Мне думается, эти обломки большого интеллигентского фронта против царизма должны чувствовать себя несколько обманутыми: кто-то что-то получил, они — ничего совсем тогда, при царизме, в этом царстве земном, ни в будущем, достигаемом небесном царстве, которое теперь достигнуто и стало тоже земным. Да, конечно, они обмануты. Когда-то был спрос на них, теперь нет.

То же самое с искусством. Не только Толстой, Достоевский, но ведь я, можно сказать, вчера написал «Кащееву цепь», а если бы не вчера, а сегодня подал ее,— никто бы печатать не стал. Та чудовищная пропасть, которую почувствовал я на Урале между собой и рабочими, была не в существе человеческом, а в преданности моей художественно-словесному делу, рабочим теперь совершенно не нужному...

Люди на Урале.

Курносая, стриженая выдвиженка, сирота, невинная перегибщица (колхозы), из неграмотных, теперь вечно читает.

Бородатый, седенький бывший лесопромышленник, ныне поставщик леса в Новосибирск. Вскрыл глубину, когда сказал, потянувшись: «Как хорошо наконец приехать домой!» Злой шутник сказал: «Так у вас есть свой домик?» Испугался: «Нет, какой там домик, так просто, к себе домой». «Не все ли равно, раз домой, значит, домик, вот вы поживите так, чтобы вам везде, на каждом месте был дом свой». Лесопромышленник, пугливо озираясь, вышел будто до ветру и не вернулся.

Военный ревизор. Из хорошей военной семьи. Служит правдой, как специалист, хотя сам вовсе не разделяет ком. идей. Таких очень много. И такие, наверное, немцы и американцы спецы. У них своя правда и своя неправда. Им противопоставляются «кухарки, управляющие государством».

Учитель-народник, лыс, неуклюж и до того привержен советской власти, что говорит всегда, как радио. Хорош, когда начинается общий спор. Он выступает.

Михаил Иванович, московский человек (из купцов), всегда весел, обходителен, с юмором, чай пьет с озлобленным человеком семейно, отлично умеет устроить, всем дает практические советы, все любят его.

Переведенный из Перми в Свердловск устроитель колхозов, гориллообразный, монголовидный, длинное туловище, галифе и валенки.

Иван Иванович (вероятно, приставленный ко мне агент), очень неглупый, вдумчивый, весь настроен, чтобы согласиться, тогда как все 75 ждут твоего слова, чтобы не согласиться.

Мрачный гэпэушник. Спор был из-за чая, почему членам съезда чай, а им нет.

Инженер, еврей, спит с логарифмической линейкой... все вычисляет и, вероятно, вычислит.

Директор Виса. До того прошел школу новой жизни и через это так поумнел, что как будто разговариваешь с вполне образованным, деловым человеком (генерал был, кажется).

Два журналиста: «Отталкивайтесь от Чехова и Щедрина».

Другой высокомерно: «Будет провинциально, надо идти от Артема Веселого с Пильняком».

Кавказский говорун (кровавая месть).

Клер — профессор, подобный Бутурлину[13], религиозно шел к безверию н на этом пути окаменел.

Рукавишников, завед. цехом,— общественное слагаемое.

Городков, зав. Машстроем. Был человек — какой-нибудь слесарь, внешне маленький человек, но в своем кругу замечательный, прямо железный человек по характеру и чрезвычайно правдивый. Теперь внешние границы маленького положения слесаря разбиты, он человек государственный, и личное его дости-

жение через это приобрело громадное значение. Их было, таких людей, много, незаметных, умных.

14 марта. Вместо церкви — кино.

В прежнем (церковном) строе жизни разделение людей было в материальном, в церкви же все эти люди, разделенные, соединялись, отсюда шло покаяние и т. п. Теперь, в кино-моторное время, материально люди представляют собой коммуну, но в тайно-духовном отношении каждый коммунист — как неразложимый атом. При уравнении пищи, одежды и вообще устранении из жизни индивидуальной роскоши, которая ранее была простодушным «счастьем» людей (наши купцы просто лопались от жратвы), вероятней всего, аппетит людей перейдет в область власти («каждая кухарка» и проч.) государственной: оратор вместо жреца, вместо воина — инженер.

28 марта. Ритм жизни (радость зачатия будущего и др.) сохранился теперь только в природе: ведь грач чувствует же себя как грач, и корова знает, что она корова, а человек — нет, он расчленен, и человек-кулак или человек-пролетарий — разные существа.

31 марта. Со мной что-то нехорошее делается. Если я встречаюсь с предметом, напоминающим мне всякое мое прошлое, от отдаленного времени до прошлого года, непременно он вызывает во мне что-то вроде психической тошноты, которую на слова перевести будет приблизительно так: «Все это напрасно ты делал». Мне думается, что это — совсем личное чувство. Напр., пень от срезанного мной на огороде дерева, и мне неприятно, конечно, потому, что я резал когда-то дерево, имея в виду сад развести... Пень в огороде является мне как бы памятником разбитой надежды. Тоже на корову неприятно смотреть и думать, что миллионы женщин и детей у крестьян, где корова как близкое человеческое существо, плачут теперь. Написанное мной я не только не перечитываю, но стараюсь вовсе не думать о нем и действительно не думаю. Я читал недавно детям с таким большим успехом, но внутри и даже от этого радости не было. Что это такое?..

Принципиальной милости у нас слишком много, и я как писатель (один из 150) очень даже обласкан, но я хотел бы милости, исходящей ко мне в силу родственного внимания. Точно так же, как для устройства детского дома вовсе не надо быть милостивым к детям, жалеть их или любить. Ты пожалей того ребенка, одного из миллионов, который плачет вместе с родителями, расставаясь со своей коровой. Кстати, и корову пожалей, видя, как она, уводимая чужими, оглядывается на своих дорогих хозяев. Вот нам этого лично-встречного промфинплана не хватает как воздуха. Я могу быть принципиальным последователем большевиков и отличным активным деятелем, но если я естественное, живое чувство жалости к ребенку, от которого уводят корову, буду заглушать радостью от соображения, что молоко этой коровы пойдет в детский дом, то я или обманываю себя, или совершаю подлог. Мы даже миримся с этим постоянным явлением, полагая, что поступающие так политики — люди нравственно бессознательные, что они просто не знают, что творят (и, может быть, не должны знать). Но если Максим Горький развивает теорию своего принципиального оптимизма, то, конечно же, он хитрит и унижает себя.

Иногда на Машинстрое я заражался этой психологией (что новая жизнь началась) и тогда в свете такого понимания видел ту старую психологию, которой жил я со времени юношеского перелома: т. е. что есть в человеке природа, которая преодолевается тысячелетиями, и то немного, а последнее преодоление — когда лев ляжет рядом с ягненком, и еще многое... Так вот и в Машинстрое мне было как бы возвращение к юности, когда верилось, что усилием воли можно все переменить и проч. Пожалуй, это важно: ведь все мальчишки делали и некультурные люди. Значит, не только сила самоутверждения (в государстве кухарка) и не только сила числа, а еще сила молодости, доверчивой к разуму.

3 апреля. Жестокость происходит от механизации жизни общества, которая явилась необходимой при огромных задачах нового государства. Получается, что как если бы мы из кустарной России вмиг переехали в страну, как Америка, по темпу, и еще гораздо больше, а душа наша ремесленная, мягкая, домашне-обидчивая, личная. Вследствие этого при вторжении автомата в личную жизнь каждый рабски приспособляется или «слушается», в паническом страхе готовый на все. Сейчас, впрочем, как и прошлый год, у мужика началась эпидемия самоубийства.

5 апреля.— Ну, Михаил Михайлович, справляем Николу Вешнего! Конечно, в колхоз не поступаем.

И это, несмотря на мои советы и длинное доказательство невозможности хозяйства вне колхоза. По-видимому, у них есть источники какого-то более убедительного знания. Я думаю, это знание идет от одной бабы к другой везде и всюду. Сейчас все бабы говорят об удавившейся семье в Харлампиевке. Очень возможно, под впечатлением этого самоубийства наросло раздражение против правительства с их колхозами. А между тем, видимо, эпидемия самоубийств разрастается.

Теперь все сводится к севу и урожаю: будет посеяно и собрано — так, нет — если голод,— все пропало. Воистину в руце Божией...

6 апреля. Распределитель № 1.

Это построей каст и классов (семга или вобла). Почему же? Потому что человек биологически расчленен. Вопросы демократии и коммунизма сводятся к обеспечению возможности для всякого индивидуума занять любое положение (от воблы до икры).

14 апреля. Последние конвульсии убитой деревни. Как ни больно за людей, но мало-помалу сам приходишь к убеждению в необходимости колхозного горнила. Единственный выход для трудящегося человека разделаться с развращенной беднотой, единственный способ честного отца унять своего бездельника сына, проигрывающего в карты его трудовую копейку.

18 апреля. Гигиеной теперь может быть только очень напряженная работа, а чуть покой — сейчас же начинает грызть тоска, не какая-нибудь романтическая, а прямо физическая, режущая...

В деревне беднота, которая с самого начала паразитировала на трудящихся, когда теперь дошло до вступления в колхоз, вдруг повернула фронт и оказывает бешеное сопротивление. Это и понятно: в колхозе надо работать. Идут в колхоз те, кто боится быть раскулаченным.

25 апреля. Три дня во гробе.

С 26—29 апреля: от заседания редколлегии в детском отделе до встречи с солнцем в Карбушинском парке.

Когда увидел этот свет и отлегло от души, то вдруг понятен стал птичий язык и дорог и, главное, понятно стало, что это не просто птицы, а люди, да, вот как это удивительно просто вышло: голоса птиц весенней порой — это голоса людей, наших предков...

1 мая. Как я живу? Живу, укрываясь делом, которое понять и разобрать до сих пор не могли; пожалуй, я даже и не укрывался. Я просто жил за счет своего таланта, меня талант выносил. Но теперь слышатся голоса: нам не нужно индивидуальных талантов и личных качеств, ведь таланты — как грибы — растут при дожде, будет дождь — будут грибы; так и нам нужен социальный дождь, а не заботы об отдельных писателях, будут созданы условия, а таланты вырастут сами.

Разве это не правда? Конечно, правда. Но я, занятый обязанностями в отношении своего таланта, не имею большой возможности определять социальную погоду; если я займусь погодой, а не романом своим — то что же это будет?

2 мая — провел в Дерюзине, где только что организован колхоз; церковь закрыта; в 1-й день Пасхи в деревне шли «раскулачки» — одних раскулачили, другие от страха быть раскулаченными бросились в колхоз, беднота не пошла (ей нечего бояться).

Так совершается пролетаризация деревни. Саня [14] говорил: «Вот вы шли сюда по своему желанию, а у меня теперь своего желания ни к чему нету, мне самому жить нельзя». А раскулачивают 18-летние мальчишки, которые ничего в человеческом деле не понимают.

Разные люди и разные деревни: есть люди, которые бросаются в петлю, есть, которые решаются бороться до голодной смерти, но не вступать в колхоз; но определяют поступки отнюдь не идеи, а состояние хозяйства данного лица, например, Егор не идет потому, что у него восемь работников (дети), а в колхозе будет два, он и жена.

4 месяца хлопот, расстройств — и наконец фининспектор сбавил налог. Сколько истрачено времени, чтобы доказать фининспектору необходимость в отношении писателя считаться со специальными узаконениями. Точно так же сколько творческого времени нужно потратить, чтобы оборониться от теорий творчества, создаваемых ежедневно людьми, никогда ничего не создавшими и претендующими на руководящую роль художественной литературой.

6 мая. Мания или реальность Кащеевой силы? Ну, как же не реальность. Вот, напр.: «Г. [15] на волоске». «Как?» «А разве не читали на «Лит. посту»? [16] Почти совсем разъяснен». Что значит «разъяснить» писателя? Значит это — прекратить его деятельность. Вроде как бы подкоп ведется под тебя,— разве это не страшно? Пора покончить с этой зависимостью от лит. заработка (кстати, ведь и бумаги нет). Буду переключаться на фотоработу и пенсию; буду иметь в виду поехать в экспедицию фотографом, а также изредка и печататься. Так стушевываются и замирают последние из могикан.

9 мая. На этом сходимся мы все — что европейско-американская культура количества (числа) и вместе с тем падение качества вещей, исчезновение надежды на глубокое счастье в творчестве — что все это нам не мило. Но вот мы, желая преодолеть то, догоняем материально Европу, чтобы этим материальным оружием уничтожить фетишизм производства и денег. Но, догоняя, мы заражаемся этим фетишизмом и отравляемся военщиной, стандартом, теряем из виду исходные пункты революции до полной потери всякого смысла.

И когда я говорю, что коллектив должен так же любовно относиться к машине, как ремесленник к своему инструменту, то на меня набрасываются за то, что я посмел взять сравнение из ремесленного мира, окончательно у нас запрещенного. Или когда я говорю против капитализма, Америки, начинают прославлять небоскребы и проч.

Во всех этих глупых возражениях, выходках таится забвение революции и простое стремление к скорейшему мещанскому счастью. Тем, наверно, все и кончится, если только не возгорится новая мировая война...

10 мая. Глупо и смешно обижаться на революцию, и это ведь не легко: обижен, а обижаться нельзя. Но в конце концов тебе-то после обиды хотя сознание остается, расширяемое все больше и больше в опыте. А тем, кто обижает, ничего не достается, действуют и проходят, совершенно не понимая, что творят.

14 мая. Получается теперь так, что все, кто когда-то словом или делом стоял за революцию, теперь как бы получают возмездие: Ленин был наказан безумием и потом мавзолеем, Троцкий сослан, и так все — вплоть до нас. Новая жизнь начнется, вероятно, когда все имущие память о прошлом вымрут,— вот уж воистину «жизнь за царя».

Сегодня Горький приехал, встречают, как царя. В «Правде» поместили этот портрет под Сталина — вот до чего! [17]

16 мая. Горький до того теперь высоко поставлен в государстве, что далеко выходит за пределы писательской славы, и к нему теперь относятся прямо как к победителю, которого не судят.

Дорога к власти — это именно и есть тот самый путь в ад, устланный благими намерениями. Надо понимать еще так это, что благие намерения лежат лишь в начале пути, а дальше никакие приманки не нужны: дальше движет взвинченное достоинство и постоянно возбуждаемое самолюбие; до того доходит, что самолюбие носителя власти материализуется, и, напр., офицер старой императорской армии чувствовал себя смертельно оскорбленным, если кто-либо касался его эполет. Почему так и противно теперь жить, что это самовластолюбие есть движущая пружина, и весьма откровенная, тогда как сам истратил жизнь на то, чтобы спрятать самолюбие и дать сверх него...

Нынешняя литература похожа на бумажку, привязанную детьми к хвосту кота: государственный наш кот бежит, а на хвосте у него бумажка болтается — эта бумажка, в которой восхваляются подвиги кота, и есть наша литература.

Во власти человек прячется от самого себя, во власти он живет как бы вне себя, власть дает возможность быть вне себя, посредством власти можно убежать от себя самого («погубить свою душу»). И есть момент в жизни, когда следует погубить свою душу («за други») — в этом и есть вся правда революции.

18 мая. Творчество — единственное лекарство против «обиды», и вся энергия должна быть направлена в сторону сохранения творчества. Творческий светильник, с которым выходит поэт в то время, когда кончается действие разрушительной силы и революция вступает в период созидания.

Мне кажется теперь, что десять лет я писал в чаянии, что разрушение кончено и начинается созидание. Тяжело, упав, подниматься на новую волну.

20 ноября. Лева поехал определяться на службу. Сам подумываю поступить корреспондентом в ВСНХ [18]. Есть много оснований для этого. Первое — что я «разъяснен» и писать можно, лишь до того приспособляясь, что самое писательство становится неудовлетворяющим занятием в своем существе. Второе — что теперь действительно уже сложился новый быт, и хорошо быть к нему ближе.

23 ноября. По-настоящему бы очень обидно, а так выходит, что обижаться нельзя; так выходит, что не на кого обижаться, лица такого нет, чтобы можно было обидеться. Вот именно обида невозможна при безличности среды, все равно что обижаться на землетрясение. Евреи, впрочем, всегда из своей деловой практики устраняют чувство обиды, и понятно: обида — пассивное состояние. Но если мы стали так грубы, что обижаться нельзя, то сердиться допустимо, и даже в двух стилях: или в матерном, или в подкопном, с доносом и т. п.

Теперь каждый домогатель считает необходимым столкнуть с пути своего авторитетное лицо.

24 ноября. Что только не придумывалось для постройки моста, соединяющего в одно свое стремление к мирному творческому труду и современное строительство, какими только не соблазняешься скрепами,— нет! Как ни бейся, рано или поздно вся постройка разламывается и становится невозможным делом соединить пот труда и кровь.

4 декабря. Раньше я писал, понимая читателя как друга, может быть, в далеком будущем, и дивился, когда находил современников, до которых доходило мое писание. Теперь современники представляют собой властную организацию цензоров, не пропускающих мое писание к будущему другу.

Литература, вероятно, начнется опять, когда заниматься ею будет совершенно невыгодно...

Не знаю, какое число, первая треть декабря. Вчера переломилась погода и полетела пороша, стало сильно теплеть.

...Ставлю самовар. Лучинки вспыхивают по краям, где обломлено, и тухнут, остается едва живой огонек, и я загадываю, спасая его, повертывая вниз: выживет огонек — и я выживу еще как писатель, еще попишу.

И огонек выжил...

Приезжал Федор Кузьмич, крестьянин-колхозник моих лет, которого я 30 лет тому назад обучал агрономии.

По его словам, у них в колхозной деревне нет ни одного коммуниста и все, скрывая друг от друга, ненавидят колхоз, считая его крепостным правом. Инте-

ресно, что группа, стоящая в управлеиии, такая же недовольная, как все, но они не могут сливаться со всеми недовольными, ведь онн ударники. В последнее время появился «избач», у которого в руках сама собой и сосредоточивалась вся власть над колхозом...

Общее дело теперь проявиться может лишь как дело казенное, и в этом казенном деле одна, большая часть населения, рабски подчиняется директивам, а другая, индивидуалисты, пробивают себе путь к власти и казенному пирогу.

Читал дискуссию РАПП[19] попутчиков с Леоновым[20] и Полонским[21] «Люди перестраиваются» (Леонов, Полонский), другие робко заискивают. Значит, все решено свыше и правильно: писатель даровитый (попутчик) есть собственник своего таланта и находится в отношении к членам РАППа, как кулак к бедноте. И немедленно он должен быть раскулачен, а вся литература должна обратиться в литколхоз с учтенной продукцией и готовностью при случае войны дать то, что потребуется, а не то, что захочет дать отдельный производитель.

РАПП или воинствующие пролетарские писатели.

У попутчиков есть вера в культуру в том смысле, что литература создавалась народами всего мира и с самых давних времен, что за эти времена человечество нащупало законы лит. творчества, которые каждому писателю необходимо понять, изучить и что без этого прошлого не войдешь в литературу современную.

У воинствующих вера такая, что настоящее вовсе не вытекает из прошлого, а есть факт небывалый, и чтобы войти в него, скорей надо забыть прошлое, чем из него исходить. В этом и состоит спор пролетарских писателей с попутчиками.

10 декабря. Если в математике для исчислений допускаются, напр., бесконечно малые величины и посредством этого допущения достигается в конце концов сооружение мостов и других плотных для всех «реальных» предметов, то почему вы не можете себе представить, что художник в искусстве при создании реальных вещей не может руководствоваться тоже каким-нибудь допущением невидимого, напр., свободы как условия для творчества. И пусть эта свобода сама по себе не существует и недопустима в обществе, но...

Очень важно, что за то и тянутся все к поэзии, что в ней допущена свобода личности и что только эта свобода отделяет «поэзию» от «жизни».

Я защищаю не иллюзорность искусства, а реализм, я только хочу сказать, что чувство свободы художника, точно такое, как мысль о бесконечно малых в математике, есть необходимое условие для творчества и что именно это допущение качественной величины самочувствия «свободы» и делает искусство искусством, а не государственным строительством.

Вот, положим, я дикий писатель (попутчиком никогда не был) и кое-что пишу полезное, но допустим, что я принят в РАПП. Вначале я ничего не буду писать, я буду привыкать, и когда освоюсь с предметами в «перестройке», то буду летать по-прежнему и между этими предметами, не задевая их. Но горе в том, что РАПП именно и создан для того, чтобы быть умнее писателя и направлять его полет в желательную им сторону.

Отправил «Дауры»[22].

13 декабря. С этим можно согласиться, что как мистический интуитивизм, так и рационализм должны быть преодолены чем-то третьим, что интуиция и разум должны сойтись в одно. Но я всегда об этом думал и соединял в творчестве, а не в марксизме. Марксисты-диалектики очень много дали доказательств своей связи с интеллектом, но ничего от интуиции.

Истинный ученый, все равно как и художник, в своем творчестве, между прочим, непременно обладает интуицией. Просто говоря, интуиция значит почти то же самое, что талант (милостью Божией).

15 декабря. За круглым столом читали «Даурию».

Зворыкин[23] рассказывал, что Храм Христа Спасителя взорвали и остались груды камней, а на прежней высоте креста в воздухе вьется много птиц, бывших жителей храма и как будто все надеются, что явится опять их насиженное место. На этом месте должно возникнуть величайшее по красоте здание Совета.

17 декабря. Итак, исчезла вся троица: личность, общество и Бог, и поэтому остается быть лишь сочувствующим очеркистом производственного быта.

19 декабря. Меня расстроило, что отказались печатать «Кащееву цепь», и на это чувство обиды насела картина московской трамвайной давки, злобы, потом бой за место по железной дороге, серые лица и такое множество людей с мешками провизии, зло, усталость... истинный ад! И на это навернулась дальше совр. литература. Началась тоска, самая острая, со сладостной мыслью о смерти... И в то же время о том, что находится по другую сторону смерти: пристройство, подобное уверованию с наглым тире вместо всяких сомнений, вопросов и колебаний,— в этом царстве Максима Горького ведь еще много хуже, чем смерть. Я теперь живо представляю себе состояние духа Л. Толстого, когда он желал, чтобы его тоже вместе с другими мучениками отправили в тюрьму и на каторгу. И мне теперь тоже жизнь в ссылке, где-нибудь на Соловках, начинает мерещиться как нечто лучшее. Я накануне решения бежать из литературы в какой-нибудь картофельный трест или же проситься у военного начальства за границу.

1932 год

1 января. Вчера мы с Павловной вечером засиделись (я приводил в порядок альбомы) далеко за полночь и, ложась спать, забыли поздравить друг друга с Новым годом.

Разобрав, устроив свои фото, я сказал Павловне:

— Если уцелеют мои снимки до тех пор, когда у людей начнется жизнь «для себя», то мои фото издадут и все будут удивляться, сколько у этого художника в душе было радости и любви к жизни. Да, вот если бы все люди бросили подсиживать друг друга и стали заниматься тем, что каждый из них любит, для чего каждый рожден,— что бы это было!

— Нельзя,— ответила Павловна,— только редчайшие люди способны заниматься тем, что хорошо. Людей надо подгонять.

— Да, вероятно...— сказал я и, вспомнив сегодняшний рассказ Григорьева[24], передал его Павловне.

Он мне рассказывал, что иногда, возвращаясь в поезде из Москвы, он открывает глаза и видит вокруг себя: какие-то существа сидят очень жуткие, достают из грязных мешков что-то, кладут в рот немытыми руками, жуют и через жов говорят о том, где это для жова можно достать, где что выдают, спорят об этом, иные ругаются, иные так сцепятся, что забывают класть в рот кусок... Вот тогда является соблазн — что это не люди...

— Понимаешь? — сказал я.— Он боится за себя, что и он такой же, но гордость отделяет себя от них, гордость...

— Это не гордость,— ответила Павловна,— это жалость.

В эту ночь, как бывает, отчетливо пронеслись в моей голове оба моих путешествия, в Свердловск и во Владивосток, все до точности вспоминалось и ни на чем сердце (родственное внимание) не заострилось: везде спех, суета, страх, стон, злоба; через толщу вверженных в бедствие людей невозможно было, как раньше, пробиться к природе, загореться там любовью, как раньше, и с родственным вниманием вновь посмотреть на людей. Вот, кажется, тут-то именно в эту точку моего обычного счастья художника и направлено почему-то ядовитое жало. Я чувствую безошибочно, что именно в той самой точке встречи своего луча с лучом другого человека, отчего являлось сорадование, теперь заложен на тебя капкан или стрихнин, а то еще очень страшно думать, что потребность в сорадовании и совсем не вернется, и что лучей уже и нет никаких, а только сам привык искать это и пишешь, и уже и вовсе нет того, кому хочется сказать, и не будет.

Вот дадут в Москве комнату, пойду я к вождям РАППа и всякого рода МАППа и прямо и раскрою тайники их души, вникну в те роднички их тайных

лучших желаний, из которых потом что-нибудь хорошее, новое сложится. Я искренно отрешусь от себя, выброшу весь балласт свой, чтобы подняться до них и почувствовать ту великую сущность, ради которой теперь родной сын колет своего родного отца. Я переживу там, в Москве, эту тему жизни, столь непонятную и странную всему христианскому и дохристианскому, всему культурному миру...

Люди с толку сбиты, но, конечно, постоянно стремятся возвратиться к этому же толку, и оттуда опять их сшибают, отчего являются страх и раздвоенность: рад бы туда, а нельзя...

2 января. Ни на какой стройке, будь они самые грандиозные, ни от какой цифры нельзя получить уверенность в правоте большевистского дела и даже вовсе понять значительность самого факта (из-за легиона мелочей, вихря пыли танцующей мелкоты, если только не чувствовать универсальный ход времени).

Мало-помалу легенда о нашей революции за границей на почве их кризиса растет и крепнет, чтобы в конце концов слиться с нашей государственной легендой и ликвидировать то, что мы считали «жизнью» с ее почти что вечными биологическими и культурными устоями.

4 января. В предрассветный час вышел на двор с собаками и очень обрадовался звездам после стольких дней серой «сиротской» зимы. Пока собаки мочились, я так разговаривал со звездами: «Сколько заветного моего вы помогли мне высказать! Теперь неужели же перед новой встающей правдой окажется, что все было неверно? Нет, все останется в глубине душ, но говорить об этом долго не будут. Как странно, что двадцать — двадцать пять лет я вполне лично мечтал о мировой катастрофе и находил в этой мечте всего себя, теперь в катастрофе почти нет никаких сомнений и тем не менее очень мало в ней радости. Да, да! Вот именно теперь так и понимают «мещанство»: что-то вроде антропоморфизма, вмешивание лично-интимного, «гуманного» и т. п. в государственные планы. Это правда, но ведь и обратно есть правда, пока не имеющая своего ходячего названия: это претензия государства стереть все личное.

7 января. Ежедневно пишу прошения о комнате в Москве и мало-помалу сам в это вверился, что без комнаты — пропадешь. Мучительно и воистину «смертельно» тоскую. Думаю о лошади, которую мы купили за 15 р. на зарез для корма собак, лошадь молодую, здоровую, всего ей 6 лет. Вот явление, кажется, одно, а если взять меня и Максима Горького, то получится два разных толкования, его — оптимистическое, мое — пессимистическое. Он скажет, что это индустриальный прогресс, что это трактор выбросил лошадь на съедение собакам и социальный прогресс: ведь это разоренные единоличники бросают хозяйство, лошадь и бегут в производство. Мне же думается по-иному: пусть прогресс, но... прогресс бывает разный, хороший хозяйственный прогресс не допустит такого безобразия, лошадь хоть есть можно, а чугун не лизнешь. Впрочем, если смотреть, что все это война, то, конечно, лошадям — мор.

У Горького.

N [25] написал книжку и получил приглашение к Горькому. В приемной человек 20 народу. У секретаря Крючкова три телефона. Беспрерывно звонят, и секретарь с разным лицом отвечает, как будто на три телефона,— в нем три лица. Беспрерывно приходят пакеты с надписью: «секретно», «секретно-спешно».

Получаю повестку — на клочке хлопчатой бумаги плохая машинопись: «Творческое бюро» делает смотр очеркистам Союза. Что вы написали в 31-м году? Явка обязательна.

А ведь очень возможно, что это «творческое бюро» явилось следствием книги моей о творчестве «Журавлиная родина».

Революция движется линейно, события и лица проходят в это время без ритма, а время общей жизни мира (солнце всходит и заходит) идет ритмически: сколько раз солнце взойдет и закатится, пока вырастет и кончится человек. Поэзия есть светлая атмосфера, заря сознания человека. Пусть рушится быт, но ритм

жизни и без быта может питать поэзию, конечно, опираясь на то же солнце (всходит и заходит). Но это понимание (мое) не «революционно», это биологизм,— революционное движется по линии, не по кругу. Ритм движения по кругу с уходом и возвращением... восходом и закатом — здравствуй и прощай, дедушка внуку сказку рассказывал про Иваа-царевича. А то вот предполагается линейный ритм, положим, едем в поезде, и колеса мерно отщелкивают: «По-гуляй-погуляй!» Солнышко увижу — скажу «здравствуй», увижу закат — говорю «прощай!»

Вот именно, что все является и проходит без возвращения: усвоил и бросил, как выжатый лимон, и дедушки нет. Движение по линии: умерших и больных выбрасывают без слез. Личность за шиворот — и в чан. Родину, мать, отца, друга — все ради движения вперед без возвращения.

Помни, друг, теперь уже не миновать тебе того, перед чем ты трепетал всю свою жизнь. Да, было время, можно было тогда устроить свою жизнь так, чтобы это втайне оставалось и переходило в наследство детям и внукам как «грех». Теперь все раскрывается, и человек наконец-то должен увидеть то самое, что прикрывалось таинственным словом «смерть», он должен увидеть то, что страшнее всякой смерти: увидеть себя без всякой личной тайны — как есть, себя самого без тайн и отбора в себе лучшего, без надежд («исправлюсь, няня милая, прости, я исправлюсь!»). А она: «Нет тебе прощения!» — и стегает крапивой. «Всеобщая конкретизация» или «Страшный суд», с уплотнением жилищ до последней возможности.

9 января. Та творческая радость, какою жил я так долго, не допускает насилия над собой...

10 января. Все эти зимы у соседки рано в темноте разгоралась русская печь, и мне было видно, как старая колдунья действовала там, беспрерывно меняя кочергу на ухваты и рогачи с большими горшками. Нынче там, напротив, темно, а старуха жива: дров нет, старуха перешла на буржуйку и невидимо в другой комнате коптит свои стены. Кончилась сказка.

И вот еще московский «тайный прикрепитель» — тоже быт! И как скоро явился бытовой ритм в этом, в сущности, паскуднейшем деле. Каждый месяц мы ездили в Москву и оттуда привозили чудесные вещи, выходило вроде подарков. Злейшая идея разделения, положенная в основу «закрытых распределителей», как-то не задевает особенно обладателей книжек, и ... (1 нрзб.) [26] добродушно назвал эти закрытые распределители тайными прикрепителями. И вдруг потребовалась наша книжка (им срок на три месяца) и дали другие. Почему? Мы догадались: новые книжки выдали всем нам, а избранным дали другие в какой-нибудь сокровеннейший источник, в святое святых. Мы же пришли в свой тайник — нет ничего, пусто, как и везде. Все перекочевало к святым. И это коммунизм!

Привезли немного баранины, чаю нет, сахара нет, крупы нет... Смотрю рано в темное окно и думаю так о старухе: нет у нее дров, печь не топит, сказки нет у меня под пером.

Читаю Белого «Памяти Блока» [27]. Не согласен с эпитетом «национальный» поэт. В нем есть нечто подчеркнуто личное для этого эпитета и даже задорно выпирающее против черни... (Вообще) самое опасное для поэта и художника — попытка перехода от личных мотивов к гражданским.

Вольфила [28] о Блоке. Я так думаю по-старому об этом, что вода и берег — вот все (а у Блока вода — стихия, берег — государство). Вот именно как вода подтачивает берег — есть в этом отличие: вода ударяется в бурю, и ей ничего, но люди, поэты — и о скалу государственности. Выступай, как лодка, как «человек»-гражданин, но поэзия — бороться... в поэзии ничего нет против свинца. Чудесно, что Пушкин пустил свинец во врага и уже попал.

12 января. Просто «ни х...!» (нет ничего и никаких) — ничто, nihil [29]. То философское nihil есть в свою очередь богатство перед бытовым «ни х...!». Нигилизм выдумал барин, nihil в этом понимании являет собой скорее фокус аскетизма, чем действительное ничто.

Истинное же, воплощенное в быт ничто, страшное и последнее «ни х...» (или

«нет ничего и никаких») живет в улыбающемся оскале русского народа. Вот это разделяет барина, интеллигента и всякого культурного человека от нашего... Иногда это бывает в улыбке Максима Горького, на каком-то снимке видел где-то я, Ленин и Сталин так улыбаются («ни х...!»). Откуда это? Есть нигилизм цинический еврейского мещанства, где фетишируется вещь; так вот наш нигилизм относится к этому вещественному и разрушает его вконец: тут происходит какой-то пир, пляс на границе материального и духовного (ни х...!).

Интеллигент и барин, играя в нигилизм, как бы с жиру бесятся (и тут тоже и Блок) — вот откуда и пропасть между «народом» и интеллигенцией... На этом плясе голытьбы «скифы» и построили свою идеальную Скифию (нет ничего, а они сочинили: барство).

Надо анализировать это «ни х...» до конца, чтобы понять, почему же из него выходит не скифия анархическая, а военный социализм... не Блок, а Сталин. Надо, я думаю, разобрать в отдельности каждого автора формулы «ни х...»: он ненавидит мещанскую вещь, интеллигентскую «идею» барского бога, потому что все это не его, и то время, когда он мог бы в этом принять участие, давно прошло, и самая родина вне этого «святого» для него вконец испоганена. Он живет на людях и с людьми и с виду как будто он групповой человек, но этого нет: он индивидуалист и только терпит товарища по несчастью. В этом кишащем ничто действительно нет «ни х...», и все это надо прибрать к рукам и направить по линии казарменной государственности, а не вольной Скифии. Между тем среди этого кишащего ничто ждет не дождется своего освобождения честолюбивый Легкобытов[30] (казначей ушел за Богом, подсидел мудреца и взял власть: тот мудрец, имея «ключ к царству Божию», господствует над ним, рабом, а раб, уничтожив Бога, оголил от Бога силу, и она стала его государственная власть — сила, оголенная от Бога, стала властью, и всякая такая власть есть власть над человеком), но ведь это же путь и Горького, и Сталина, и всех властолюбцев. Вот что означают хохот Легкобытова и улыбки Горького, Ленина, Сталина. Скифы пали, потому что (бессознательно) протянули руки к власти (выбрав товарищем того, кому вся культура — «ни х...»). Собственно говоря, все революционеры пали. И совершается совсем не то, о чем думали. Но тем фактичнее должно доказываться, что именно это есть революция и коммунизм...

Итак, Легкобытов, Горький, Ленин, Сталин...

13 января. Фельетон, или «забавная страница». Исчез фельетон — исчезла забава — в самое сердце ударило, все назвали докладчика о «пропал фельетон» контрреволюционером, троцкистом и разгромили дом печати,— подумайте: только за то, что он намекнул о недостатке забавной страницы в нашей плановой прессе! Но вот погодите, об этом инциденте там, где надлежит серьезно подумать, и там, где нет ничего беспланового, решит в плановом порядке начать институт забавников и их х...вкиков (Инзабиих).

14 января. Продолжается сиротская зима. Вот-вот корова отелится, и у хозяйки бродят в голове нечестивые мысли: как бы устроить так, чтобы не поить теленка дорогим молоком, а как-нибудь от него вовсе избавиться. Хозяйки уже нашли средство в значительной мере избавляться от расхода молока на теленка: поят кофе «здоровье».

Теленок-мученик. Один гражданин выдумал подморозить теленка так, чтобы он остался жив и можно было зарезать, и в то же время и таким уродом стал, чтобы разрешили его зарезать. Так он оставил теленка в морозную ночь на дворе и время от времени выходил с фонариком смотреть. Когда ноги у теленка до того отмерзли, что он свалился, гражданин стащил его в хлев. Утром пошел просить разрешения резать. Но вышло так, что сосед его бедняк тоже теленка понял и все видел через забор. Комиссия была тоже догадливая и так рассудила: мученого теленка отдали бедняку на зарез, а теленка, которого поил бедняк, велели допоить предприимчивому гражданину. Вот бедняку вышла жизнь: и молоко полилось от коровы в свой рот, а не в телячий, и отведал соседской телятинки. «Так и надо,— говорили мужики на улице.— Надо самому было башкой работать, а не смотреть на других. Выдумал что — морозить». «Да кто же теперь не морозит телят?» «Ну, а как же надо-то, как?»

И оказалось, вот как делают теперь самые догадливые: насуют теленку в горло шерсть и, когда теленок начинает корчиться, зовут комиссию. Пусть вскроют и найдут шерсть. Можно сказать, что теленок сам нализался шерсти.

17 января. Сегодня вечером еду в Детское Село. Разговор с Павловной. «Странно, Павловна, в литературе меня наперебой стремятся все похоронить вместе с «классиками», на улице называют «дедушкой», а я сам иногда себя чувствую не только не дедом, а даже не отцом, а так, будто я все еще мальчик и жизни настоящего времени делового человека — еще не хлебнул. Что же это?»

18 января. Поездка сорвалась, достали билет только на 20-е. И аппетит поездки пропал: есть слух, что ленинградское из-во писателей подверглось разгрому РАППа, подобно московскому.

У Зои[31] еще есть некоторые механические остатки религиозного миропонимания. Так, она еще крестится перед едой, если нет никого посторонних. Впрочем, она скажет даже, что и в Бога верит, но и в этом убеждении заметно линяет: в Бога, скажет, верю, а в загробную жизнь — нет. Первого своего ребенка она родила честно, считая грехом все средства против деторождения. Но, испытав прелесть материнства в советских условиях, к следующему разу непременно прибегнет к аборту. И нельзя иначе: тут или погибнешь в старом завете, или линяй. Непременно! Как болеет и линяет птица, точно так же и женщина лично в этой линьке совершенно бессильна. Ребенок ночью часто кричит, а Зоя весь день была на службе, и, когда ночью сидит она при керосиновой свечке, раскачиваясь часами, баюкая, и ее тень с нечесаными громадными волосами качается тоже на стене,— заглянешь случайно, выходя на двор, и подумаешь, как это несовременно и как неразумно, не хватает сверчка и часов с кукушкой. Случается, всю ночь прокричит, а на службу идти надо. Какая же будет тут работа, можно себе представить!

Ребенок переходит на руки к бабушке — матери мужа, потом, когда бабушке надо готовить пищу для Зои и убирать комнаты, ребенок переходит в дом к другой бабушке, матери Зои. Обе эти бабушки частью по избытку любви, частью, чтобы поскорее унять крикуна, пичкают его всем самым с их точки зрения хорошим, сладким и вкусным, и не по часам, как надо бы, а как вздумается. Вот через это, по всей вероятности, ребенок неуемно кричит по ночам, Зоя качает и баюкает — утром не добудишься, а пыль на рояле как грифельная доска: сегодня пиши пальцем, завтра так покроется, что никаких следов от вчерашнего. Бывает, созывает гостей, заиграет «Дунайские волны», поднимается пыль, все начинают чихать и хоть глаза закрывай. Скажешь: «Зоя, как ты, нет у тебя ни иголочки, ни тряпочки, ты бы хоть пыль обмела с рояля». Так и фыркнет: «Я не хозяйка и не хочу быть хозяйкой». Возмутительное положение, а между тем как подумаешь — и она права. Прежде рожали детей, как и теперь, главным образом, по деревням, бабы высыхали с детьми, и дети — кто выжил, кто помер. Много выживало, достаточно. Более зажиточные держали прислуг, нянек, даже кормилиц. Можно ли теперь все делать самой — советской женщине? Она справедливо мечтает о будущей квартире, куда она возвращается после службы... и прислуга сделает все так, чтобы поскорее лечь в чистую кровать и отдыхать. С другой стороны, то покрестится, то потихоньку сходит к заутрене или вдруг вздумает заниматься самообразованием и для этого почему-то проходит математику. Одним словом, Зоя линяет.

Отчего мы страдаем? Оттого, что беспокоимся о средствах существования (простыня все редеет, редеет, а достать негде). Второе — что очень трудно работать не для себя. Третье — двоиться тяжело: про себя так, а на людях иначе. А в сумма сумарум: нет радости, праздников, подарков и ждать лучшего тоже нельзя: ждут войну («пропал фельетон»). Еще особенно тяжело нам, отцам, что отец — свидетель не только плохого, но и хорошего в прошлом, что он не может не быть самим собой, что он живой, значит, нельзя же, выжав его сок на голову обществу, прямо-таки без оговорок выбросить на помойку, как выжатый лимон...

Герой современности — это сын, который своего родного отца, как нечто лич-

ное и прошлое, приносит в жертву обществу (понимая общество как «не я»). И это до того теперь очевидно, что является вопрос о ликвидации всех «я» как класса. (Рапповец думает, что борется с буржуазным искусством, а на деле с корнем всякого искусства, с личностью.)

Я сам долго отрицал советскую общественность потому, что каждый член ее про себя был совсем другой человек, чем на людях, и мне казалось, что сумма лиц, самоотрицающих себя, дает ничто, нереальность. Теперь вижу, что нет, и сумма отрицающих себя личностей дает величину отрицательную. Да и что значит неискренность? В момент самоотрицания на обществе человек тут же преобразуется, утверждает себя общественно, возвращаясь потом к себе самому, как к мусорной яме. Мы же по-обывательски роемся в этой яме и говорим: вот искренний человек. Пример: учительница в субботу в школе учит детей против Бога, антирелигиозная пропаганда, а в воскресенье рано, в темноте, закутавшись в черный платок, идет к заутрене отмаливать грех (Бог не должен простить и превращает религию учительницы в мусорную яму). Пример: художник-мистик [32] пишет портрет Ленина и этим живет. Третью тысячу теперь кончает; ведь в конце-то концов он делает Ленина, а не Бога, в которого будто бы верит.

18 января. Птицы прилетели к тому месту, где был храм, чтобы рассесться в высоте под куполом. Но в высоте не было точки опоры: храм весь сверху донизу рассыпался. Так, наверно, и люди приходили, которые тут молились, и теперь, как птицы, не видя опоры, не могли молиться. Некуда было сесть, и птицы с криком полетели куда-то. Из людей многие были такие, что даже облегченно вздохнули: значит, Бога действительно нет, раз он допустил разрушение храма. Другие пошли смущенные и озлобленные, и только очень немногие приняли разрушение храма к самому сердцу, понимая, как же трудно будет теперь держаться Бога без храма: ведь это почти то же самое, что птице держаться в воздухе без надежды присесть и отдохнуть на кресте.

А может быть, и так, думали они, что все это отрицание приводит каждого к пересмотру того, что считалось и действительно было положительным, но износилось и требует капитальной очистки и возобновления.

После революции все имена должны приблизиться к своим телам; и так, что если назовешь чье-нибудь имя, положим: Бог, то это и будет сам Бог существом своим, а не просто имя — звук, как было допрежь. Вот именно потому так и тревожно теперь жить, что каждому нужно установить существо того, что он просто лишь называл. Революция идет за сущность и против имени пустого.

20 января. Сиротская зима продолжается. Время как бы остановилось. В предрассветный час жутко... оттепельное небо, и слышу я: проснись, писатель, друг мой, и больше не жди к себе нечаянной радости, подарка и желанного гостя, закрой калитку и ложись спать прямо в заплатанных штанах и дырявых валенках.

Все эти мысли пришли мне в голову от ужасной обиды в моей безотрадной жизни: обидно, что они обогнали: они узнали какой-то секрет, раскрывающий им тайный замысел всякого художника. Теперь больше не укрыться. Раньше не смели, но пятилетка им помогла, осмелились — и перешли черту. Теперь храм искусства подорван пироксилиновыми шашками, и это больше не храм, а груда камней. Но мы, художники, как птицы, вьемся на том месте, где был крест, и все пытаемся сесть...

То совершенно отрицательное, чему мещанство противопоставляет свое бытие: «Бей отца!» и «Чти отца». Последнее, конечно, сильней, потому что сын же сам делается отцом... Трагизм карательного бытия сына, идущего против отца...

27 января. Все начинается от чувства безысходной тоски при виде всего живого, погибающего напрасно в природе. Это чувство свойственно многим и по-разному сплавлялось в идею: были у нас «Цветочки» Франциска Ассизского, были Руссо, Гете, было толстовство с его непротивлением, были наконец натурализм, механицизм, биологизм и многое другое. Но замечательно — сколько великих начал, а конец наших отношений к природе массового человека непременно то, что мы называем «мещанством».

29 января. Возвратился к себе. (Уехал 20-го и по 28-е пробыл в Детском Селе.)

Замятин подал через Горького письмо Сталину: «Высшей мерой наказания для писателя является запрещение печататься». Следуют примеры. Заключение: «Обещаю вернуться тотчас после разрешения печататься». Говорят, что Сталин не дочитал письма, сказал «черт с ним!», разрешил. Микитов говорит, что Замятин по гордости своей должен вернуться.

...Совершилось падение Демьяна [33]. Вот слава-то Богу! Редко ведь сукины дети достигают такого высокого положения. Говорят, из Кремля чуть-чуть не выперли... В конце концов становится забавно глядеть, как все непременно падают. Интересно, как кончится Горький, успеет умереть до падения или тоже рухнет. Вот острие: на Красную площадь героем или... и все оттого, сумеет ли человек умереть вовремя. Сила его в добрых делах...

1 февраля. Было это или не было? Самая возможность предчувствовать и предсказывать, быть новым через 50 лет дает ручательство за то, что в какой-то мере тогда было то же положение для совестливого человека, что и теперь.

У нынешнего пролетария есть неприязненное «классовое» чувство к интеллигенту. Эта неприязнь получила теоретическое, государственное и прямо боевое утверждение под именем «классовой борьбы». Рассказывали мне, что некто во время чистки принес кипу фотографических снимков, на которых в группах везде был он: группа лиц — это им расстрелянные. Разумеется, чистка сразу прекратилась, человек оказался потрясающе «чист».

4 февраля. Один день вчера был спокойный мороз и сегодня опять мягко метет. Вспоминаю: кто-то серьезно сказал: «Не верьте, это клевета: Ольгу Форш не хотели добивать, пусть работает». Значит, относительно какого-нибудь другого писателя возможно и такое решение: добить, чтоб не мог больше работать.

7 февраля. Если бы я, напр., пришел в РАПП, повинился и сказал, что все свое пересмотрел, раскаялся и готов работать только на РАПП, то меня бы в клочки разорвали (так было, например, с Полонским и со многими другими). Причина этому та, что весь РАПП держится войной и существует врагом (разоблачает и тем самоутверждается); свое ничто, если оно кого-нибудь уничтожает, превращается в нечто. И вот, конечно, это должно возбудить гнев, если некто из вражеского стана сдается и сам себя без боя превращает в ничто (прямой убыток).

8 февраля. Сел за «Даурию» и перестал заниматься фотографией.

Писатель яркий, вроде Белого, главным образом не тем нетерпим, что у него иная идеология, а тем, что он как «известный» имеет индивидуальность кричащую — выросшую за пределами революции. Отсюда ясно, что чем больше показываться на людях, тем, значит, больше навлекать на себя вражду.

10 февраля. «Классовую борьбу» теперь, при подавлении враждебных классов, надо понимать как борьбу за государство. Весь наш писательский разлом и состоит в том, что принудительная сила государства распространилась теперь и на искусство, и его работников. До сих пор все художники были как бы вольноотпущенниками государства, и им предоставилось свободное самоопределение, иллюзия, по-видимому, необходимая для художественного творчества. И, поскольку государство теперь лишает его грамоты вольности, он является естественным врагом государства. Путь политического деятеля становится прямо противоположным пути художника, и требовать от художника политической деятельности и наоборот — от политика искусства — все равно что устроить заворот в кишках.

12 февраля. Снова вернулось тепло, метелица, и в белом чернеют строения Лавры, знаменитая колокольня с разбитыми колоколами, и все...

— Чего ты смотришь? — спросил меня маленький мальчик.

— А что это,— спросил я, указывая на здание Лавры,— ты знаешь?

— Знаю,— ответил он бойко,— это раньше тут Бог был.

На чистке: «Как относитесь к религиозному культу?» «Бога нет». Сильно сказано было, и чистке был бы конец, но какой-то ядовитый простой человек из

темного угла попросил разрешения задать вопрос и так задал: «Вы сказали, что теперь Бога нет, а позвольте узнать, как вы думаете о прошлом, был ли раньше Бог?» «Был!» — ответил Н.

Все переменится скоро от радио, электричества, воздухоплавания, газовых войн, и социализм дойдет до того, что каждый будет отвечать за оброненное внутреннее слово (вроде Бог). Все слова, улыбки, рукопожатия, слезы получат иное, внешнее... условное значение. Но в глубине личности спор о жертве (Троица) останется и будет накопляться. Быть может, настанет время, когда некоторые получат возможность шептаться, больше и больше, воздух наполнится шепотом или нечленораздельными звуками, или даже темными, непонятными словами, которыми говорят маленькие дети, и, наконец, как у детей выйдет первое слово... и тут начнется эпоха второго пришествия Христа (слова, записанные от прохожего человека).

14 февраля. Уметь жить — это значит так сделать, чтобы ко всем людям без исключения стоять лицом, а не задом.

Уметь умереть — это значит сохранить лицо свое пред Господом. Лицо свое удержать как лицо в последнее мгновенье жизни.

23 февраля. Если писатель должен сделаться политиком, то он войдет в политику как частное лицо, потому что писатель должен быть прежде всего самим собой, но малейшее отклонение его от общей линии будет замечено, разъяснено. При такой неуверенности и отсутствии права высказываться за себя лично ведь невозможно же писать, но я хочу написать все-таки целую книгу «Даурию».

Реализация себя в богатстве или во власти — это все равно, тут разрастается личность паразитивно: власть делает то, что человек и глуп, а не чувствует этого, ум других приливает к нему рекой, этот рост сил изнутри кажется свободой (что хочу, то делаю) извне, объективно, это самый верный плен (цари — это пленники). Художник часто, отказываясь от власти, удовлетворяет себя свободой, которая является как потребность и уже условие жизни личности. Есть, конечно, и высшее состояние, когда человек жертвует властью, богатством, личностью своей (душой: «за други моя» «душу погубит»).

24 февраля. Эсеры исходили из данного (земля, народ), большевики — из того идеального, что надо создать. Те и другие идеализировали, народники — прошлую жизнь, большевики — будущую.

Когда-то (при Мережковском) поднялся вопль о распыленности человека, теперь явилась (с их точки зрения) худшая в тысячи раз: это организованная пыль.

Свобода относительна, и если взять ее просто как либертэ, то это баловство...

25 февраля. Приезжал на собственном автомобиле Пильняк с французами. «Как живете?» Я помолчал. «Значит, плохо?» «А вы?» «С меня как с гуся вода». «Какой гусь, вот у нас вчера и гусь подох».

26 февраля. В царство небесное принимают каждого лично, а в это царство земное принимают непременно с условием безличия «наравне с другими». «Личность» признают лишь в процессе сдельщины (ударники). Так вот почему, когда интеллигент идет с повинной, то его стараются бить: это хотят добить в нем последние источники личного.

27 февраля. Открытие Коперника о движении земли приобрело революционное значение не потому, что само по себе имело какое-нибудь особенное содержание (по теории относительности теперь можно сказать и так, и так), а что отвечало революционному духу человеческого времени (нужно было движение). Вот и теперь революция хочет привести в движение застойную атмосферу, собравшуюся под понятием «земля, природа»...

1 марта. Лева рассказывал о последнем свидании с Полонским, и мне вспомнился Воронский[84], когда он был исключен из партии, меня поразило, что Воронский вдруг поседел. Точно также и Полонский — за неделю до смерти вошел в редакцию «Известий», и Лева изумился: Полонский был седой. Он не пережил, как Воронский, своего падения. (Сыпняк бьет именно таких людей.) Вот надо куда смотреть, а не в свое писательское положение. Теперь интересны события внутри партии, этого современного рыцарско-монашеского ордена.

Вот, напр., Воронский растет и вырастает в такую величину, о какой никогда не смел и думать. В это время он уверен, что растет он согласованно с партией, что он и партия — единство. И вдруг росстань, в одну сторону идет партия, а я, Воронский, в противоположную, и если я пойду в сторону партии, я откажусь от себя, пойду по себе — вся прошлая жизнь, партия, революция — заблуждение. Вот в это время видные люди и пишут в газетах отречение от себя.

3 марта. Мягкая погода, чуть метет. Бегут по улице барышни, их не видишь,— так они чем-то одна на другую похожи: бегут, бегут, как поземок, и больше ничего не остается от них.

Чувствую вину и упрекаю себя: на глазах совершается трагедия великая, а чувство не хочет, чтобы взять эту жизнь и подвинуть к уму на рассмотрение, а может быть, наоборот,— что чувство жизни все не может угомониться, все наводит на ум, и это он не хочет, он очень устал...

Пришел слух, что Полонский отравился. Это очень похоже на правду.

После ликвидации мужика (единоличника) заметно усилилась по всему фронту борьба с личностью во всяких ее проявлениях. Пальцы сжимаются, узел стягивается. Остается только этот узел, как ручную гранату, швырнуть на кого-то. Война на носу по внутреннему строю фактов.

Тема нашей жизни — это рождение легенды среди европейских народов о счастливой стране на востоке. «Правды нет!» — Есть вера. <...> Почва этому — неиспытанная жизнь, которой обладает класс рабочих (вот почему в Евангелии рыбаки взяты).

Вера — это сгущенное желание жизни.

Конечно, все это нынешнее свержение личностей и всяких зародышей авторитета — для настоящей личности — нечто вроде пикировки (подщипывают корешки, чтобы через это раздражение капуста лучше росла). И вот задача каждого из нас — научиться так выносить «чистку», чтобы чувствовать не внешнюю боль, а радость внутреннего роста. Вот это все, все, мои друзья, зарубите у себя на носу как основное правило, силу, оружие и вообще условие непобедимости (бессмертия) личности человеческой и вместе с тем торжество человека во всей природе.

5 марта. Интересно было бы у историков спросить, всякая ли революция кончается войной (и если да, то... параллельное формирование универсальных идей).

11 марта. Р. Роллан разрывается[85]. Если бы он мог сам всего себя целиком поставить в наши условия, то он непременно бы превратился в интеллигентного оппортуниста. Если бы он знал, что самый вызывающий тон его письма с личной подписью (знаменитости) вызывает желание у нас вычистить его и раскулачить. Ведь он говорит именно теми словами, как, напр., говорил Золя во время Дрейфуса,— все это отжило, пусто, и вообще сказать эти слова можно лишь в условиях личного благополучия, пожалуй даже, эстетического. (При падении вкуса в обществе крупный автор опирается на социализм: А. Франс.)

12 марта. Не только мы, униженные и оскорбленные, ждем нового пророка, но и торжествующая революция жаждет встречи с ним. Весь мир ждет. И вот тут Р. Роллан пытается заменить собой (пустоболт).

«Троцкизм» — это соц. словесность, подобна керенщине, с той разницей, что керенщина в вопросе распада слова и дела глуповата, а троцкизм в этом до того дошел, что производил впечатление сознательно подготовленного вреда коммунизму. И, чтобы спасти революцию, понятно, надо было сбросить последний балласт гуманизма и дать ход классовой борьбе в таком понимании, что она есть не только принцип, но и личное дело каждого, кто признает себя революционером, все же остальные являются троцкистами или оппортунистами.

Классовая борьба — это жестокая сила, необходимвя, как цемент, в распавшемся от слабости государстве. Прямо противоположен классовой борьбе гуманизм (керенщина, троцкизм), троцкизм — это доведенный до своего абсурда гуманизм.

О классовой борьбе надо судить параллельно с биологической борьбой, первая есть борьба по воле человека, вторая есть борьба «на волю божию» (за существование).

Классовая борьба нам кажется чудовищно-жестокой сравнительно с биологической только потому, что там ведь, в деле природы, и спроса нет. Мы привыкли противопоставлять биоборьбе гуманизм. Теперь же, с вырождением гуманизма с необходимостью прибегнуть к грубой силе, мы создаем какой-то биогуманизм, т. е. принципы (слов) человеческие, а сила (дело) звериная.

Классовая борьба (слова человеческие, а дело звериное) наживает себе двух врагов и зажигает против себя две силы: в защиту человека зажигает религию в защиту зверя (зверь ведь тоже обижен) она поднимает против себя животность, или силу земли, и то и другое существуют и, возможно, растут в реальности своей силы, но гуманизм (либерализм) абсолютно разбит, это у нас понимают, а в Европе мало (пример Роллана).

Животность и религия или красные яйца.

Религия — это вопрос, но от силы животности кумачовым платком не отделаешься. С этой силой рано или поздно (даже и скоро: голод и тиф заставят) придется посчитаться.

Христианство относительно зооборьбы очень точно было против (смертью смерть), но именно полуразложенное биоборьбой, вошедшей в человеческое дело в форме гуманизма, либерализма; во время богоискательства считалось, что религию разложили гуманизм, либерализм, которые создали индивидуализм. И все были против индивидуализма. Ошибка их была в том, что для борьбы с индивидуализмом они хватались за прошлое. Мережковский делал слабые попытки считаться с материал. революцией.

8 марта. Красюковские[36] граждане отпраздновали победу над внутренней эмиграцией «графов» (3 нрзб.) плясом в церкви. Каждый получил чашку чаю с пирогом. Ударница Комариха премирована портретом Сталина.

Из арабских сказок. И они ехали много дней и ночей, где росла лишь трава да парил дух Аллаха.

— Ибо нужда ожесточает сердце человека с низменной душой, тогда как человека с возвышенной душой она облагораживает.

14 марта. Не удивительно ли, что с водворением нэпа, т. е. разрешения торговли, одновременно возродилось искусство и существовало весьма благоприятно для сов. власти около десяти лет с тем, чтобы с запрещением торговли совершенно исчезнуть. Вместе с искусством исчезли из жизни игра, праздники, подарки. Сов. игра (физкультура), сов праздники, сов. подарки («премии».)

15—18 марта. Деревенская девочка сидит за столом и бессмысленно заучивает стихи о множестве тракторов, преобразующих деревенскую жизнь. Ее отец, мужик-молчун, сидит, слушает с уважением и вдумывается. Каждая строфа оканчивается словами: «Ударник, скажи свое большевистское надо!» И молчун после каждого раза спрашивает вдумчиво девочку: «Что надо-то?». И девочка отвечает: «Не знаю» и «Отвяжись».

Нападение загорского горсовета на жилища наши: внедряют рабочих в квартиры писателей.

19 марта. Рождение власти из черной пены жизни (ведь вот: самолюбие спеца удовлетворяется открытием, богатством, славой; самолюбие партчеловека — властью?)

20 марта. Солнечно с ветром. Хорошо стало ночью: тихо, и луна до невозможности яркая (бывает ли так светло зимой?). Пишу «Даурию» (Амур).

Достать в среду книгу по истории первых веков христианства (церкви). При свете нынешней жизни выяснить: 1) Характер и значение христианских принципов (параллельно нашему «социализму»), 2) Возникновение церкви и государства, как единства, и причины распада, 3) Искусство эллинское и новое в отношении всех трех категорий: принципов христианства, церкви и государства.

Союз на крови (государство). Союз на любовном радении (христианство), и отсюда линии государства, церкви, искусства. Бледные лучи тех костров в нашей нынешней заштатной церкви, в социализме, искусстве. Нынче загорелся костер крови...

22 марта. Дорогой друг, живу так себе, стараюсь сохранить пристойность в неприличном для писателя положении. Так именно я себе представляю свое положение сравнительно, напр., с положением Максима Горького: одно неприличие! писатель коммунист, именно, должен жить под охраной фашистов и в крайнем случае ГПУ. Но так жить, как я, в провинции невозможно. Какая-нибудь делегатка, имеющая виды получить новые галоши, врывается в мое жилище и начинает обмеривать сотни раз обмеренную площадь, находит лишние 6 метров и предлагает добровольно впустить рабочего в мой кабинет (внизу для рабочего сыро). Сбудешь делегатку, явится фин. Пойдешь жаловаться, председатель слушает и ест яблоко.— «Бросьте яблоко!» — просишь. Он отложит, но после того, уж конечно, ничего не сделает.

23 марта. Вчера 100 лет со дня смерти Гете. Наши хвалили за безбожие и намекнули на мещанство личной жизни (50 лет прихлебателем у князька). Итак, «мещанство» у всех от Гете (Веймар) до Горького (валюта). Разница: Веймар помог Гете написать «Фауста», и в этом случае «мещанство» превращается в «землю» или «мать». А у Горького наоборот: Горький за валютку с возможностью жить в доме принца в Италии отдает своего «Фауста». Вот и все о мещанстве, кажется, нечего больше сказать.

25 марта. «Неисчислимые безымянные карлики создают культуру. Гигантам эта работа служит необходимым предположением, но они вместе с тем убирают неизбежно накопляющийся мусор» (Ю. Велльгаузен. «Израильско-иудейская религия»).

«Только при погибели народа... он (Иахве) возвысился далеко за его пределы и стал богом человечества и вообще вселенной... Через это возник тот вид религии, который в Новом Завете называется богослужением в духе и истине» (Велльгауэен).

«Признак настоящих пророков (навиимов) по Иеремии тот, что они предвещают несчастье, что они плывут против течения и что они вопрошающим их не льстят».

29 марта: Молюсь: Господи, не дай врагам погубить и эту весну мою.

Чудесное солнечное время: середина окна от солнышка вспыхивает, а вокруг легкие морозные узоры; так и день в середине, пламенеет,.. а утром и вечером легкие прекрасные морозы.

Раскрылось из книги:

«Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного!» (Псал. 73, ст. 21).[37]

Это продолжение книги Иова: тот переносит несправедливость, сохраняя верность Богу, этот усиливает, просит отомстить; а я: прошу у Бога дать силы не простить.

Вера в воскресенье. (Конец иудейской религии.) Эсхатологические представления поднимаются на более высокую ступень. Выдвигается всеобщее воскресенье мертвых, суд над всеми жившими когда-либо на свете, рай и геенна (вместо или после ада). Народ уступает место отдельной личности, будущая жизнь переносится на тот свет, на небо, и становится вечной. Этим переворотом сделан переход от Ветхого Завета к Новому. Иудейство подготовило ту почву, на которой христианство сразу укрепилось. (Ю. Велльгаузен. «Израильско-иудейская религия»).

«Заключены ли мы беспомощно в цепь неумолимой неизбежности, или же существует Бог, восседающий у кормила мира, Бог, чья властвующая над природой сила может быть испрашиваема и переживаема нами?» (А. Гарнак)[38].

«Если нет, то на место Бога станет властный человек и изловит тебя, рыбку живую, сетью свободы или на удочку, на приманку свободы (и будет ради общего дела...)».

Стр. 50... Но если, скажем,— нет Бога, то сейчас же на его место является диктатор.

30 марта. До чего все забиты! Вычитал в газете, что Халатов[39], ссылаясь на Ленина, «объявил, что издавать надо только партийное.» «А что если,— подумалось,— в этом собрании кто-нибудь спросил бы: «Cujusvis hominis est errare»?[40] Ленин был человек. Мог бы Ленин ошибиться?» Так вот, какое бы последствие было от такого вопроса. Мне ответили, что вообразить себе не могут такого вопроса... Отсюда совершенно ясно, что революцию движет сила, подобная религии, и скорее всего той религии, которая некогда двигала воинственные племена.

Как художник Фаворский[41] ни за что ни про что получил свет. Кожевников[42] встретил своего ученика, он кончил курс педагог. техникума, а теперь как партиец стал в птицетресте директором рабфака. Между прочим, поговорили об электричестве, что при настойчивом требовании Москвы Пришвину дали одну лампочку, а Григорьев до сих пор сидит с пятилинейной, что вот есть художник Фаворский, почти мировое имя,— тот даже не смеет и попросить...

Прошло несколько дней. Худ. Фаворский идет по улице и видит — рабочие ведут электричество. «Куда это?» — спрашивает. «Художнику,— говорят,— Фаворскому ведем электричество».

Вышло, как в сказке арабской.

1 апреля. Евангелие так написано, что кто по природе своей приемлет мир, тот находит себе Христа учителем радости даже чисто земной: нам такие люди представляют Христа и на браке, и с детьми, и в поле с лилиями; если же я склонен к войне и разделению небесного от земного, то всем известны слова: «Не мир, но меч». И много других, несомненно, утверждающих отречение от мира, аскетизм. К этому разнопониманию на почве разнонатурности человека присоединяется время; изменяются во времени знания, состав общества — в наше время, напр., бесполезно и даже вредно представлять Христа с чудесами вроде воскрешения мертвых, потому что чудеса теперь возможны только за пределами наших точных знаний. Евангелие читать надо так, чтобы одним глазом смотреть сквозь себя на Христа, а другим — на современную свою повседневную жизнь (дневники писать) и на общую (газеты читать).

Аскетизм имеет только рабочую ценность, а отвлеченный аскетизм часто от дьявола: аскетизм рабочий должен сопровождаться великой радостью, потому что он все силы собирает для достижения радостной цели.

Забота (в евангельском смысле) становится поперек жизни, она уничтожает самую задушевную сторону (Гарнак) нашего естества.

3 апреля. Христос и Евангелие в отношении политики, по существу, ничего не говорят, потому что на такой высоте, в таком плане и самой политики нет, но, конечно, через все планы жизни надо пройти, чтобы достигнуть высшего.

Уже по одному тому надо Евангелие, чтобы люди всех стран и жизненных положений, взяв эту книгу в руки, могли сойтись между собой...

Понятно из практики писательства моего: находишь в муках и злобе, а делаешь так, что как будто не было ни труда, ни злости, ни мук. И еще: все личное перевести в общее.

«Веры!» «Не верю». «Верь, негодяй!» «Не верю». «Верь, что не веришь!» «Верю».

Но все-таки насильно верить нельзя и не верить; наоборот, если будут заставлять верить, станешь не верить, и если не верить будет обязательно, то поверишь непременно. Так что вера обратна насилию.

4 апреля. Левина борьба за комнату с Союзом писателей кончилась тем, что предназначенную мне комнату отдали секретарю ячейки. Замечательно, что на мою угрозу выйти из Союза — чуть не последовало возмущение с принятием мер (знаем мы эти меры!), что секретарь ячейки угрожал застрелиться, если ему не дадут комнаты (с женой развелся), что приняли во внимание и даже отвечают: «Но ведь он застрелится». Но ведь вопрос был о книге, я говорил, что Пришвину придется отказаться от литературы. Итак, пусть Пришвин не будет писателем и даже удавится, лишь бы не застрелился секретарь ячейки. Встреча: партчеловек и спецчеловек.

8 апреля. История христианства особенно ярко представлена примером мгновенного обрастания иерархией и бюрократией всякого живого движения души. Возле малого подвига — малое число, но вот если такой подвиг, как блаж. Августина, то вырастает целый сонм благочестивых бесов. Так все на свете поднимается вверх при солнце и оттого бросает свою тень. Солнце и не знает о тени, но всякая нечисть пользуется и в тени делает свое темное дело... А у нас теперь перед всякой возможностью тени стоит очередь и топчет все, что должно подниматься для них же, для тени; вот этот табун, по-видимому, и сыграет такую же роль, как «latifundia perdidere»[43] и пр.).— Это не союз писателей, а табун... табун писателей.

Спец в процессе производства делается вредителем, администратор (хозяин) бюрократом. И так разделенный с самого начала человек надвое (хозяина и работника) дробится все больше и больше, получается до пыли,— не бюрократия даже, а мелкократия (объединенная пыль).

9 апреля. Приподнятый оптимизм будущего у большевиков скрывает в себе, в своем существе пессимизм в отношении настоящего («буржуазного»): своего рода хилиазм[44]. И вот именно этот пессимизм возбуждает у каждого такого человека, который без того и не задумался бы, сомнение в несомненных вещах.

12 апреля. Христос подчеркивал в борьбе с фарисеями, что слово больше свидетельствует о внутреннем человеке, чем дело, а теперь мы постоянно говорим: ты покажи нам на деле, а не на словах...

20 апреля. Лучший вид свободы изображен в «Троице» Рублева: умная беседа о жертве с последующим согласным решением. Лично я ненавижу резкие споры (помню Гершензона![45]) с умственной истерией и насилием темпераментов: это война. А свобода людей в совете: не хочешь, не можешь сказать — слушай и дожидайся, когда найдет на тебя желание сказать, посоветовать со своей стороны.

24 апреля. Продолжается дождь в виде облачной сырости, все раздрызгло, везде шум воды, всюду от земли поднимается пар, тронулся березовый сок, почки надулись и пахнут. Самый центр, самая сила — весна воды. Постановление ЦК[46] доставило столько же удовольствия, сколько успех борьбы за жилище в Москве. Наконец-то сломалась эта чека мысли и любви, всепроклятая организация мелкоты, пыли человеческой: какой ужас — организованная пыль! — «Погоди радоваться, они тебе еще покажут!»

26 апреля. Первое чувство при соприкосновении с природой — это смириться, отдаться, даже припасть. Человек слабым приходит к природе, а уходит сильным. «Новый человек» к природе относится, как завоеватель, не покоряется, а покоряет... 1-й тип — человек-земледелец, 2-й — промышленник. 1-й — художник, 2-й — ученый. Надо помирить искусство и науку.

30 апреля. Приехал молодой человек (из молодых ранний) интернац. наружности, назвался очеркистом, сотрудником газеты «Стройка» (по фам. Аквилов — так назвался) и задал мне вопрос: «Сейчас искренно писать нельзя, но вы пишете искренно и вам можно верить,— что нужно для того?» Я отвечал и много беседовал, имея, конечно, в виду, что он агент. Отвечал же я в том духе, что если бы и дана была свобода писать,— все равно сами бы писатели не решились, потому что все «против» было бы и против государства.

2 мая. Если принимать человека, то надо принимать его не таким, как хочется видеть через тысячу лет, а таким, как он есть. Всякая революция потому кончается реакцией, что не хочет признавать человека, как он есть.

«Даурия» вянет. Больше всего угнетает, что если бы и разрешили личную свободу в писании, то сам бы не стал писать: правда, как станешь писать, если самый процесс писания с его побуждающими мотивами является процессом, враждебным нынешним предпосылкам государственного строительства. Первое враждебное в нем — это что писатель непременно говорит от себя лично и о том, что он увидел, притом говорит, не обращая внимания на лай, потому что общество обыкновенно вначале и не может раскусить значение его слов (так было с Достоевским, Толстым). Второе — он говорит не всем вообще и не классу, а личностям, способным продолжить его личное творчество. Третье — писатель подписывает свое имя, в то время как революция стремится на грифельной доске класса стереть все имена, соединяя дело вождей приблизительно таким же порядком, как в Библии соединяется закон Ветхий и Новый. (Ленин с его нэпом теперь уже похож на Ветхий завет.)

Закон революции: всякое имя, кроме имени вождя, есть обманное имя. Ученый, если ты хочешь сохранить свое имя, будь вождем масс, художник, писатель, музыкант и, бывает, даже все должны петь, играть лишь от имени революции. И, в частности, мой «искренний» тон обращения к родным существам всего мира, включая растения и животных... Хорошая сторона процесса в том, что в нем заключается совершенная гибель эстетизма, обыкновенно подменяющего собой этику и религию. Слово должно быть деловым и серьезным.

3 мая. В настоящее время неудачу с РАППом приписывают их невежеству, и Горький постоянно твердит: учитесь, учитесь! Но что значит это «учиться»? В понятие «учиться» нашего времени входило также понятие и «слушаться старших» (в смысле уважения культурной связи с людьми). Культура нашего времени — это своего рода универсальная семья, в которую я, учась, вхожу с трепетом и послушанием. Теперь писатель «учится» больше нашего — чего стоит один Шкловский!

Вчера на рассвете я был в лесу на вырубке с редкими огромными деревьями,— это были ели, сохранившие теперь на их свободе все тяжкие следы старой борьбы за существование в тесном былом лесу, сосны были тут как пальмы, а на елях целые стороны отмерших сучьев висели, торчали, спрашивали вас или рассказывали свою историю. И почти каждое дерево это рычало: это дятлы задавали свою знаменитую весеннюю барабанную трель. Бесчисленные певчие дрозды, каждый по-своему восклицал и вещал короткими словами, каждый повторял одно и то же: так один вещал на наш человеческий язык очень отчетливо: «Две вещи, две вещи!». Другой: «От-личаю, от-личаю!» Третий — «Испол-няю!» Четвертый: «Про-зевал!» Конечно, они все вместе с дятлами, тетеревами (тетерки все время квохтали с сарычами, зорянками и всякими птицами, служили, вероятно, и им самим неведомую обедню), но мы, люди, в их возгласах узнавали каждый свое, и это вполне понятно: мы, люди, в родстве с ними, но зато мы и люди, чтобы в этом всеобщем родстве установить связь и единство.

Лично я выбирал себе из всех звуков моей обедни два эти восклицания: «Исполню!» и «Про-зевал». Я принимаю это «исполню» очень радостно в своей скромности, смирении подлинном и в сознании теперь, что я дал людям зерно растения, которое при хороших условиях может размножиться и наполнить хлебом весь мир; и пусть погибает, но это не моя вина, я лично дал, я исполнил свое.

А другой голос «прозевал» говорил мне о девушке, которая откинулась в кресле, закрыла глаза, вдруг вспыхнула и прошептала: «За такое чувство можно все отдать». А я ей читал в это время с бумажки исповедь своей любви к ней, все видел, и почему-то не смел. И так прозевал я, пропустил навсегда единственную предоставленную мне минуту блаженства в жизни самой по себе. Так было назначено мне — променять жизнь свою на бумажку. И это не сознательно (то было бы еще хуже), а «за грехи» или по назначению. Вместо того остались бумажки — мои «труды».

Сокровище жизни, ядро ее, зерно, ток ее электрический — все, что из огня, из света, из неба голубого, из зелени, из песен птиц,— все, все решительно в этом зерне, и вместо этого бумажка с распятым автором. Смешно говорить

в обществе — что ничтожно все, так я мал, но в малом этом — все мое. Бумажка эта вполне взамену, как если накоптить монету, приложить к белой бумаге и кружок вырезать. Пусть монета погибнет, кружок остался, и кружок этот теперь уже есть все мое, и потому я поэт самой чистой воды, такой поэт, который в недостатке своем восхищается жизнью и раскрывает ее сладостно-прекрасные недра.

Как мне жизнь презирать, если я ее не вкусил, как мне гордиться своим талантом, если талант, или метаморфоза жизни в бумажку, был моей роковой бедой, а не следствием моей воли и сознания. В своем таланте я жил, как животное, имеющее сверх двух третий глаз: два глаза просто были проткнуты, а третий наверху глядит выше цели житейского своего счастья. И это прекрасно и нужно для людей, только я лично желал бы иметь два зрячих глаза, как у всех людей, чем два слепых и один не для себя, а для раскрытия недр жизни.

Человек существует на земле вовсе не из-за себя, а для единства.

8 мая. Куда ни пойдешь (рыбные пруды, пашня, лес, огороды... трест и т. п.), везде совершена работа, и вся она сделана массой полуголодной (из Саратова за фунтик хлеба). Все делается под страхом голодной смерти, и потому узнать себя в своих делах человек не может. Оттого писатель выродился в очеркиста. Все рассчитано на массового человека, который в среднем за кусок хлеба при голоде готов на все, как рыба, массой идущая в верховья рек. На этом движении масс теперь и должен новый писатель (пролетарский) строить свою «идеологию», тогда как старый (Шекспир) изображает личность на фоне животной жизни масс. Как имя умирает в числе.

12 мая. Вернулись с Павловной из Москвы. Комендант по заселению[47]. Гниющий быт в домиках и «пресуществление» человека на 15-ти метрах с итальянским окном и тюлем. Все на тюль, оттого что он есть в кооперативах, тюль и разноцветные колпаки на лампах. После всего-то — какое блаженство! Тюль, и герань, и абажурчики — все атрибуты мещанства, а между тем после всего (преображение мужика в рабочего, домовладельца в служащего) — совсем иное значение (герань в Москве — основа декоративного цветоводства), тюль впускает свет и закрывает квартиру от глаза, тюль — это знак перехода от избы к московской квартире (полна Москва деревенских девок). Тюль — это рай: тюлевый рай и деревня, городской тюлевый рай в новом доме в семье шофера и деревенская грязная жизнь. Жизнь раздевается (старые песни забыты, серафимы в музеях, без одежды сказок и всяких заманок личного счастья, труд у земли стал бессмысленным, потому что все на свете легче его). Все бегут от земли.

Освобождение писателей от РАППа похоже на освобождение крестьян от крепостной зависимости и тоже без земли: свобода признана, а пахать негде, и ничего не напишешь при этой свободе. Но так не надо понимать, что нет бумаги или не печатают. Земля писателя не в бумаге и не в праве писать о том или другом. Земля писателя и всего художника в твердой уверенности... его собственной личности.

15 мая. Вчера в последний раз ходил на тягу. Очень сильно пахнет березовым листом, и на солнце всякий зеленый клейкий лист блестит, как стальной. Осина еще в коричневых листьях (сережки у нее тоже сначала бывают темными, и потом особенно красивые темно-зеленые). Комары начались. Весь вечер наблюдал, как дятел дает на весь лес свою барабанную трель, ударит и оглядывается во все стороны, замрет и еще ударит, и так множество раз. Прилетел другой, сел на самую верхушку и, озаренный солнцем, стал часто пищать, вот он пищал, пищал так суетливо и задорно, потом улетел. А первый дятел продолжал рычать на том же самом месте. Вдали спорили между собой кукушки — которая перекричит. Ястребок пропищал своим тонким голоском. Вышла очень холодная, строгая заря, и это моя старинная примета, что, когда зацветет черемуха, непременно бывает холодно. Певчие дрозды, вероятно, боятся холода, почти совсем не пели, но под послед не выдержали и пели очень хорошо, и я слушал их до последнего...

Когда солнце садилось, я думал, что вот и моя жизнь садится, кончается, но когда оно село действительно, явилась заря, и на заре жизнь моя продолжалась,

и вот начали птицы стихать одна за другой, перестал барабанить дятел, кукушка успокоилась, под конец сильно взялись певчие дрозды, проплыли над лесом вальдшнепы — хор-хор! — и вслед за тем весь хор дроздов затих постепенно. Когда совсем стемнело, последний какой-то дрозденок во сне отчетливо пропищал: «Покойной ночи, хозяин Михайло Михайлович!» Нет, и тут жизнь моя не кончилась: явились над малинником звезды, а с левой руки из темного большого леса сверкала между стволами половина луны. Нет, конечно, самому сильному мудрецу и прекрасному человеку можно достигнуть такого чувства жизни, такого сильного, чтобы смотреть на все, как я сейчас смотрю и вижу свет через тесные стволы бора: так надо умудриться смотреть за стволы человеков, прежде всего через себя самого и своих ближних. Бессмертие человека существует как самое сильное чувство жизни. Страх смерти — это упадок, аскетизм — борьба за жизнь. И так поневоле, как хочешь, так и думай, но жизнь приходится складывать непременно надвое: тяжелую борьбу свою, пока не победишь, оставить для себя и хранить как тайну: правда, кому нужно это знать — всякий борется по-своему.

Но победы надо знать всем. Так вот, все эти весенние песни птиц, и заря, и звезды, и луна — все это этапы побед человека. Хорошо!

План в городе: 1) Быть везде, все видеть и не покидать пустыньки, чтобы не сорваться и не отдать первенство за чечевичную похлебку. 2) Страшная работа над книгой, по строгому плану дать звероводство.

Ошибаюсь ли я? Мне так чуется, будто сталинская революция стукнулась в тупик и начала ослабевать: сталь и чугун задавили жизнь, вместо мяса — на! — чугун.

Вчера читал о Гапоне и Азефе и думал, что подлецов и мошенников гораздо выгодней пускать в купцы, чем в политики. Каждый самый отъявленный негодяй в торговле отводит себе душу в увлечении «делом» и через то часто бывает полезен, но политик приставлен непосредственно к человеку, к зловласти, тут действуют без буфера «дела» (конечно, это надо обдумать со всех сторон).

16 марта. Цветет черемуха. Листья осины только-только вышли из младенческой темной окраски в зеленую и уже качаются на своих черешках; только эти нежные листики еще не шепчутся, как маленькие дети, когда начинают ходить, а говорить не могут.

20 мая. Не искусство пало, а этика. Сила русского искусства была в этике.

Рапны были ужасны тем, что ограничивали поле художественных исканий почти до запрещения. Они прекращали художественные искания, заранее предрешая их результаты.

22 мая. Был вечером у Реформатских (Надежда Вас., Алексей Александр.)[48]. Читал начало «Даурии». И вот тут было мне что-то вроде упрека за те места, которые открывали критикам удар в малосоветские места. Вообще задача писателя теперь такая, чтобы стоять для всей видимости на советской позиции, в то же время не расходиться с собой и не заключать компромиссы с мерзавцами. На этом пути создается абсолютно корректный чиновник. Глубокий же спрос времени — это на искренне исповедующего революционную веру человека, побивающего марателей революции их же оружием. Нет, вероятней всего, они просто хотят игры...

24 мая. Ложные гипотезы впоследствии бывают полезны тем, что и в ошибках вскрывают истинные побудительные мотивы их создания. Так вот в 60-х годах свирепствовало механистическое мировоззрение и было обязательно для каждого передового студента, как «нет бога кроме Аллаха» для магометанина. Теперь наука отвергла гипотезу происхождения живого существа просто из «земли», но зато прежнее верование перекинулось на строение общества, и происхождение личности из «масс» объясняется почти как происхождение живого существа из неорганической среды. Отсюда понятно, почему менко механистическое мировоззрение в 60-х годах сменилось революционным: оно подготовляло марксизм.

31 мая. В «Новом мире» помещен рассказ Сергеева-Ценского и статья к 30-летию его литературной деятельности. Статья эта шельмующая[49]. N. заметил редактору, удобно ли по поводу 30-летия помещать такую статью, а редактор на это ответил, что Горький считает его за вредного нам человека. Давно ли тот же Горький писал Р. Роллану, что во главе современной литературы идут Ценский и Пришвин.

Слышал, что Ценский целую неделю добивался свиданья с Горьким, и когда обозленный (платил за номер в день по 20 р.) наконец сошелся с ним, то разговор был такой: Горький: «Вы пессимист». Ценский: «Вы оптимист».

Интеллигенция, как сила антигосударственная, кончилась совершенно, сохранилась некоторая степень протеста, но не принудительного характера, и постановление ЦК о едином союзе (верноподданных) писателей уничтожает и этот протест. Теперь еще нужно некоторое время для забвения...

Постановление ЦК рассчитано не на подъем интеллигенции, а на ее бессилие.

3 июня. Маскировка социальным заказом — это обычное явление современности, и, что самое страшное, маскируется в социальный заказ и действует подобно категорическому императиву стадность человеческая, та самая стадность, которая создает кошмарные, давящие веками человечество легенды... Вот на Ценского теперь, несомненно, наваливается этот кошмар, которому он противопоставлял всегда через свою трепещущую индивидуальность личность человека. Так часто бывает: то, чего боишься, к тому в лапы и попадаешь.

19 июня. «Смешанный человек» (партиец из троцкистов) — советский либерал: сущность всех либералов в том, что они говорят, но не делают, другие за них делают и с позором их отметают. Либеральная природа троцкизма (процветание наук и искусства).

«Партийный кулак» — сын деревенского кулака, но тот имел потребительский идеал, участвует и в производстве (часто первый работник в селе), это исключительно потребительский тип и даже если кому-нибудь поможет, то исключительно за счет казны.

Эти «кулаки» очень организованы, действуют везде шайками, у них перед позицией тыл, есть куда отступить. Наш «красный профессор» С.[50] — этот тип, в один год прославился от Москвы до Владивостока.

Все либералы полезны своей критикой, но у них не может быть цельной идеи, потому что в глубине своей исходят из личного мотива...

22 июня. Утром возвратился в Москву. Мое главное понимание жизни за эти дни сосредоточилось на мысли, что мужики одолели большевиков: кулак, вернее сын кулака, составляет главную массу партии, и Москва — это деревня по человеческому своему составу.

23 июня. Когда теперь услышишь, что вот такого-то ученого или писателя «разъяснили» и он через это вдруг потерял свой авторитет, то замечательно равнодушие его друзей, и часто сам бываешь недоволен собой: знаешь, что это «разъяснение» просто разбой, а между тем чувствуешь себя даже под влиянием. Это происходит от стадности нашей, мы рады примкнуть, когда превозносят когонибудь, и кажется в то время, будто мы тоже имеем в этом свое убеждение, но, когда вдруг «разъяснят», мы изменяем авторитету именно потому, что примыкали по стадности.

Борьба за средства существования без искоренения существа человека возможна лишь до некоторого предела (лица крестьян и рабочих).

...Царство наше существовало расширением и кончилось, потому что достигло предела, а теперь новая эпоха строительства началась и будет продолжаться.

25 июня. Наконец-то встреча с Ценским — прямо пират! А во мне он Николая Угодника увидел. Замошкин[51] предсказывает, что неопределенное бытие в литературе будет не менее года. Гронский[52], заняв пост вождя литературы, будучи необразованным человеком, должен скоро погибнуть, во всяком случае, наживет себе много неприятностей. И сейчас уже везде говорят, будто он где-то в соб-

ранни высказался о необходимости в литературе «социалистического реализма»(!). Горький будто бы сторонится.

26 июня. Завтра закончат переписку «Даурии», и завтра же я поправлю; 28-го отдам Смирнову [53], 29-го пущу на оформление, и вечером можно уехать.

1 июля. Тысячу лет и больше пересыхало болото, но почему же именно пересохло при мне?

За этот год произошло нечто очень большое, что именно, назвать не могу, но только иначе я стал понимать и прошлое, и современность. Раньше (эпоха нэпа: «Кащеева цепь») мне казалось, что из прошлого должно отобраться достойное и на нем вырасти новая Россия. Теперь прошлое просто прошло, и новая страна уже родилась и растет.

Смерть одних идет на радость других, и третьи живут как свидетели подлости самого факта продолжения жизни: они видят, как, подчиняясь неизбежности, женщина выходит за другого и мужчина за глазами своей покойной подруги разделывает веселенькие коленца. И так, изменой когда-то любимому, а не во имя любви и осуществления сыновьего долга переменяется мир. «Там прошлого нет и следа». И напор этой «жизни» (икры) столь велик, что в этой икре два сорта: 1) зернистая икра — это все охотники жизни, поднятые непосредственно силой любви: это полмира и другая половина мира, 2) икра паюсная — люди деловые, занятые добыванием средств существования: 1) любятся и 2) добывают средства для любви (два глагола). Большой грех — делаться на основе биологии икры пессимистом. Вот Пушкин... Он же умирает...

Революция очень дорога, ее альтернатива — гаснуть в пауперизме или в мещанстве, вернее, в том и другом: нищета подрывает силы, а мещанство их забирает к себе, как в санаторий. Вот теперь, в новую эпоху колхозного нэпа, будущее показывается не как возрождение (эпоха нэпа), а прямо как Америка: прет человек, и нет ему удержу...

«Трудящийся сквер» Союзтранспорт работает по ночам: стелят на Писцовой ул. мостовую.

Сегодня утром дворник сказал, что рабочие разбегаются по деревням коров разводить (постановление ЦК). Вот так аппарат: постановили раз — и крестьяне бросились вон из деревень на строительство, постановили два — и рабочие побежали в деревню.

Вижу массы людей и делю их на: 1) все те, кто поглощен добыванием средств существования,— трудящиеся, 2) охотники, т. е. кто сверх борьбы за существование имеет к чему-нибудь охоту: художники, любовники, дельцы-авантюристы, утописты, халтурщики. Пробовал считать, выключил детей и стариков — охотников получается ничтожная часть процента.

Вокруг меня хаос: аэропланы, сегодня бросали пропеллеры; подозрительный домик вроде постоялого, с качелями, там открыто пьют, ругаются (ст. Русь); новый дом строится для военных; вспаханы пустырь и огород; коровы... рынок (Бутырский); и никто не скажет, не объяснит, что именно делается: стучат, гремят, возводят, а что именно, спросите — и никто не скажет... потому что или все пришлые, или дело пришло само; и присмотрелись, везде строят, неинтересно. В этом хаосе ритма нет никакого, но если жить самому среди хаоса, то сердце твое, отбивая удары, усваивает видимое глазом из хаоса, начинает чуть-чуть работать в этом хаосе.

В «Новом мире» Смирнов сказал, что «Даурию» не прочел, а прямо Гронскому передал (скорее всего, читал, но не понравилось). И я теперь завишу исключительно от каприза этого ничего не понимающего в литературе человека (он требует от писателей «социалистического реализма»).

В МВО [54] 4000 членов. Пользуется, конечно, шайка. Это просто — в члены, а вот в шайку попасть! Сегодня опять правление будет обсуждать, разрешать мне

натаску собаки или нет. Учреждение бюрократическое на потеху высшего комсостава.

4 июля. В дом печати членов привлекали хорошими обедами, а когда теперь членов стало довольно (4000), а всех кормить нечем, то назначили перерегистрацию с тем, чтобы к обеду допустить только активных. «А кто будет допускать?» — спросил я. «Все блат,— ответили мне,— чистый блат».

Так некоторые думают теперь про всякое большое общество, что во главе его всегда есть банда, которая и пользуется всеми благами общества, а члены питаются крохами, падающими с их стола.

15 июля. Сегодня в трамвае в давке и грохоте вдруг понял мертвую тишину улицы большого города, мне представилось, что гремит это так себе и оно неважно и что вот живет и действительно заполняет собой пустоту и тишину делает живой, того нет здесь совсем. Мне были отчетливо понятны уличные грохоты в мертвой тишине, как нечто постороннее ей самой, не имеющее с ней ничего общего.

Так, значит, собственно мертвую тишину я раньше не слыхал и понимал в этом ходячем выражении совсем другое, вроде того, что на море называется «мертвой зыбью». И очень возможно, что это понимание далось мне, потому что я вышел на улицу в такую тишину из редакции «Нового мира», где познакомили меня с поэтом Безыменским: какое-то было мое «все равно» по отношению к нему и его «все равно» в отношении меня, и тоже «все равно» Гронского в отношении моей рукописи и мое «все равно» к Гронскому, который решает в литературе все и ничего в ней не понимает.

Дом радиофицирован, сегодня в 1/2 7-го я уже слышал 6 условий т. Сталина, «Кармен», а потом начали урок танцев. Радио меня выгоняет на улицу, потому что я не могу уходить в себя. Да, я выхожу из себя и делаю, чтобы не быть с собой.

8 августа. Стоит жара. Леса горят везде. В Москве не продохнуть.

Может ли быть красота в правде? Едва ли, но если правда найдет себе жизнь в красоте, то от этого является в мир великое искусство: таким великим искусством была русская литература до революции.

Да, конечно, и это правда — в образе партийной газеты «Правда» есть правда, но она ничего, кроме себя (правды), знать не хочет, и оттого она сама по себе, а искусство само по себе. Так вот и живем теперь: искусство без правды, и правда без красоты и личности человека.

11 августа. Стало прохладней, брызнул дождик, но пожары продолжаются и от дыма горько во рту.

Звезды были на небе, как бусы в избах кустарей, перешедших в производстве своем с бус на ампулы: бусы эти многоцветные, пережитком старого времени висят в избах без всякой связи с текущей жизнью — вот так и звезды, когда-то ангельские душки, теперь разъясненные и совершенно ненужные реликты, висели, проглядывая неясно через дым горящих лесов.

24 августа. Ефр. Павл. предана дому, а не лицу. Из этого понятно ее подчас полное пренебрежение к моему личному, и нельзя обижаться — она безмерно предана дому. В огороде у нее каждое отдельное растение плохо живет (очень запущено), но их много, «в общем» выгодный, хороший огород числом берет. Вот это «крестьянское» определяет нашу революцию с ее массами и обезличкой. Задушевно беседует с любимой гусыней и вдруг сама собственной рукой зарежет за то, что бесполезна.

29 августа. Совесть Щедрина в то время была так же растревожена, как теперь у нас растревожена совесть среднего человека, и, как у него, прямота и честность в поступках человека являлась как бы конечной последней реальностью, так и теперь жажда честного дела и честного слова стала скрытой всеобщей потребностью, больше всего этого хочется, когда мало-мальски насытился хлебом

9 сентября. Сегодня из расчески вылетел еще один зуб, и явился вопрос,

можно ли где-нибудь теперь достать расческу. Итак, почти по всем предметам «ширпотреб» и во всей стране. А сколько выщербляется из нравственного мира людей и ничем не заменяется необходимым для уверенности в завтрашнем дне. И ты, гражданин советский, разве не чувствуешь, что, живя в случайном и хватая случайное (сегодня что-то дают, спешите!), ты сам превращаешься в случай и выходишь за пределы закономерности.

Вожди и передовые бойцы живут верою в светлое будущее. Так было, когда Керенский сулил светлое будущее, а рядовой ему ответил, что его будущее — могила. Но то был момент гибели вождя: да, могила солдата была могилой вождя. Это теперь учитывают и спешат восстановить ширпотреб, т. е. удовлетворить, заглушить... Впрочем, сам человек, социально разделенный и обессиленный, не страшен,— строить без человека нельзя — вот где источник тревоги.

Вопрос в том — существует прямое вредительство или оно само собой выходит как следствие неверных посылок? Например, как можно предположить, что при обсуждении плана пятилетки вовсе забыли о человеке-потребителе и нынешняя нехватка в «ширпотребе» не есть ли то же самое, что в царской войне явилось в решительный момент как нехватка снарядов? Был ли Сухомлинов прямым вредителем? Нет, все вытекало из системы, и я лично думаю... Корень плохого вот в чем: раньше казалось, что вот если я целиком поднимусь и стану грудью за Советы, то Совет победит весь мир. А теперь последствие моего подъема кем-то уже предусмотрено, теперь, герой ты, никого не обманешь, тебя отметят, наградят, обласкают, а потом изучат, разберут, разъяснят и отправят на склад к Бухарину и другим почетным реликвиям.

Большевизм по началу своему и был голосом предельного рядового, но дальше игра началась снова.

Итак, вот тема: вождь и предельный рядовой.

Много рядовых должны были безвестно погибнуть, пока не дошло до того предельного, благополучие которого является победой вождя, а его упадок и смерть определяют плен народа и гибель вождя. Об этом предельном рядовом я хочу написать свою повесть, потому что мне это ближе всего, я сам всегда хотел быть предельным,— не герой, не вождь, не тот, кто обещает будущее, а тот, кто заключает в себе совесть события, рядовой человек, чающий во тьме света и совершенно необходимый для события, но незнаемый, вот кому я сочувствовал в своем русском социализме и в русском искусстве.

11 сентября. Сколько рядовых должно безвестно погибнуть, пока не дойдет до предельного, смерть которого непременно влечет за собой гибель вождя. Раздумывая о нынешнем циничном отношении народа к вождям, я прихожу к мысли, что эта деревенская этика перекинулась в государственную, в русском деревенском народе на всякое свое близкое начальство смотрят как на необходимое зло, и в начальники идет последний человек. С другой стороны, есть какой-то неназываемый начальник, вмещающий в себя всю совесть и правду всякого дела, он, этот предельный рядовой, пожалуй, даже не выражается персонально, а все-таки он есть и без него все бессовестно и победы никакой быть не может. Вот почему теперь берутся за писателей,— что без этого предельного рядового писателя никакой победы быть не может. Но, с другой стороны, вызов предельного рядового, быть может, есть дело вредителя, который хочет покончить с ним и сделать все совершенно бессовестным, погубить весь исторический опыт и все распустить в грязь. <...>

Тем не менее вредитель, конечно, есть, как существо с бесчисленными именами и лицами...— общее имя ему Кащей Бессмертный. Но это же старый знакомый; встречаясь с ним, я выпрямляюсь, я чувствую себя в сфере того предельного рядового, для которого вожди и начальники лишь маленькие люди...

13 сентября. Я лично представляю вредительство как процесс насилия человека над другим человеком с разрушением в нем лично-творческого начала процесса жизни. (Капитализм — мне этого мало.)

25 сентября. Установилась тактика: разрешать все острые вопросы в личном порядке: «На тебе, отвяжись!» В этой линии каждому ловкачу можно жить очень хорошо. Вот был назначен паек 80-ти лучшим писателям, а получают его

280, причем писатели, вроде Григорьева, сидят без пайка, а машинистки получают. По этой линии идут разные советские мещане. Хорошо бы поднять Герцена! Вот это идея: перечитать, поднять всех старых писателей — с одной стороны, и их глазами вглядеться в наше время, с другой — глазами советского раба на них посмотреть, и так поразмыслить о материалах собственной жизни с окончательной целью написать Кащея.

Кащей прошлого — буква ять и Кащей будущего. Первое — это когда движение жизни задерживается от привязанности к пережитому (буква ять), второе — ради одного движения губится жизнь (а «жизнь» — это есть настоящее, есть радость).

Кащей — это вот еще что: взять наших мужиков, ведь они все индивидуалисты и всякую общественную работу делают нехотя. Система колхозных трудодней — это единственное средство принудить их работать для общества, но, конечно, отдельные крестьяне есть отличные общественники. И вот то, что они со всей радостью делали бы от себя, теперь им из-за ленивых анархических масс приходится делать под палкой. Для них-то именно государственное принуждение и является Кащеем. Горький — это типичный анархист. Как же вышло, что он стал ярым государственником? Вот как вышло: большевики взяли власть, из этого все и вышло. Взяли... «Надо было», «Не надо было» — вот в чем разошлась интеллигенция. Власть была взята для того, чтобы этой силой уничтожить капитализм и устроить трудовое государство. Антибольшевики считали, что государственную власть брать нельзя, потому что людей переделывать надо не принудительно-материальным путем, а путем духовного воспитания. Большевики оказались правыми. Власть надо было брать, иначе все вернулось бы к старому. Монархия держалась традицией, привычка заменяла принуждение. В новом государстве новый план потребовал для своего выполнения принуждение во много раз большее, а люди те же и еще хуже. В конце концов рост государственного принуждения привел к столкновению коллективного сознания и личного и в творчестве — к торжеству количества над качеством, «сознания» (идеи) над бытием.

10 октября. Мы должны теперь работать в молчании и за великое и единственное счастье считать, если из этой работы что-нибудь выходит. Придет время — и мы вдруг все увидим сделанное, обрадуемся и будем жить без таких вопросов, как живут вообще люди в здоровом обществе. Возможно, к этому не мы, а наши внуки придут (те), кто в своей жизни знал только нищету.

12 октября. Два хитреца: Толстой и Пильняк. Толстой открыто полез к меценатам и даже из Детского Села переезжает в Москву. Он даже прямо и сказал, что он пришел теперь к убеждению — он за советскую власть. Это надо понимать так, что Толстой признал полное отсутствие силы и какого-нибудь значения в том, что мы по-старому называли «общественным мнением», и, установив этот факт, признал «за совесть» советскую власть. «Вот Пильняк,— сказал я Григорьеву,— хитрее, он берет также все от власти и живет у нас как иностранец, но притом считается с «общественным мнением».

20 октября. Увидал своими глазами на Тверской, что она не Тверская, а Горькая, и потом услыхал, что и дело Станиславского (Худ. театр) тоже стало «им. Горького» и город Нижний — теперь Горький. Все кругом острят, что памятник Пушкина есть имени Горького и каждый из нас, напр. я, Пришвин, нахожу себя прикрепленным к имени Горького: «Обнимаю Вас, дорогая, Ваш М. Пришвин им. Горького».

Вот еще из Москвы темы: существует ли общественное мнение? Оно в молчании и анекдотах; во всяком случае, это не сила, на которую можно опираться, пользоваться, рассчитывать; это сила, подобная сну: видел сон и забыл, а день проводишь под его тонким влиянием; сон или влияние мертвых? Есть или нет?

23 октября. Художник должен иметь свободу, потому что он должен своими глазами видеть, и до тех пор, пока он не увидел, он ничего не может сказать.

Наше расхождение: я не могу, как нужно, и должен сначала сам увидеть:

является промежуток. Художник должен иметь время освоить материал, и в этом состоит сущность «свободы» художника: эта свобода не есть абсолютная, отмечающая избранника от других граждан, эта свобода есть производственно-деловая величина, обусловленная необходимостью творчества.

29—30 октября. Пленум Оргбюро. 30-го моя речь «Сорадование»[55]. Победа. Воистину Бог дал! Самое удивительное, что это вынесло меня по ту сторону личного счета со злом и оба героя, бонапарты от литературы Горький и Авербах, получили в моей речи по улыбке. Может быть, повлияла моя молитва в заутренний час об избавлении себя от ненависти к злодеям. И, по-видимому, да, в этом году суждено мне было побороть и страх сначала, а потом, кажется, и овладеть своей болью от ненависти к злодеям.

4 ноября. Итак, на пленуме я провел — 6 дней. Увидел все, и это «все» оказалось ничто. Каждый из ораторов личную обиду от РАППА представлял обществу под углом своего личного зрения, и оттого волей или неволей, сам того не сознавая, вывертывался весь со всем своим существом. Не знаю, хватит ли пальцев на одной руке, чтобы сосчитать людей, искренно выступивших за пределы своей обиды (Белый, Пришвин, Серафимович, Фадеев, Вс. Иванов).

Цель бога (ЦК) — выявить силу веры людей своих, чтобы потом использовать как органы информации.

Через речь Пильняка понял о пустоте всех, клянущихся в верности партии.

5 ноября. В то время, как мы говорили о сорадовании, хлеб вскочил в 70 р. за пуд и масло — 18 р. фунт! И это осенью, что же будет весной? В Москве шутят: «Ну, как поживаете?» — «Слава Богу, в нынешнем году живем лучше, чем в будущем».

6 ноября. Вот я думал о чем: люди в нашей бедственной жизни варятся, но не свариваются в единство. Получается механическая смесь, но не соединение.

7 ноября. Пленум показал, что Союз писателей есть не что иное теперь, как колхоз, а раньше это была деревня, различаемая по правилу: devide et impera[56]. Все насквозь лживо, и едва ли найдется хоть один человек, кто вне себя стоит за сов. власть. Те же, кто стоит за нее, стоят, потому что связали себя с судьбой этой власти, ставшей условием их личного существования. В этом отношении молчаливо составилась некоторая градация совести; одно — дело партизан с орденом Красного знамени, другое дело — Пильняк, устроивший свои отношения с властью в целях личного бытия, как знаменитого советского писателя. Пильняка треплют в журналах не по смыслу, а именно по «совести», как трепали Полонского и др. подобных «счастливцев». Некоторые (Огнев)[57] пробуют каяться в своей интернациональной совести в надежде докаяться до пролетарской, но это им никогда не удастся, потому что в совести пролетарской нет ничего — пустота, в которую врывается иное историческое содержание, во всяком случае, не гуманитарного характера.

В наше время все переживается без остатка, и мы на вчерашний день смотрим хуже, чем на утильсырье.

Если только нашему Союзу предстоит жить, то рано или поздно непременно должна начать формироваться и утверждаться в своих правах личность.

9 ноября. Беседа с комсомольцами, ударниками в литературе, не освобожденными от производства. Связался черт с младенцами! И совсем не развиты, и не смелы. Мне прямо сказали: «Таких рабочих, чтобы открыто стали обсуждать вопросы револ. этики, в Москве не найдете». Надо смотреть, однако, что среди множества есть какой-то один будущий...

10 ноября. Гронский делает тем писателям, кто из них может около него торчать или имеет влиятельную руку в редакции; всем другим, имеющим доступ по записи у секретаря, чуть ли не через неделю после заявления невозможно бывает продвинуть свою вещь: при личном свидании он все обещает, а его аппарат отодвигает и в конце концов возвращает. Так все мои дальневосточные очерки были возвращены, причем два из них были совершенно исчерканы, и мне было предложено из двух сделать один. Моя «Даурия» лежит шесть месяцев и будет

лежать без движения сколько угодно. Так развивается злость на Гронского, а между тем он сам и не подозревает своего вреда. Результат несогласованности частей аппарата вследствие незнания предмета самим редактором.

13 ноября. Чем дальше отходим от Пленума, тем гнуснее сознается положение писателя в СССР: ведь если мою сказанную речь и Белого исказили на свою пользу, то как же в невидимых и неслышимых делах! И далеко ли можно уехать на лжи!

15 ноября. О пятилетке нет больше лозунгов: не удалось. Общее уныние. «Если теперь,— сказал Н.,[58] — стать далеко и смотреть так, что все наше строительство провалилось, то причина этого будет: в чрезмерном, подавляющем всякое личное творчество развитии бюрократии».

«Каковы бы ни были монахи сами, но учение их уже потому правильно, что в нем более практической реальности, чем в учении уравнительного оптимизма. Монахи пессимисты для земли». (К. Леонтьев).

18 ноября. О победе страха и злобы: не победа, а просто проходит острота, проживешь и будешь умным.

И еще: это, собственно говоря, не страх и не мания преследования, напротив, это приспособление здорового организма и вполне естественное состояние.

Новая волна. Каждый раз, когда подходит волна, люди думают: «Но вот теперь уж большевикам конец!» И каждый раз уходит волна неприметно, а большевики остаются. Теперь наступает голод, цены безобразно растут, колхозы разваливаются, рост строительства приостанавливается... Эпоха коммунизма является на Руси школой индивидуализма. Это в особенности отчетливо видно у писателей.

Красный романтизм. Одна существенная черта, свойственная романтизму,— непрактичность.

Все забываю записать это, и вот наконец вспомнилось главное впечатление от XV годовщины Октября: 17 лет смотрел на портрет Ленина и равнодушно, и вот теперь, когда к Ленину присоединили Сталина в огромном числе и самых крупных размерах, то почему-то стало их обоих жалко. Да, сначала жалко стало, а потом и предположение явилось, почему это: вероятно, потому, что... трудно это выразить. Вот хотя бы Горький,— тут неприятно, а жалости и помину нет, напротив, хотя, конечно, и незавидно. Слава Горького пуста, и только досадно за человека: ведь он мог бы человеком быть, а не чучелом. Но слава Ленина и Сталина не пуста, тут совсем другое, тут как бы приговор быть всегда у всех на виду: мы, мол, будем петь «славься да славься», а ты будь тут, быть может, тебе и не хочется и понимаешь ты хорошо, какой это вздор, но нам непременно надо петь «славься» и ты будь. О, тяжела ты, шапка Мономаха!

Вчера с Павловной вспоминали то счастливое время, когда «массы» думали, что после смерти все мы встретимся. «Все с сотворения мира?» — спросил я. «Зачем все? — ответила она.— Там остаются только самые умные, добрые и образованные». «А похуже куда же?» «Необразованные? Те опять рождаются и достигают — образование, а то почему же все движется вперед, сравни-ка наше время и теперь».

Вот еще как выходит, что встречаться-то не с кем: с родными так, слава Богу, прожил жизнь и встретиться, может быть, и ничего бы, раз встретиться, но так, чтобы из-за этого свет переделывать, не стоит. Друзья тоже прошли. И только вот одна невеста моя, с ней бы я встретился, я бы все отдал за это, я готов до конца жизни на железной сковороде прыгать или мерзнуть, лишь бы знать, что на том свете с ней встречусь и обнимусь. (Хорошо бы спросить людей, кому с кем хочется встретиться, значит, кто кого недолюбил).

26 ноября. 23-го поехал в Москву и вечером слушал Белого, 25-го вечером вернулся в Сергиев с Левой.

Лева, прослушав Белого, сказал мне: «Раньше я думал, что ты, папа, оди-

нокий чудак, а теперь по Белому и по тебе вижу, что то была особая порода людей, и ты не один, было такое общество необыкновенных людей». «А мне удивительно,— ответил я,— в нынешнем обществе литераторов, до какой степени подлости может дойти человек и еще писатель!»

28 ноября. В речи Белого (краеведческ. секция) было советское же дело представлено с лицевой, недоступной самим коммунистам стороны. Выходило из слов Белого так, что царящее зло при посредстве творческой личности превращается в свою противоположность. Сам он своим личным примером показывает, как плодотворно можно работать и при этих условиях. Да, это верно: вот именно-то при этих условиях и надо напрягать свои силы и дать лучшее.

Жизнь человеческую, всю ее кашу, я представляю себе так, будто кто-то мешает ее, и твердое на низу постепенно растворяется, и что растворилось при нагревании обращается в газ. Мы, писатели, в существе своем должны быть в 3-м состоянии, где нет индивидуумов «я», а только личности, составляющие «мы».

1 декабря. «Один из моих принципов заключается в том, чтобы не вкладывать в произведение своего «я». Художник в своем произведении должен, подобно богу в природе, быть невидимым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не видеть» (Флобер).

Мой принцип: вкладывать в произведение ту часть своего «я», которая бывает и у других, отчего читатель принимает это «я» за свое собственное, вследствие чего «я» автора делается еще более невидимым, чем если следовать принципу Флобера.

Культура — это связь людей, цивилизация — это сила вещей. Например, в «Капитале» Маркса представлена эта сила вещей, выступающая в виде золотой куколки, заключающей в себе и любовь, и знание, и все другие атрибуты человеческой личности. Антитеза этой капиталистической силы вещей, или цивилизации, есть союз творческих личностей, связь людей культуры.

4 декабря. Вчера приехал из Москвы. Дождь — посадка. Ветер. Цивилизация является как сила внешнего принуждения культуры — это начинается во внутри-личном побуждении. Цивилизация действует через стандарт, культура создает детали. Наука первая пошла на службу цивилизации, и потому в широком представлении вся наука является как бы ответчицей за стандарт цивилизации.

Для художника жизнь на земле — это единство, и каждое событие в ней есть явление целого, но ведь надо все-таки носить в себе это целое, чтобы узнавать его проявление в частном. Это целое есть свойство личности: надо быть личностью, чтобы узнавать проявление целого в частном.

Что же такое деталь? Это есть явление целого в частном.

23 декабря. Разгар писания «Корень жизни» — и вдруг отняли свет до марта без всякого предупреждения. У писателей отняли, но оставили своей шпане. Не отсутствие света поколебало повесть, а мое раздражение. Самые мрачные мысли. Вызвал Леву. Начинаем борьбу за электрическую лампочку. Обидно, стыдно... Впрочем, никто похвалиться лучшим не может, потому что если и есть «лучшее», то оно потихоньку выкрадено лично для себя (у Якута[59] горят лампы: это через ГПУ).

28 декабря. Продолжается гнилая погода. Наст.

Сегодня закончил вчерне «Корень жизни» (Секрет молодости и красоты). Если только не окажется перегрузки в сторону оленеводства и описание этого будет читаться легко, то вещь будет очень хороша именно тем, что, несмотря на ее глубокое содержание, она будет читаться всеми.

Примечания

1. Лева — старший сын М. М. Пришвина.
2. В эти годы Пришвин увлекся фотографией и стремился в совершенстве овладеть этим искусством. В счет гонорара за переводы своих произведений на немецкий язык он получил из Германии портативный фотоаппарат «Лейку». Охота с фотокамерой

во многом заменила писателю охоту с ружьем и до конца жизни сопровождала его словесное творчество.
3. Фабр Ж. А. (1823—1915) — французский ученый энтомолог и писатель.
4. В поисках индустриальной темы Пришвин по командировке журнала «Наши достижения» предпринял поездку на Урал, на строительство машиностроительного завода. В результате поездки ничего не было написано, Пришвин не смог «освоить» увиденное, вернувшись из Свердловска с тяжелыми впечатлениями.
5. В ответ на «чистку» его творчества в печати Пришвин опубликовал в «Литературной газете» 9 января 1931 года статью «Нижнее чутье», в которой отстаивал общественную значимость своего творчества.
6. Ефросинья Павловна — первая жена Пришвина.
7. Имеется в виду поспешная, легкомысленная женитьба старшего сына. Брак вскоре распался.
8. Лицо не установлено.
9. Петя — младший сын писателя.
10. Каманин Ф. Г. (1897—1979) — писатель, круг его творческих тем был связан с жизнью послереволюционной деревни; загорский друг Пришвина.
11. Имеется в виду писатель А. Н. Толстой.
12. Речь идет о двоюродной сестре Пришвина Е. Н. Игнатовой, народоволке, открывшей в конце XIX века на свои средства деревенскую школу под Ельцом, где проработала всю жизнь учительницей. Оказала большое влияние на формирование личности будущего писателя.
13. Бутурлин С. А. (1872—1938) — зоолог и охотовед, товарищ Пришвина по охотам.
14. Лицо не установлено.
15. Лицо не установлено.
16. «На литературном посту» — теоретический и критический журнал, орган РАПП — Российской ассоциации пролетарских писателей.
17. Имеется в виду возвращение А. М. Горького на родину после десятилетнего пребывания за границей.
18. ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства.
19. РАПП — ведущая литературная группа пролетарских писателей, существовавшая с 1925 года. Боролась против других литературных группировок («напостовцы», «Перевал» и др.), используя грубые приемы полемики, наклеивание политических ярлыков и т. д. Ошибочным был выдвинутый ими «призыв ударников в литературу», лозунги: «Ударник — центральная фигура литературного движения», «Союзник или враг», отталкивавшие писателей старого поколения, получивших название «попутчиков». К «попутчикам» был причислен и Пришвин.
20. Имеется в виду писатель Л. М. Леонов.
21. Полонский В. П. (1886—1932) — литературный критик и публицист, в эти годы редактировал журнал «Новый мир».
22. «Дауры» — первоначальное название очерков о путешествии Пришвина летом 1931 года на Дальний Восток. Впоследствии очерки вошли в книгу «Золотой Рог».
23. Зворыкин Н. А. (1873—1937) — писатель, ученый, автор монографий, очерков и рассказов о животных.
24. Григорьев С. Т. (1875—1953) — писатель, в 20-е годы был известен рассказами и повестями для детей. Загорский друг Пришвина.
25. Лицо не установлено.
26. Одно слово разобрать не удалось. Здесь и далее так отмечены те места в тексте, которые мы не смогли прочитать.
27. Воспоминания А. Белого были опубликованы в сборнике «Памяти Блока», П., 1922.
28. Вольфила — Вольная философская ассоциация—существовала с ноября 1919 г. по май 1924 г. Среди учредителей ассоциации был А. Блок.
29. nihil — ничто, ничего (лат.).
30. Легкобытов П. М.— один из руководителей существовавшей в Петербурге в начале 1900-х годов секты хлыстов «Новый Израиль».
31. Жена младшего сына Пришвина.
32. Имеется в виду художник Вострем Г. Э.
33. Речь идет о Демьяне Бедном.
34. Воронский А. К. (1884—1943) — критик, писатель, в 20-е годы был редактором первого литературно-художественного журнала «Красная новь».
35. Роллан Р. (1866—1944) — французский писатель и общественный деятель. Возможно, речь идет о его статье «Прощание с прошлым», в которой писатель пересматривает концепцию «независимости духа» и утверждает историческое значение русской революции.
36. Красюковка — окраина г. Загорска.
37. Текст из 73-го Псалма царя Давида.
38. Возможно, Пришвин читал книгу А. Гарнака «Из истории раннего христианства», М., 1907.
39. Лицо не установлено.
40. Cujusvis hominis est errare — каждому человеку свойственно заблуждаться (лат.)
41. Речь идет об известном графике и живописце В. А. Фаворском, жившем в Загорске.
42. Кожевников А. В.— писатель, автор многих книг о советском строительстве, преобразованиях страны, покорении природы и т. д.
43. latifundia perdidere Italian.— Италию погубили латифундии (лат.).
44. Хилиазм — религиозное учение, согласно которому концу мира будет предшествовать тысячелетнее «царство божье» на земле.
45. Гершензон М. О. (1869—1925) — историк русской общественной мысли.
46. Имеется в виду Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года, в котором отмечалась нецелесообразность в новых условиях существования особых пролетарских литературных организаций. РАПП была ликвидирована.
47. Пришвин получил комнату в Москве, которой добивался несколько лет.
48. Известный лингвист Реформатский А. А. (1900—1978) и его жена Реформатская Н. В. (1901—1985), литературовед и критик,— многолетние друзья М. М. Пришвина.
49. В журнале «Новый мир» (1932, № 3) был опубликован рассказ Сергеева-Ценского (1875—1958) «Устный счет» и здесь же напечатана статья А. Ефремина «С. Сергеев-Ценский» с подзаголовком «К 30-летию литературной деятельности», в которой творчество писателя подверглось резкой критике.
50. Лицо не установлено.
51. Замошкин Н. И. (1896—1960) — литературовед и критик, еще в 20-е годы писавший о творчестве Пришвина.
52. Гронский И. М. (1894—1985) — журналист, литературный критик, в 1928—1934 гг.— отв. редактор газеты «Известия».
53. Сотрудник журнала «Новый мир».

54. Окружной Совет Всеармейского Военно-охотничьего общества Московского военного округа.
55. Имеется в виду выступление Пришвина на первом Пленуме Оргкомитета Союза советских писателей (29 окт. — 3 ноября 1932 г.).
56. divide et impera — разделяй и властвуй (лат.).
57. Огнев (псевд.; наст. имя — Розанов М. Г.) — (1889—1938) — писатель, педагог, автор рассказов и повестей о подростках.
58. Лицо не установлено.
59. Лицо не установлено.

Публикация В. КРУГЛЕЕВСКОЙ и Л. РЯЗАНОВОЙ.
Примечания Л. РЯЗАНОВОЙ

От редакции

Мемориальный музей М. М. Пришвина расположен в пятидесяти километрах от Москвы под городом Звенигородом в деревне Дунино. В дунинском доме писатель провел свои последние годы: с 1946-го по 1954-й. Здесь им написаны самые значительные произведения послевоенного периода: роман «Осударева дорога», повесть «Корабельная чаща», многие рассказы, здесь он продолжал вести свой дневник — труд всей жизни.

Простой деревянный дом, украшенный верандой, аллеи, поляна и сад вместе с прилегающим лесом еще во многом сохранились такими, как при Пришвине.

Дунинская усадьба интересна и своей историей, восходящей к середине XIX века. Здесь жили и бывали известные общественные деятели, выдающиеся представители отечественной культуры: народовольцы В. Н. Фигнер и А. Н. Бах, друзья Л. Н. Толстого — издатель народной популярной библиотеки «Посредник» И. И. Горбунов-Посадов, врач Д. В. Никитин, скульпторы С. Т. Коненков и А. С. Голубкина, художник П. П. Кончаловский и многие другие.

Во время Великой Отечественной войны в доме расположился медсанбат, на противоположном берегу в деревне Грязи стоял противник.

М. М. Пришвин полюбил этот уголок среднерусской природы, оставил много записей и рассказов о звенигородском крае. Писателя навещали друзья — П. Л. Капица, К. Паустовский, К. Федин, Вс. Иванов, А. Яшин, А. Лахути, Ксения Некрасова, бывали в Дунине дирижер Е. Мравинский и пианистка М. Юдина.

После кончины писателя его жена Валерия Дмитриевна как литературный наследник вела большую издательскую, исследовательскую работу. Она была основателем дунинского музея Пришвина. При ней образовался постоянный общественный совет музея. Валерия Дмитриевна завещала дом Пришвина Министерству культуры РСФСР. После ее смерти в 1980 году музей стал филиалом Государственного Литературного музея.

В настоящее время музей реставрируется. Сделан проект и на восстановление усадьбы. За последние годы она сильно пострадала: вымерз яблоневый сад, посаженный Пришвиным, прошедшим летом над усадьбой пронесся смерч, погубивший много старых мемориальных деревьев. Через газету «Советская культура» (26 августа 1989 г.) сотрудники музея вынуждены были обратиться за помощью к общественности, и люди откликнулись: спиливали упавшие деревья, расчищали завалы, но еще много надо сделать. Советский фонд культуры разрабатывает программу «Пришвин и современность». Эта программа предусматривает в том числе сбор средств на ремонт, реставрацию дома и усадьбы.

Редакция журнала «Октябрь» решила стать одним из учредителей пришвинского общества. Сотрудники редакции перечислили свой однодневный заработок на целевой счет Советского фонда культуры. На этот же счет коммунисты «Октября» перевели годовое отчисление от партийных взносов. Кроме того, редакция и ведущие авторы журнала провели благотворительный вечер в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, сбор от которого перечислен на пришвинский счет.

Почитатели таланта М. М. Пришвина могут поддержать наше начинание и помочь музею замечательного русского писателя. Пожертвования можно перечислить в Правление Советского фонда культуры, счет 702601 в Операционном Управлении при Правлении Жилсоцбанка СССР МФО № 299093, 2 с. В примечании платежного извещения необходимо указать целевое назначение денег: «Программа Советского фонда культуры «М. М. Пришвин и современность».

А. БОЧАРОВ

Мчатся мифы, бьются мифы

Слава богу, нынче уже не надо доказывать, что литература накрепко связана с мифами, вырастает из них, питается ими, сама рождает новые.

В равной мере очевидно и то, что мифологизм литературы являет себя не только в прямом и целеустремленном обращении писателя к мифам; в этом процессе задействованы и наше подсознание, прасознание, подкорка: мы как бы генетически пропитаны мифами, родовым образным мышлением, вобравшим невообразимо далекие, предпервобытные желания, страхи, табу, искушения.

В подтверждение могу сослаться хотя бы на повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»: именно такие «подкорковые подпорки» в немалой мере способствовали ее успеху, выделили из большого пласта произведений, разоблачавших сталинские жестокости. Не только иллюзией непридуманности и чистого детского взора — словно писал ее один из близнецов Кузьменышей — привлекает повесть, а и воздействием на таящиеся в каждом из нас «мифологемы». Причем это не было рассчитанным приемом опытного мастера; сама рассказанная нам история непроизвольно нажимала на таинственные клавиши наших издавних предрасположений. Тут и безутешно блуждающая душа одного из близнецов, лишенная своей половины; и дружба невинных существ, не ведающих, что они разделены непримиримой враждой — родовой ли, социальной, национальной, семейной; и милосердная красавица, дарующая свою любовь двум оборвышам; и разбойник, прицелившийся в красавицу, но пораженный ее красотой, и добрая фея-шоферша, безвинно погубленная,— почти все повороты сюжета причудливо опираются на мифологические ситуации и основанные на них мелодраматические коллизии, столь безотказно действующие на некие первоосновы нашего чувственного восприятия. Рискну уверить в противовес установившемуся мнению, что не суровой правдой, а именно обаянием грустной сказочности воздействовала повесть прежде всего

А уж мы, критики, оттачиваем в своих статьях ее социальную остроту.

И раньше было известно, но лишь теперь стало дозволено говорить вслух о том, сколь многое в познании человеческого бытия недоучел классический марксизм. Человек разумный был сведен к человеку классовому, за скобками оказались все тайники его натуры, генетическая прапамять одного человека и всего человечества. Вспомним не только безоглядное отвержение любых наблюдений З. Фрейда, а и не столь значительную по своим историческим масштабам, но тоже вздорную критику повести «Перед восходом солнца», где Зощенко попробовал благодаря своему поразительному художественному чутью воспроизвести индивидуальные мифы, индивидуальные страхи, идущие из подсознания, из недостижимых при обычных подходах глубин.

Наряду с этой, условно говоря, врожденной, «органической» мифологией существует, как известно, и та, которую обычно именуют благоприобретенной и которая возникает внутри любого социального сообщества непроизвольно, «сама по себе» или же в результате сознательного манипулирования общественным мировидением. В повседневном обращении находится, подобно денежным купюрам, множество подчас быстро сменяющих друг друга мифов и имиджей, в которые отливаются общественное сознание, общественные заблуждения, общественные упования.

Можно было бы, наверное, сказать, что случайно совпали два совершенно разных понятия: в первом случае речь идет о выражении народных верований, опыта, мудрости, в другом — о манипулировании народным сознанием. Но в реальности органическая и благоприобретенная мифологии переплетаются теснейшим образом; благоприобретенная почти всегда использует, сознательно или непроизвольно, прамифологию, а древнейшие мифы в своем бытовании впитывают реалии современности.

Главное, что разделяет их,— явственно выпирающие прагматические социаль-

ные цели благоприобретенной мифологии.

Клеймя «застойный» период, доктор философских наук Ж. Тощенко писал даже: «Как ни горько, но главной причиной, деформирующей нашу жизнь, была манипуляция общественным сознанием. Именно манипуляция, а не ошибки, заблуждения, которые можно понять и объяснить. Это была сознательная, планомерно осуществляемая политика, которая последовательно и жестко направляла духовное развитие общества по некоей заданной схеме». Думаю, что он обошел коренные, первичные причины деформаций, побуждавшие власть предержащих манипулировать. Но, будучи вторичной, сама эта манипуляция то и дело прибегает к мифам, назначенным увести людей от подлинного постижения действительности, выдать — несмотря на великое упреждение: не сотвори себе кумира! — идолов за идеалы.

Так уж — горестно и счастливо — устроено человечество, что оно нуждается в двух непременных благах: каком-то объяснении своих сегодняшних бед и в надежде на нечто светлое. Чем сильнее страждет общество, тем больше его потребность в таком объяснении и надежде.

Оттого человечество и нуждается в мифах и, низвергая одни, охотно вверяется другим: оно жаждет не только отрезвляющей правды, но и пьянящих истин о цели и смысле своего столь краткого земного существования; а мифология как раз служит надежным подспорьем для такого «опьянения истиной». Вспомним, как мы и сами охотно вверялись «деревенской» прозе, воспроизводившей миф о праведном крестьянском бытии как раз в те годы, когда происходил наиболее сильный отток людей из крестьянского сословия. Зато трудно принимали лишенную иллюзий «только правду» В. Маканина и Л. Петрушевской, показавших превращение личностей в «лишних людей», не востребованных обществом, историей, самими собой!

Вечное низвержение одних мифов во имя созидания новых — в этом закономерность духовной общественной жизни и даже, пожалуй, залог ее развития — как вечное противоборство добра и зла, жизни и смерти, бога и дьявола. Мифотворчество так же неотвратимо от бесконечной цепи истории человечества, как и мифоборчество. «Голое» знание не всегда вытесняет миф, а порой само нуждается в мифическом облачении, чтобы овладеть эмоциональным миром человека. Миф бывает образным воплощением, образной формулой предрассудка, но столь же часто возникает как образное воплощение знания, ибо рациональное в человеке не только взаимодействует с эмоциональным, но и лишь через эмоциональное способно утверждать нравственные ориентиры. «Не все — называется. Иное влечет дальше слов... Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко,— такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению»,— выделил А. Солженицын в Нобелевской лекции.

Эксплуатируя это человеческое устроение, политики и их идеологическая обслуга создают свою прагматическую мифологию, настойчиво возбуждая массовые иллюзии и упования.

Впрочем, и подобного рода общественные мифы исследованы сравнительно полно — только уже социальными психологами и политологами,— и я помянул об их истоках лишь в той мере, в какой это потребно для последующего разговора именно о наших благоприобретенных мифах.

Как о хорошо известном, всего лишь для «разгона» своей статьи о современных фильмах писал недавно кинокритик Ю.Богомолов: «Каждое время так или иначе формирует мифологический климат... Своеобразие нашего мифологического климата заключается в том, что, помимо архаических слоев, аккумулировавших, вобравших в себя древние инстинкты родового человека, ощутимы миазмы сталинской мифологии. Напомню, что именно сталинская мифология обожествила такие коллективистские реальности, как класс, партия, государство, революционное правосознание» [1].

Сходный процесс отметил и И. Золотусский в статье «Крушение абстракций»: «Сейчас нет культа Сталина, но есть культ партии. ...Что это, как не новое идолопоклонство, только не персонифицированное, а коллективизированное» [2].

«Обожествление» Сталина и впрямь служит классическим — только не успокоительно отдаленным, а и по сию пору кровоточащим — примером подобного творчества, создающего — отметим находку Ю. Богомолова — мифологический климат. Сталинское время вообще было необычайно щедрым на манипулирование мифами, тем более что наш вождь ловко и беззастенчиво пользовался этим пропагандистским оружием, выдвигая лозунги, создающие иллюзию благоденствия и никак не отвечающие реальному положению дел («Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Головокружение от успехов», «Сын за отца не отвечает»), или внедряя разного рода образные имиджи: фотография Ленина и Сталина на скамье в Горках, фотография Вождя с девочкой Гелей на руках, трудолюбивая сборщица хлопка Мамлакат или не поступившийся пионерскими принципами Павлик Морозов. «Не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью... Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом»,— сказал в той же Нобелевской лекции А. Солженицын.

Брежневу такое ловкое манипулирование повторить уже не удалось: оно воспринималось народом как стыдное расхождение между словом и делом или в лучшем случае как незатейливый фарс.

[1] «Литературная газета», 1989, 14 июня.
[2] «Новый мир», 1989, № 1, с. 238.

Подтвержденный наконец-то недавно «сверху» (а мы еще не отвыкли от высших благословений!) приоритет общечеловеческих нравственных ценностей над классовыми оживил существовавший и ранее интерес к содержанию и состоянию общечеловеческих социальных мифов. Но одновременно он стимулировал и потребность развенчать многие классовые мифы, долгое время взращивавшиеся нашей печатью и литературой. Не поняв того, что король голый, невозможно утверждать общечеловеческие ценности: сокрушение идолов расчищает путь к идеалам. К тому же сразу после Октября мы взахлеб занялись разрушением прежних мифов, отвергнутых вместе со старым государственным строем и социальным укладом: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!».

Но поскольку свято место пусто не бывает, понадобились новые — своего рода антимифы! — выгодные и нужные классовому государству. Вас. Гроссман подметил в «Жизни и судьбе»: «Государственная мощь создала новое прошедшее, по-своему вновь двигала конницу, наново назначала героев уже свершившихся событий... Государство обладало достаточной мощью, чтобы переиграть то, что было уже однажды и навеки веков совершено, преобразовать... отзвучавшие речи, изменить расположение фигур на документальных фотографиях». Аналогичные действия в «1984» Дж. Оруэлла производило Министерство правды, изымая из прежних газет и книг все неугодное сегодня и тем создавая новые сцепления событий, новую мифологию. Наверное, это вообще одно из первых действий революции или иного резкого нарушения хода событий: переписать прошлое ради оправдания нынешнего.

Так что сейчас в известном смысле происходит не демифологизация мифов, а демифологизация антимифов — тех, что были сочинены в результате революционного вытеснения прежней мифологии. Может быть, отчасти этим и объясняется такая напряженность нынешнего процесса демифологизации: уже по третьему «заходу» идет мифосозидание!

Демократия существует благодаря соревновательности, умению убеждать и предлагать альтернативы. Тоталитаризм же рухнет без постоянных уверений в своем обладании истиной, без обожествления Единственного — единственно возможного Вождя, единственно справедливого Состояния, единственно предначертанного Пути. Оттого демократия тяготеет к диалогу, диспуту, опоре на разумный довод, а тоталитаризм уповает на веру и, как следствие, на миф, способный освятить Единственность. «Стоит, кстати, задуматься, почему тоталитарные режимы так нетерпимы к эстетическому инакомыслию всяких «измов», отчего им так нужен единообразный «реализм», который правильнее назвать «мифологическим», нежели «социалистическим»,— мимоходом, но очень точно заметила М. Туровская [1].

Вот почему сегодняшнее ниспровержение идолов связано с возрастанием демократии, а демократизация, в свою очередь, не может обойтись без сокрушения мифологизированных демонов прошлого.

Скажу только, что высвобождение от благоприобретенных мифов непременно зависит и от духовной самостоятельности личности. Те, кто расположен исполнять команды или не приучен к самостоятельности, независимости суждений, питают несравненно большую склонность к стереотипам, имиджам, внедряются ли они тихой сапой или открыто навязываются восторжествовавшей политической элитой.

Надежнейшим средством демифологизации истории служит развитие исторической памяти, ибо память личности, общества, нации сопротивляется созданию завлекательных мифов, едва они вступают в конфликт с прежним знанием. Память разума — враг всех временщиков с их попытками навязать выгодные им иллюзорные воззрения. Не удовлетворяясь «художественным оформлением» общеизвестного, истинная литература самозабвенно пробивается в глубины правды, твердо веруя в то, что ложная мудрость отступает пред ярким светом здравого смысла.

Поэтому столь бесценны недавние публикации, условно говоря, еретической литературы прошлых лет: благодаря им возникала необходимая полнота, объемность исторической правды, разламывая, разваливая стену, казалось бы, навек возведенную «Кратким курсом».

А поскольку необходимым продолжением поисков правды служит поиск истины, то, не замыкаясь на добросовестном и вдохновенном воспроизведении жизненной правды, искусство стремится перейти от констатации и интерпретации фактов к принципиально новой, самобытной концепции бытия, активно противостоящей диктату иллюзорных представлений. Как вечно стремление человечества к праведной жизни, так вечен и вопрос «Что есть истина?» Поэтому и после первой «оттепели» произошло движение от правды о Матрене и Иване Африкановиче к онтологической, философской прозе, и после начала нынешнего потепления, когда писатели заторопились было скорее рассказать о коллективизации, наркоманах, интердевочках, различных ЧП районного — и иного — масштаба, литература стала испытывать потребность объяснить их сцепление, истоки, следствия, стала тосковать по истине.

Но кроме того, что честная правда, честные поиски истины объективно сокрушают навязчивые лозунги, стереотипы, имиджи, есть художники и произведения,

[1] «Все это было бы смешно...». «Советская культура», 1989, 10 августа.

ные цели благоприобретенной мифологии.

Клеймя «застойный» период, доктор философских наук Ж. Тощенко писал даже: «Как ни горько, но главной причиной, деформирующей нашу жизнь, была манипуляция общественным сознанием. Именно манипуляция, а не ошибки, заблуждения, которые можно понять и объяснить. Это была сознательная, планомерно осуществляемая политика, которая последовательно и жестко направляла духовное развитие общества по некоей заданной схеме». Думаю, что он обошел коренные, первичные причины деформаций, побуждавшие власть предержащих манипулировать. Но, будучи вторичной, сама эта манипуляция то и дело прибегает к мифам, назначенным увести людей от подлинного постижения действительности, выдать — несмотря на великое упреждение: не сотвори себе кумира! — идолов за идеалы.

Так уж — горестно и счастливо — устроено человечество, что оно нуждается в двух непременных благах: каком-то объяснении своих сегодняшних бед и в надежде на нечто светлое. Чем сильнее страждет общество, тем больше его потребность в таком объяснении и надежде.

Оттого человечество и нуждается в мифах и, низвергая одни, охотно вверяется другим: оно жаждет не только отрезвляющей правды, но и пьянящих истин о цели и смысле своего столь краткого земного существования; а мифология как раз служит надежным подспорьем для такого «опьянения истиной». Вспомним, как мы и сами охотно вверялись «деревенской» прозе, воспроизводившей миф о праведном крестьянском бытии как раз в те годы, когда происходил наиболее сильный отток людей из крестьянского сословия. Зато трудно принимали лишенную иллюзий «только правду» В. Маканина и Л. Петрушевской, показавших превращение личностей в «лишних людей», не востребованных обществом, историей, самими собой!

Вечное низвержение одних мифов во имя созидания новых — в этом закономерность духовной общественной жизни и даже, пожалуй, залог ее развития — как вечное противоборство добра и зла, жизни и смерти, бога и дьявола. Мифотворчество так же неотвратимо от бесконечной цепи истории человечества, как и мифоборчество. «Голое» знание не всегда вытесняет миф, а порой само нуждается в мифическом облачении, чтобы овладеть эмоциональным миром человека. Миф бывает образным воплощением, образной формулой предрассудка, но столь же часто возникает как образное воплощение знания, ибо рациональное в человеке не только взаимодействует с эмоциональным, но и лишь через эмоциональное способно утверждать нравственные ориентиры. «Не все — называется. Иное влечет дальше слов... Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко,— такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению»,— выделил А. Солженицын в Нобелевской лекции.

Эксплуатируя это человеческое устроение, политики и их идеологическая обслуга создают свою прагматическую мифологию, настойчиво возбуждая массовые иллюзии и упования.

Впрочем, и подобного рода общественные мифы исследованы сравнительно полно — только уже социальными психологами и политологами,— и я помянул об их истоках лишь в той мере, в какой это потребно для последующего разговора именно о наших благоприобретенных мифах.

Как о хорошо известном, всего лишь для «разгона» своей статьи о современных фильмах писал недавно кинокритик Ю.Богомолов: «Каждое время так или иначе формирует мифологический климат... Своеобразие нашего мифологического климата заключается в том, что, помимо архаических слоев, аккумулировавших, вобравших в себя древние инстинкты родового человека, ощутимы миазмы сталинской мифологии. Напомню, что именно сталинская мифология обожествила такие коллективистские реальности, как класс, партия, государство, революционное правосознание» [1].

Сходный процесс отметил и И. Золотусский в статье «Крушение абстракций»: «Сейчас нет культа Сталина, но есть культ партии. ...Что это, как не новое идолопоклонство, только не персонифицированное, а коллективизированное» [2].

«Обожествление» Сталина и впрямь служит классическим — только не успокоительно отдаленным, а и по сию пору кровоточащим — примером подобного творчества, создающего — отметим находку Ю. Богомолова — м и ф о л о г и ч е с к и й к л и м а т. Сталинское время вообще было необычайно щедрым на манипулирование мифами, тем более что наш вождь ловко и беззастенчиво пользовался этим пропагандистским оружием, выдвигая лозунги, создающие иллюзию благоденствия и никак не отвечающие реальному положению дел («Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», «Головокружение от успехов», «Сын за отца не отвечает»), или внедряя разного рода образные имиджи: фотография Ленина и Сталина на скамье в Горках, фотография Вождя с девочкой Гелей на руках, трудолюбивая сборщица хлопка Мамлакат или не поступившийся пионерскими принципами Павлик Морозов. «Не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью... Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом»,— сказал в той же Нобелевской лекции А. Солженицын.

Брежневу такое ловкое манипулирование повторить уже не удалось: оно воспринималось народом как стыдное расхождение между словом и делом или в лучшем случае как незатейливый фарс.

[1] «Литературная газета». 1989, 14 июня.
[2] «Новый мир», 1989, № 1, с. 236.

Подтвержденный наконец-то недавно «сверху» (а мы еще не отвыкли от вышних благословений!) приоритет общечеловеческих нравственных ценностей над классовыми оживил существовавший и ранее интерес к содержанию и состоянию общечеловеческих социальных мифов. Но одновременно он стимулировал и потребность развенчать многие классовые мифы, долгое время взращивавшиеся нашей печатью и литературой. Не поняв того, что король голый, невозможно утверждать общечеловеческие ценности: сокрушение идолов расчищает путь к идеалам. К тому же сразу после Октября мы взахлеб занялись разрушением прежних мифов, отвергнутых вместе со старым государственным строем и социальным укладом: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!».

Но поскольку свято место пусто не бывает, понадобились новые — своего рода антимифы! — выгодные и нужные классовому государству. Вас. Гроссман подметил в «Жизни и судьбе»: «Государственная мощь создала новое прошедшее, по-своему вновь двигала конницу, наново назначала героев уже свершившихся событий... Государство обладало достаточной мощью, чтобы переиграть то, что было уже однажды и навеки веков совершено, преобразовать... отзвучавшие речи, изменить расположение фигур на документальных фотографиях». Аналогичные действия в «1984» Дж. Оруэлла производило Министерство правды, изымая из прежних газет и книг все неугодное сегодня и тем создавая новые сцепления событий, новую мифологию. Наверное, это вообще одно из первых действий революции или иного резкого нарушения хода событий: переписать прошлое ради оправдания нынешнего.

Так что сейчас в известном смысле происходит не демифологизация мифов, а демифологизация антимифов — тех, что были сочинены в результате революционного вытеснения прежней мифологии. Может быть, отчасти этим и объясняется такая напряженность нынешнего процесса демифологизации: уже по третьему «заходу» идет мифосозидание!

Демократия существует благодаря соревновательности, умению убеждать и предлагать альтернативы. Тоталитаризм же рухнет без постоянных уверений в своем обладании истиной, без обожествления Единственного — единственно возможного Вождя, единственно справедливого Состояния, единственно предначертанного Пути. Оттого демократия тяготеет к диалогу, диспуту, опоре на разумный довод, а тоталитаризм уповает на веру и, как следствие, на миф, способный освятить Единственность. «Стоит, кстати, задуматься, почему тоталитарные режимы так нетерпимы к эстетическому инакомыслию всяких «измов», отчего им так нужен единообразный «реализм», который правильнее назвать «мифологическим», нежели «социалистическим»,— мимоходом, но очень точно заметила М. Туровская [1].

Вот почему сегодняшнее ниспровержение идолов связано с возрастанием демократии, а демократизация, в свою очередь, не может обойтись без сокрушения мифологизированных демонов прошлого.

Скажу только, что высвобождение от благоприобретенных мифов непременно зависит и от духовной самостоятельности личности. Те, кто расположен исполнять команды или не приучен к самостоятельности, независимости суждений, питают несравненно большую склонность к стереотипам, имиджам, внедряются ли они тихой сапой или открыто навязываются восторжествовавшей политической элитой.

Надежнейшим средством демифологизации истории служит развитие исторической памяти, ибо память личности, общества, нации сопротивляется созданию завлекательных мифов, едва они вступают в конфликт с прежним знанием. Память разума — враг всех временщиков с их попытками навязать выгодные им иллюзорные воззрения. Не удовлетворяясь «художественным оформлением» общеизвестного, истинная литература самозабвенно пробивается в глубины правды, твердо веруя в то, что ложная мудрость отступает пред ярким светом здравого смысла.

Поэтому столь бесценны недавние публикации, условно говоря, еретической литературы прошлых лет: благодаря им возникала необходимая полнота, объемность исторической правды, разламывая, разваливая стену, казалось бы, навек возведенную «Кратким курсом».

А поскольку необходимым продолжением поисков правды служит поиск истины, то, не замыкаясь на добросовестном и вдохновенном воспроизведении жизненной правды, искусство стремится перейти от констатации и интерпретации фактов к принципиально новой, самобытной концепции бытия, активно противостоящей диктату иллюзорных представлений. Как вечно стремление человечества к праведной жизни, так вечен и вопрос «Что есть истина?» Поэтому и после первой «оттепели» произошло движение от правды о Матрене и Иване Африкановиче к онтологической, философской прозе, и после начала нынешнего потепления, когда писатели заторопились было скорее рассказать о коллективизации, наркоманах, интердевочках, различных ЧП районного — и иного — масштаба, литература стала испытывать потребность объяснить их сцепление, истоки, следствия, стала тосковать по истине.

Но кроме того, что честная правда, честные поиски истины объективно сокрушают навязчивые лозунги, стереотипы, имиджи, есть художники и произведения,

[1] «Все это было бы смешно...». «Советская культура». 1989. 10 августа.

прямо нацеленные на разрушение конкретных мифов, и это порой действует гораздо чувствительнее, чем объективное, честное изображение действительности.

Болезненность расставания с льстивыми мифами была прекрасно раскрыта Д. Граниным в повести «Наш комбат», написанной как раз в начале спада первой оттепели, повести, надолго «утопленной» после разящей критики. Гранин изобразил, с каким трудом совершается крушение мифа о героизме упорных, но безуспешных атак заклятого немецкого выступа, «аппендицита», в которых полег батальон — особенно в третьей атаке, 21 декабря, в надежде ознаменовать удачей день рождения Сталина. То есть героизм-то был, победы не было! Оказывается, как выяснил теперь бывший комбат, полазив по тем местам, тогда не удалось разгадать систему немецкой обороны, атаки велись неумело, в лоб, а единственный путь, позволявший вплотную подобраться к окопам, разведка не обнаружила. Неприязненно, с внутренним сопротивлением воспринимают теперь участники того штурма трезвую, но не нужную им правду комбата, который числился у них в главных героях. И ключевой момент повести как раз и сокрыт там, где один из однополчан кричит со злостью: «...Что ты у меня отобрал? У меня позади все. Выходит, и позади под сомнением, наперекосяк».

Комбат пробует объяснить, что, по его мнению, правду о прошлом следует знать всем: «...Конечно, переделать нельзя, но передумать-то можно...» Но встречает общий отпор: «Наше прошлое казалось недоступным и надежным, зачем же комбат портил его».

В конце концов рассказчик постигает, что комбат был-таки прав, открывая им глаза: «Да разве правда может напортить... Без иллюзий еще прекрасней все остается...» Но не всем дано понять, не всем дано принять правду без иллюзий. Для этого потребно отрешиться от утешающей лжи, от «сна золотого» и пройти чистилище здравого взгляда и непосредственного чувства.

А в своей типизирующей, расширительной ипостаси повесть демонстрировала, как тяжело, болезненно расстается общественное мнение — хоть бы и сегодня! — с мифами, угодными массе, и к какой ответной реакции должен быть готов правдоискатель.

Понятно, почему эта повесть вызвала тогда ожесточенный критический огонь безотносительно к этому «теоретическому» аспекту: в ней усмотрели и крамольную версию многожертвенной войны, и зловредную версию отношения ветеранов к той правде, которую раскрывала «вторая волна» военной прозы.

Можно возвести гранинскую модель и в еще более высокую, и, вероятно, еще более опасную для охранителей степень: отношение ко всей истории построения социализма в нашей стране. Или увидеть, как словно от брошенного в воду камня расходится еще один круг — отношение к героическим сказаниям, существующим едва ли не у каждой нации. Эти сказания служат предметом национальной гордости и едва ли не главным средством воспитания в людях патриотического духа. И в этом трудность и опасность, подстерегающие каждого, кто «замахнется» на них. А насколько опасность реальна, нам время от времени напоминают хотя бы реакция Буденного на «Конармию» И. Бабеля или разгромный шквал по поводу «нигилизма» статьи В. Кардина «Легенды и факты», в которой он помянул о том, что в действительности не было «залпа» легендарной «Авроры» и что автор очерка о панфиловцах А. Кривицкий, а совсем не комиссар Клочков нашел великолепные броские слова «Отступать некуда, позади Москва».

Да и участь «Нашего комбата» тоже, увы, подтверждает этот печальный закон правдоискания.

Люди и впрямь трудно, порой драматически расстаются с социальными мифами, социальными иллюзиями. Во-первых, им страшно оказаться без устоев, пусть даже иллюзорных,— чем заменить их? Во-вторых, они склонны верить пришедшим из прежних времен — и тем самым как бы освященным — заветам и нормам; как не всякая личность жаждет свободы, так не все слои народа испытывают потребность в самостоятельной общественной мысли и больше склонны к привычному консервативному мышлению, вере в истинность устоявшегося. Но в том-то и состоит, говоря возвышенно, героическая юдоль искусства, что оно способно противостоять обманчивым мифам, содействовать их низвержению.

И на протяжении всех семидесяти лет честная литература противостояла опутывающей мифологии. Иногда главенствовали ирония, иногда горечь, иногда утопические мечтания, но неизменно прорывался протест против навязываемых аберраций — и в этом являла себя здоровая основа народного миросозерцания.

Необходимо только оговорить, что я имею в виду под демифологизацией в искусстве наличие таких произведений, которые и сами строятся по законам мифологизма, являются как бы его зеркалом. Здесь недостаточно только достоверности, правды факта, здесь потребна еще и поэтика, способная благодаря особой расстановке героев, характеру художественного «оперения» идеи создать ясное представление об «атакуемом» мифе. Художник ставит своей задачей выбить именно данный миф, а не вообще рассказать правду о времени в расчете на то, что читатель самостоятельно осознает объективную несостоятельность этого мифа.

За минувшие десятилетия мы накопили в этом деле огромнейший опыт. Тут и антиутопия «Мы» Е. Замятина, и гротеск А. Платонова в «Чевенгуре» и «Котловане», и смывания глянца в

«Большой руде» и «Верном Руслане» Г. Владимова, и великолепные остро закрученные вещи В. Тендрякова — от «Поденка — век короткий» до посмертно опубликованного «Покушения на миражи». Похоже, что побудительным стимулом к творчеству для Тендрякова нередко бывало именно задиристое и прямое (иногда несколько прямолинейное) желание опрокинуть сюжетным взрывом бытующий в литературе миф.

А сатирическая линия, которая по самой своей природе назначена сокрушать идолов! Даже не апеллируя к классике, можно напомнить «Затоваренную бочкотару» В. Аксенова, «Созвездие козлотура» Ф. Искандера...

Во всех них существует особый демифологический эффект — благодаря или сознательно поставленной художником задаче, или такому объективному содержанию, которое непреклонно выводит мысль читателя на развенчание «святынь».

* * *

Демифологизация истории — это своего рода атеизм, ибо социалистическая вера сходна по своей природе с религиозной: поначалу социализм обещал, в отличие от религии, рай не на небесах, а на земле, благодаря чему и сумел поднять массы на борьбу. Но постепенно сроки пришествия коммунистического рая стали все отдаляться, все настойчивее зазвучали призывы терпеть и жертвовать собой сегодня во имя будущего блаженства — нет, все-таки не в загробном отдохновении, а в жизни... но в жизни следующих поколений.

В записной книжке К. Воробьева есть раздумье: «Написать рассказ о тех, кто сулит рай в будущем. Природа этого. Жить тем, что будет после тебя? В этом страшная ложь. И люди должны противиться ей. Человек должен сделать себе радость при своей жизни. Себе. И это останется потомкам. Это очень просто».

Правда, Хрущев — совсем по «Чевенгуру» — пообещал, что наконец-то «уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», и даже назвал дату его пришествия — середину 80-х годов. Тем горше было отрезвление, тем сокрушительнее разочарование в социалистическом мифе о земном рае.

Какие же еще благоприобретенные мифы потерпели крушение, когда мы вступили в период реальной истории, движимой не волюнтаристским насилием, а естественными законами?

Одно из самых зримых потрясений обрушилось на первую строфу нашего гимна. Поскольку давно никто не поет его, вполне доверяя торжествующему звону меди, напомню слова:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый могучий Советский Союз!

Работу по упрочению союза подменили лозунговыми кликами — и в итоге каждое слово воспринимается теперь как реликт мифа; и так страшно, так больно, что тотальное развенчание этого мифа, переход от уверений в интернационализме к национальному отграничению происходит не только в сознании, но и в жизни, сопровождаясь кровавыми эксцессами! А некоторые еще, наверное, помнят, как критиковали повесть тонкой и ироничной эстонской писательницы Л. Прометт «Примавера», где мелькнул — всего лишь мелькнул — образ глуповатой, начиненной газетными стереотипами женщины с русским именем Феврония. А ведь это был огонек пламени, вырвавшийся из уже тлевшего сухого торфяного болота. Только тогда начальная строфа гимна казалась священной в своей правоте. А теперь многое открыла протомившаяся десять лет в столе «летописная повесть» (авторское определение жанра) С. Липкина «Декада», где воссоздана судьба Гушано-Тавларии, под которой прозрачно разумеется Кабардино-Балкария.

Пришла пора переоценивать и те мифы, которыми всегда бывает окутано зарождение новой веры, нового мира, новых общественных структур. Захотелось трезво разобраться: а не было ли ошибок в самом пусковом механизме революции?

В конце 50-х — начале 60-х годов в литературе щедро, словно на азотной подкормке, взрастал миф о добром Ленине. И понятно почему. Воочию открывшаяся сталинская жестокость смела его имидж строгого, но справедливого вождя народов (хотя метастазы от этого имиджа протянулись в общественном организме до сегодняшних дней), и чтобы утвердить, что жестокость Сталина была чужеродна истинным русским коммунистам, возник новый миф — о справедливом и добром Ленине. Напомню хотя бы рассказ Эм. Казакевича «Враги», сразу же подвергнутый критике теми силами, которые еще не желали расстаться с убеждением, что революционный вождь не может быть добрым и великодушным.

Но тогда же эту веру в доброго батюшку-вождя отверг и Вас. Гроссман, художник трезвый и мудрый. Пожалуй, в повести «Все течет» (1963) произошла первая поверка историей мифа о Ленине, подобно тому как поверялась историей легенда о Христе. Немного позже свою версию Ленина дал А. Солженицын. И теперь почти одновременное появление в нашей периодике повести Гроссмана, «Архипелага ГУЛАГ», «Несвоевременных мыслей» Горького и писем Короленко к Луначарскому нанесло, можно сказать, массированный удар по мифу о добром и всеведущем Ленине.

Впрочем, немаловажной для постепенного размывания этого мифа была в течение минувшего десятилетия и драматургическая Лениниана М. Шатрова. При всей ее публицистичности она включала и жанровый состав антимифа — такое образное решение, которое имеет своей

целью разрушить легенду, имидж, сказание.

Аналитическим скальпелем взрезан и миф о чистоте и святости Красной Армии в противовес разложению и зверствам белогвардейцев и интервентов. Прежде в подцензурной литературе все «частные случаи» жестокости и террора безоглядно оправдывались святостью и чистотой целей, радн которых велась гражданская война. При такого рода классовых приоритетах — нравственно все, что служит победе революции,— пропадала общечеловеческая мудрость о непрощаемом грехе братоубийства — Каиновом грехе. Сколько Авелей погибло от руки Каинов из обоих станов! Но нынче все-таки кончилось время, когда на роковой вопрос: «Каин, Каин где брат твой Авель?» — можно было откликнуться безучастным ответом: «А разве я сторож брату моему?» Мы все полнее осознаем трагические последствия братоубийственной войны. Она разделила народ, повела брата против брата, жену против мужа, отца против сыиа, истрепала, опустошила гнездо Мелеховых и самого Григория в «Тихом Доне». Но долгие годы, даже показывая эти трагедии (напомню хотя бы «Барсуки» Л. Леонова и «Любовь Яровую» К. Тренева), литература добросовестно и чистосердечно укрепляла миф о том, что все свершалось во имя светлого будущего и, стало быть, оправдано. Зато был придушен платоновский «Чевенгур» и завязались бои вокруг «Конармии». И если Горький еще выступил публично в защиту «Конармии», то «Чевеигуру» и он не смог помочь.

Но теперь, когда сразу открылись «Чевенгур» и «Доктор Живаго», мы стали — пока еще декларативно, без прочной фактографической базы — говорить о противоестественности войны: разрешенное кровопролитие, оправдываемая жестокость дали губительные метастазы во все сферы народной и государственной жизни. Роман «Доктор Живаго» потому и назван Д. Лихачевым лиричной книгой, что отразил состояние самого Пастернака, честного человека, не принимавшего старый мир, но не смогшего принять и жестокость нового: «...предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход». Сходное переживали в первые пореволюционные годы и Горький, и Короленко. И не от мучительных ли, раздиравших душу противоречий оказался таким коротким век Блока?! Ведь имеино с жестокости гражданской войны, как стало совершенно ясно теперь нашему гуманистическому сознанию, началось самоистребление народа не только на фронте, а и в результате массовых арестов, ссылок, физи е-ского уничтожения целых социальных и политических групп: то монархистов, то бывших офицеров, то взбунтовавшихся крестьяи, то эсеров — сначала правых, потом левых,— а то и просто заложников. В этот же счет добавим бегство за границу двух миллионов русских людей, кровавое покорение национальных окраин империи, желавших отколоться от России, затем аресты «вредителей» и «националистов», а там — раскулачивание и, наконец, истребление кадров внутри самой партии.

И все ведь миллионы и миллионы! Такой нескупой счет был и во время Великой Отечественной войны и после нее — отправка в смертные лагеря тех, кто был в плену, сотрудничал или всего лишь подозревался в сотрудничестве с оккупантами, выселение целых народов, терявших только в дороге чуть не половину своей численности. «Наша партия есть воинствующая партия, окруженная врагами. Наша страна есть воинствующая страна, отстаивающая в кольце блокады интересы всего человечества. И если в нашей стране и если в нашей партии обнаружился враг, который притаился только затем, чтобы вонзить нож нам в спину,— кто б он ни был, будь он мой отец, мой сын, мой друг, моя жена,— чем глубже он сумел меия обмануть, чем хитрее он вкрался в мое доверие, тем беспощаднее должен быть мой приговор!» — горячо произиосит в «Заговоре равнодушных» Б. Ясенского директор-партиец Релих комсомолке Жене, жене Гаранина, которого исключили из партии как троцкиста. И заведенная таким заклинанием Женя стреляет в своего мужа. Ясенский не дописал этот роман — ему и самому был вынесен беспощадный приговор.

«Гражданская война приобрела характер нормы нашего бытия» [1] — как нечто очевидное написал в обычной кинорецензии уже цитировавшийся выше Ю. Богомолов.

И вся эта гибельная цепочка потянулась из гражданской войны, из желания насильно и не считаясь с ценой утвердить торжество идеи. «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть» — таков был девиз революции: или с нами, или суждено пасть. Какая уж тут слезинка ребенка, если льются потоки крови! И, может, та иеостывшая жестокость прорывалась и в Сумгаите, и в Ферганской долине, и в Абхазии. Прозрение Юрия Живаго — это нынешнее прозрение общества, задумавшегося над ценой каждой жизни. А разве экологическая катастрофа не является следствием того, что высокая цель — на этот раз наращивание индустриальной мощи первой в мире страны социализма — загнала в «остаточный принцип» интересы людей?!

Литература еще ищет разгадку чудовищного сталинского террора, не добившись пока что весомого художественного изображения той совершенно бесспорной уже очевидности, что легкость, с которой удались Сталину его злодеяния, была в решающей мере детеминирована революцией и гражданской войной, их ожесточением. А в установлении такой связи верховенство принадлежит как раз

[1] «Литературная газета», 1989, 14 июня.

искусству, а не истории: здесь может оказаться недостаточно сохранившихся документов, но очевиден поддающийся лишь искусству «воздух», психологическая связь, нравственные ориентиры. Ведь и сила «Архипелага ГУЛАГ» была не только в фактах, которые удалось добыть отторженному от государственных архивов А. Солженицыну, а в той атмосфере, которая возникала вокруг этих фактов благодаря писательскому прозрению.

Из тех же революционных времен вырвалась внешне демократическая, а по сути жестокая логика насилия большинства по отношению к меньшинству: во имя предполагаемого блага большинства народа игнорировать или безжалостно давить меньшинство. Не учитывать его мнения, запросы, нужды, не вести с ним диалог, а давить! И давили! Монархистов, белых офицеров, кулаков (подумаешь, несколько процентов!), уклонистов, чеченцев... Если нет уважения к личности, а есть воля большинства, то тем, кто не с нами, нет места вообще.

А из сферы, так сказать, административно-правовой этот постулат о подавлении меньшинства был перенесен в идеологию и даже сферу литературы и искусства, где и вовсе невозможно применять этот принцип без учета того, кто временно находится в большинстве, а кто составляет меньшиинство. Сколько произведений было затоптано, уничтожено за то лишь, что они вырывались из «большинства» — единого художественного метода, массового эстетического вкуса и просто административных предписаний аппарата, командовавшего от имени большинства. Талант ведь неотрывен от прозрения нового, к чему часто бывает не готово большинство. Кому не ясно, что никак не вписывались в мажорную прозу 30-х годов ни Платонов, ни Булгаков?!

Весь тогдашний производственный роман создавался с позиции тех, кто хотел переделать «людской материал», доставшийся от старого времени, или верил в такую возможность. А Платонов выражал мироощущение тех, кого переделывали. «Усомнившийся Макар» — это и есть «выломившийся», задумавшийся над характером и способами «переделки». И если Платоиов ощутил опасность для свободного народовластия, опасность для народа, то Булгаков острее ощутил опасность для личности. Так в исторической перспективе оказались правы те писатели 30-х годов, кто был «в меньшинстве». Да и в более поздние времена А. Синявский или А. Зиновьев пострадали прежде всего за эстетическую «несовместимость», как страдали за нее в музыке Д. Шостакович, А Шнитке, или в живописи продолжатели русского художественного авангарда. А вспомним «Андрея Рублева» А. Тарковского или, того проще, фильм «Чучело» по одноименной повести В. Железникова — своего рода антимиф, противостоящий напору произведений о губительности «индивидуализма», «отрыва от коллектива»! А ведь убежденность в непременной правоте коллектива была основой разветвленного множества мифов, мешающих осознать благо личности как критерий всех действий коллектива.

Мифу о непременной мудрости большинства сопутствовал миф о научно предвидимом и оттого единственно возможном, неизменно поступательном движении всей послереволюционной истории. А тут уж в логической сцепке удерживался и миф о непогрешимости вождя и партии [1], сменившийся после XX съезда другим мифом: отдельные вожди могут ошибаться, партия всегда права. Своего рода антимифом здесь стали пьесы М. Шатрова «Брестский мир» и «Дальше... Дальше... Дальше!». Они не только восстановили правду фактов истории, «растабуировали» исторические фигуры, которых замалчивала или кляла как предателей официальная история. Взрывчатая сила пьес заключалась и в том, что они представили воочию, как страна не раз оказывалась иа распутье: склонись в тот или иной кризисный момент два-три человека из «верхнего эшелона власти», как теперь принято говорить, к альтернативному решению — и история свернула бы на иной, может быть, более состоятельный путь. Что случилось бы, не убеди Ленин в необходимости вооруженного восстания в Октябре? Или если бы не был заключен Брестский мир? Заставив каждого задуматься над этим, Шатров острее других разрушал миф единомыслия, единственно правильного решения, художественно доказывал понятие вариантности истории, пока еще робко разрабатываемое историками и обществоведами.

Как же получилось, что, выбирая вроде бы научно обоснованные решения, мы построили, оказывается, совсем не тот социализм, что задумывали? А точнее, построили военно-феодальную державу: военную в смысле ядерно-танковой мощи, феодальную — по внутриобщественной структуре. И второй столь же предосудительный вопрос: если партия — организатор всех наших побед, то кто же повинен в том кризисном состоянии, в котором нынче оказалась страна? Вопрос вариантности исторического движения и, следовательно, вопрос об инакомыслии или, правильнее, плюрализме мнений, позволяющем не подчиняться одному, а провидеть многие пути,— стал сегодня одним из кардинальных для литературы. Не потому, что и она участвует благодаря художнической интуиции в выборе путей, а прежде всего потому, что должна

[1] «Назрела необходимость пересмотреть укоренившееся в умах представление, будто наша партия всегда развивалась однолинейно, всегда шла как бы по восходящей. Такое представление мешает установлению истины...», — спохватился недавно А. Масягин («С народом, а не над ним».— «Правда», 23 августа 1989 г.). Вот только он в прежней лавирующей манере все-таки сказал «укоренившееся» вместо «укореняющееся»...

психологически сломать многовековую и особенно утвердившуюся за годы Советской власти привычку кротко или равнодушно исполнять повеления власти — будь то царь, губернатор, урядник или секретарь обкома и министерский столоначальник.

Миф о единственно возможном поступательном движении, оправдывающий и поспешность коллективизации, и характер индустриализации, и подготовку к войне, породил в недавние времена и еще один усердно внедрявшийся миф: о всеобщем энтузиазме в 30-е годы, о чистом и святом поколении, шагнувшем в войну, о безграничной преданности советского народа делу партии.

Народ всегда «подпитывали» мифами о героях прошлого как образцах для подражания, а народ охотно откликался на канонизацию святых, будь то отдельные страстотерпцы или, как в данном случае, святое поколение.

Этот миф сознательно или непроизвольно поддерживался многими писателями, в том числе и теми, кто чистосердечно живописал эти годы: тут и «До свидания, мальчики» Б. Балтера, и «Один из нас» В. Рослякова, и «Школьный альбом» Ю. Нагибина. Понять писателей можно, ведь близившаяся война с фашизмом действительно приуготавливала строгое («Строгая любовь» Я. Смелякова) и готовое к схватке («Если завтра война» В. Лебедева-Кумача) поколение. Но этот ностальгически безоглядный писательский порыв объективно работал на удержание мифа о благодатных 30-х годах и благодатной роли воспитателей такой огневой молодежи, зашпаклевывая тем самым все «трещины» предвоенных лет.

Зато в штыки была встречена прислужнической критикой повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой», где говорилось о трагической гибели кремлевских курсантов, о беспомощности их чистой веры. Ведь уже не этим пламенным мальчикам, три с половиной миллиона которых попали в плен за первый год войны, суждено было дойти от Сталинграда до Берлина. Что сказали бы они о своих воспитателях, вернувшись из боя, а не сгинув в бою или в плену?!

А «Дети Арбата» А. Рыбакова и «Васька» С. Антонова открыли нам пеструю картину жизни 30-х годов. Особенно близка к жанровым приметам антимифа повесть «Васька», в которой явлена истинная цена легенды о прекрасных парнях и девушках с отбойным молотком в руках, строящих коммунизм. Пламенный Митя Платонов так и говорит взахлеб своей невесте: «Мы оформляем метрополитен драгоценными материалами: гранитом, мрамором, бронзой. С расчетом на коммунизм. Ясно? Я думаю, сперва коммунизм настанет в Москве, а затем на периферии». Известен конфуз Пастернака, когда I съезд советских писателей пришли приветствовать метростроевцы, а Борис Леонидович кинулся взять отбойный молоток из рук женщины, которой не пристало таскать такую тяжесть. Ему и невдомек было, что на сцену вышли те, которые «рождены, чтоб сказку сделать былью» и у кого «вместо сердца — пламенный мотор».

Своего рода «антимифом» послужили и «Дети Арбата». Вспомним, как скрестились на отношении к Арбату разные подходы: «арбатство» Б. Окуджавы как знак малой родины, Арбат А. Рыбакова как точка, через которую проходили многие жизненные лучи, Арбат, «арбатство» у критиков и публицистов «Нашего современника» и «Молодой гвардии» как символ городской тлетворности и справедливого исторического возмездия тогдашним власть имущим за то, что они сами сотворили с народом в революцию.

Но признаем: в нашем сознании все-таки оказался развеян миф о единых в своем энтузиазме 30-х годах, хотя он еще и остается зоной столкновений между стремлением к полной правде и малозаметным, но живучим реликтом сталинщины — самовосхвалением.

Самовосхваление, ликование было необходимейшим элементом сталинского идеологического механизма: лозунгами, песнями, рекордами, праздничными кликами нужно было прикрыть тяжелую правду. Да и по сию пору мы слышим атакующие — из тех времен — возгласы: «Но ведь были великие успехи», «Но ведь победили мы с именем Генералиссимуса» и, стало быть, ни к чему какие-то прорухи в глаза тыкать. Самовосхваление, как и грандиозные «величайшие в мире» проекты,— свойство тоталитарной структуры, которая глушит любую силу, способную говорить правду, трезво расценивать плату за успехи, видеть истинное состояние под пеной самодовольства.

Непременным спутником мифа о монолитности должен был стать миф о врагах, из-за которых у хороших советских людей все время не клеилась жизнь. Врагах внешних, подразумевая капиталистическое окружение, и врагах внутренних, исподтишка вредящих чистому, праведному и монолитному народу. «Синдром врага» скрадывает, микширует, отвергает ошибки и просчеты руководства, сваливая все на происки чуждых сил. Но таков извечный и, скажем прямо, нехитрый закон борьбы: постоянно отыскивать врагов, в борьбе против которых должно крепнуть единство народа, должно быть отвлечено внимание от реальных ошибок и просчетов. Неважно, кто враги: театральные критики-космополиты или врачи-отравители, отечественные сионисты или зарубежные масоны, главное — по известной методе — вовремя крикнуть «Держи вора!»

Очень точно уловил эту ситуацию Дж. Оруэлл в «1984»: государству необходимо находиться в перманентном состоянии войны с кем-нибудь: то против Остазии, то против Евразии. Враг может меняться, состояние войны оставаться.

Владыки с нимбом всегда правы, но им вредят силы Сатаны — такова извечная схема. Для оправдания сталинских репрессий и внедрялся так широко в 30-е годы миф о вредителях, якобы срывающих социалистическое строительство: шахтинское дело, процесс Промпартии понадобились, чтобы задурить головы в преддверии массового беззакония, а теоретической подпоркой этого мифа стал сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму.

В романах А. Кёстлера «Слепящая тьма» и В. Сержа «Дело Тулаева» великолепно представлено, как из боязни поколебать этот миф, внедрявшийся и их усилиями, возникала готовность некоторых попавших в сталинскую мясорубку руководителей каяться в не совершенных ими преступлениях, заговорах, шпионаже, терроре. Им казалось, что своими признаниями они помогут сохранить престиж партии, ее правоту и монолитность вопреки проискам врагов. Да ведь и они создавали эту Систему, при которой не было места личности, а существовали лишь интересы партии, и они способствовали физическому устранению всех несогласных — сначала политических противников, затем политических оппонентов, затем троцкистов, фракционеров и просто инакомыслящих. А теперь пришел их черед. Если воспользоваться образом Маркса «Революции—локомотивы истории», то они мнили себя машинистами, а оказались брошены на рельсы перед разогнавшимся локомотивом. Так кого же винить? Логику революции? Себя? Новых машинистов, неспособных затормозить? И в этой ситуации они не могли переступить не только через миф о партии, но и через себя, свою логику: нельзя признать бессмысленным все то, за что боролись и в чем были замешаны двадцать послеоктябрьских лет.

«Синдром врага» тем легче ложится людям на душу, что на его успех работают те подсознательные центры, которые влекут читательскую массу к детективам. Социальные психологи зафиксировали поиск врагов, или «козлов отпущения», как характерную особенность массового сознания: в такой роли выступали в разные времена христиане, еретики, инородцы, нигилисты. В идеологизированной советской литературе до недавнего времени пружиной детективного сюжета и была часто поимка шпиона, лазутчика, резидента. А Л. Леонов в «Русском лесе» учинил детективное расследование юношеской биографии Грацианского.

И этот миф о врагах-вредителях, готовящих «свирженье-покушенье», как сказано в великолепном посмертно напечатанном рассказе В. Тендрякова «Параня», до того въелся в души старшего поколения, что и сейчас в ходу слова о том, что перебои с мылом организовали «антиперестроечные силы», закон о кооперативах подсунули вредители, а в разжигании межнациональных распрей повинна подпольная мафия. Так по нехитрому рецепту стараются подменить истинные причины экономического кризиса происками тайных сил, ни разу так и не «предъявленных» ни в одном конкретном случае.

А с развитием «деревенской прозы», питавшейся не только от добротных корней народной психологии, возник миф о некоем вселенском жидо-масонском заговоре против СССР. Почему именно против СССР, а не, скажем, США или Японии — несущественно. Важно внушить народу, что виноваты в кризисном состоянии страны не плохое руководство, не разболтанность народа (вспомним реакцию на Открытое письмо землякам «Чем живем-кормимся» Ф. Абрамова и иные «очернительские» произведения), а некие закулисные силы. Не самим исправляться нужно, а отыскать, прищучить врага — и тогда все будет в порядке. Ведь и в романе В. Белова «Год великого перелома» не общая политика партии по отношению к крестьянству повинна в коллективизации, а некие туманно обозначенные им внешние силы. А во «Все впереди» о сионистском заговоре сказано практически открытым текстом.

И по мере того, как истаивал в народе страх перед «происками империалистов», все настойчивее звучали намеки на сионистские и масонские происки. «Тель-Авидение» — вот уже и готов объект для науськивания!

В. Кожинов во многих статьях твердит о том, что нельзя равнять жертвы 37-го года с жертвами коллективизации или голода 33-го года: дескать, в 37-м году постигла праведная кара тех, кто проводил революцию и коллективизацию, «создавал культ Сталина». «В 1937—1938 годах цепная реакция террора дошла до тех самых штокманов, которые пожинали посеянное ими самими... И был в их гибели, без сомнений, некий нравственный приговор Истории, закономерное возмездие...». В своем кощунственном и антигуманном ослеплении он нимало не скорбит о гибели неповторимой человеческой жизни миллионов честных борцов за лучшее будущее трудового люда. Правда, фамилии он обычно выбирает еврейские, чтоб доказать, что евреи штокманы, а не, скажем, Мишка Кошевой заварили эту кашу, им и воздано должное, жаль только, что не всех добрали. Но ведь и Гитлер говорил, что в бедствиях немецкого народа евреи виноваты. Впрочем, не одного уже обличителя сионистского заговора ловили на раскавыченном цитировании фашистской пропагандистской литературы.

Так и тянется дальше логически увязанная цепочка мифов. Чтобы хоть както оправдать постоянную нацеленность масоно-сионистских сил именно на нашу страну, необходимо было поддерживать миф о некоей особой миссии советского народа, тем более что он хорошо накладывается в русской литературе (а только она из всех братских литератур раз-

дувает эти страсти, у других «враг» ближе: русский народ, «обижающий» республики) на живучий миф славянофилов о богоносном русском народе, о его «всемирной отзывчивости», о спасении Европы от азиатских полчищ ценой своего двухсотлетнего рабства и т. д. Миф о богоносности легко трансформировался на протяжении семидесяти лет в различные версии мессианства советского государства со «старшим братом» во главе: сначала как первое звено в мировой революции («Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»), затем как маяк социализма, светящий всем угнетенным странам, затем как сила, спасшая весь мир от гитлеровского фашизма, наконец, как оплот социалистического лагеря, смотря по тому, какая ситуация была пропагандистски удобнее. Неизменной же оставалась мессианская роль, оправдывавшая любые жертвы и тяготы в военные и мирные годы.

Вот и сейчас публицист «Нашего современника» М. Антонов уверяет: «В состоянии кризиса ныне находится весь мир, но только Россия имеет такое духовное наследие, в том числе труды наших великих мыслителей XIX— начала XX века, которое указывает человечеству путь спасения». И снова: «Выход из кризиса может указать миру только наша Родина».

Да что там М. Антонов! В своем новом произведении «Сибирь, Сибирь...» Валентин Распутин гневается на А. Рыбакова за очернение в «Детях Арбата» коренных сибиряков, в коих ну никак нельзя увидеть «то, что со смаком рисует в них Анатолий Рыбаков...» «Как не вспомнить,— восклицает Распутин,— в этой связи, что еще в нашем веке в Сибирь отправлялись не только сыновья Арбата в тридцатых, но и дочери Арбата вплоть до восьмидесятых — в последний раз, чтобы не портить целомудренный дух гостей Олимпиады. И не возмутительно ли после этого читать, какая распущенность встречала благонравных детей Арбата в низовьях Ангары среди потомков Ермака и Кучума».

Не странно ли слышать от крупнейшего нашего прозаика такое противопоставление сибиряков другим русским людям, а детей Арбата — потомкам Ермака, будто родословная, идущая от Ермака или Кучума, гарантирует благонравие на вечные времена, а проживание на Арбате — непременную растленность!?

Если правда — непременное условие крушения тоталитаризма, то антимифы, демифологизация — один из способов участия литературы в этом процессе.

Конечно, литература не ставит своей единственной или главной целью развенчивать все ложные мифы, не в этом ее задача. Да и сама жизнь погасила нынче много броских мифов, иллюминировавших нашу жизнь, например, миф о том, что единственный привилегированный класс в СССР — дети. Или миф о непримиримости двух моралей — буржуазной и социалистической: признание приоритета общечеловеческой морали над классовой просто смахнуло эту смехотворную идею, изъязвившую жизнь нескольких поколений. И все-таки роль литературы в сокрушении ложных идолов и высвобождении от миражей огромна и плодотворна.

Но нельзя не признать, что нынешняя демифологизация — лишь одна сторона процесса. Второй его стороной является продолжающееся создание «благоприобретенных» мифов.

Да, время сейчас настолько смутное, кризисное или, вернее, лабиринтное, таящее слишком много внезапных тупиков, что ни литература в целом, ни отдельные писатели, даже склонные в прошлом к онтологическим проблемам, не могут предложить сколько-нибудь целостную концепцию, целостную мифологию. Настойчивее других, пожалуй, развивает своеобразную натурфилософскую концепцию А. Ким, у которого вслед за «Белкой» появился еще более фундаментальный «Отец-лес». Но, будучи по форме мифологической — все сущее способно к взаимопревращению, взаимоперетеканию: природа и люди, умершие и живые, герои и автор, настоящее и прошлое — концепция в обоих романах слишком расплывчата в своих очертаниях и утомительно многословна. В романе вязнешь, как в болоте. А мифологическая конструкция при всей своей обобщенности предполагает прежде всего внутреннюю определенность и стройность, из которых как бы само собой вырастает обобщение.

Поскольку же свято место пусто не бывает, то вместо органичных продолжают создаваться благоприобретенные мифы — те, которые хотят внушить обществу: не человеку и человечеству, на что посягает в своем абстрактном замысле А. Ким, а именно обществу в его практическом бытии. Вместо постановки общих, вечных вопросов опять мельтешат сиюминутные, частные, суесловные. Пожалуй, только миф о манкуртах прочно вошел в наше сознание, а слова «манкурт», «манкуртизм» стали нарицательными.

В статье «Термидор считать брюмером...» О. Лацис утверждал: «Лишившись страха и слепой веры, обязательных при Сталине, манкурт не стал человеком — он стал архаровцем из распутинского «Пожара». Как человеческий тип архаровец ниже манкурта, ибо манкурт забыл свою душу волею обстоятельств — архаровец же никогда и не имел души» [1].

Простим странный оборот л и ш и в ш и с ь вместо о с в о б о д и в ш и с ь о т. И без того получается как-то неловко — и не по-марксистски и не по-евангельски: вроде есть люди, изначально лишенные души. А не правильнее ли предположить, что и архаровцы появились «волею обстоятельств» нашей жизни, что не они

[1] «Знамя», 1989, № 5, с. 198.

сами сорвались, а их сорвали с места, как сорвали с места жителей Егоровки, часть из которых при переезде в Сосновку тоже могла податься в архаровцы. И пусть покажется неожиданным, но архаровцы Распутина, столь любящего русский народ, суть не что иное, как мигранты в устах прибалтийских экстремистов, пренебрежительно припечатывающих этим словом уже всех русских, приехавших работать в братские республики. И объективно выходит, что Распутин един с теми, кто призывает республики избавиться от этих б е с к р о в н ы х (без крова или «коренной» крови) людей — наших псковских и новгородских крестьян, сорванных с места бедностью и бестолковым руководством.

«Покойников с кладбища назад не таскают»,—философически заметил в связи с арестом своего сослуживца и собутыльника столяр Середа в «Факультете ненужных вещей» Ю. Домбровского. Но сегодня некоторые мифы напоминают именно эту процессию. За послесталинские времена мы уже испытали, чем кончилась попытка отринуть религиозное чувство и религиозные мифы, решительно заменив их уверениями в скором пришествии земного коммунистического рая. Когда эти уверения оказались скомпрометированными, неосуществленными, то образовалась некая духовная лакуна, нанесшая неисчислимый ущерб нравственному и духовному бытию всего общества.

Стараясь закрыть эту лакуну, литература опиралась и на «классовую мораль» рабочих («Журбины» В. Кочетова), и на боевую закалку фронтовиков (гранинский рассказ «Пока заметен след»—одна из последних по времени значительных попыток), и на веками прилаживавшийся к природным циклам уклад крестьянства (все семидесятые годы прошли под знаком «распутинских старух»), и на партийных работников (вплоть до «Грядущему веку» Г. Маркова). Но все они, с разной степенью художественности исполненные, были все-таки героями слишком, что ли, приземленными, не приобретшими мифологической значительности и обобщенности; а в силу своей реалистической «лепки» и воспринимались-то «как живые» и оттого уходили по мере того, как теряли позиции в жизни их реальные прототипы.

Вот мы и оказались перед страшной и жестокой проблемой: а на что же опереться, чему ввериться, чем оправдать свое существование?

И совсем неудивительно, что снова возродилась тяга к двухтысячелетнему кодексу христианской морали: он кажется сегодня многим единственно устойчивым, хотя как всякий однажды поверженный идол уже не может завладеть умами и чувствами сколько-нибудь значительных людских масс.

А в последние годы все большую силу — хотя и столь же суетливо — набирает надежда на некий национальный «кодекс». В этих мифологического характера идеях действительно, если отринуть крайности экстремизма, просвечивает не шовинизм, не национализм, не высокомерие по отношению к другим нациям, а отчаянное желание обрести прочный нравственный кодекс в идеализированных традициях предков, когда все плохое — по свойству человеческой и национальной памяти — забыто, отошло в тень, оставив лишь то, чем можно гордиться. Такая модель идеальной нации помогает выстроить хоть какой-то кодекс, пригодный для всех людей—и тех, кто верует в бога, и тех, кто верует в социалистические идеалы, и тех, кто еще не обрел устойчивых нравственных ориентиров. В подтверждение своей состоятельности «национальный» кодекс ссылается на достоинство своего народа, на его культуру, на прекрасные качества, явленные им за долгие века, но ныне униженные или забытые. И такой кодекс являет себя в литературе многих наших республик.

Развивая эти воззрения, С. Куняев всерьез писал, что он разрывается между русской идеей и русской стихией, ибо только «величайшие представители русской культуры объединяли эти два начала»: Пушкин, Достоевский, Блок. Русская идея для него «прежде всего — интеллектуально-государственная идея», а русская стихия—«основы, корни народного бытия» [1]. Так выглядит в примитивизированном С. Куняевым виде то направление литературной мифологии, которое в разных обличиях являет себя у В. Пикуля, П. Краснова и более молодых — С. Алексеева, А. Буйлова: своеобразная смесь русской державности и русского избранничества.

И несомненный кризис современной прозы заключается не в том, что она никак не может высказать правду, обгоняемая оперативной публицистикой, а в том, что у нее нет системы тех ориентиров, которые могли бы привлечь людей. Ей все-таки не с чем выйти к людям, кроме прекраснодушных уверений в том, что красота спасет мир. Легче сказать, что король-то голый, чем убедить в том, что король все-таки существует.

И сегодня мы стоим перед решающим выбором: будет ли общество снова опутано сетью мифов, сковывающих свободную волю и свободное действие, навевающих иллюзорные упования, или победят свободная воля и свободный разум сознательного человека, способного ориентироваться в мире без утешительного обожествления. Пусть неизбежные для духовного существования людей мифы рождаются из предвидения, из социального знания, а не из лукавых расчетов или тщеславных заблуждений политиков. И пусть будут они продиктованы доверием к человеческой природе, человеческим чаяниям. Не обещанием рая к такому-то году, а ответом на вопрос, ради чего и как надобно жить.

[1] «Литературная Россия», 1989, 18 августа.

Борис ЗАЙЦЕВ

Этюды о Пастернаке

Борис Константинович Зайцев (1881—1972) принадлежит к старшему поколению писателей русского зарубежья. Как прозаик начинал в России. В 1922 году Б. Зайцев с семьей получил официальное разрешение по состоянию здоровья покинуть родину и поселился в Берлине, затем в Риме и, наконец, в Париже. Его отъезд из России совпал с известной высылкой людей мысли, в том числе многих из Комитета помощи голодающим, членом которого был и Зайцев. Талант Зайцева сформировался в эмиграции. Там им написаны романы «Золотой узор» (1926), «Дом в Пасси» (1935), тетралогия «Путешествие Глеба» (1937—1953) и другие.

Особенность произведений Зайцева — это тонкий, акварельный лиризм. Своеобразие почерка было так явственно, что позволило одному парижскому критику заметить: «Ему не нужно подписывать свои произведения». А Глеб Струве, обращаясь к будущим исследователям зайцевского стиля, советовал искать ключ к своеобразию его речи «...в порядке слов у него, в расстановке им прилагательных».

Интересны в творчестве Зайцева и художественные биографии Жуковского, Тургенева, Тютчева, Чехова, и мемуарные очерки. Жанр мемуарного очерка, как известно, коварен тем, что нередко писатель, начиная рассказывать о современнике, о встречах со знаменитостями, как бы незаметно отодвигает их на второй план, занимая внимание читателя собой. Борис Зайцев не поддался этому соблазну. Его воспоминания воссоздают живые образы Блока, Белого, Бердяева, Вяч. Иванова, А. Бенуа, Бунина, Цветаевой и других.

Эти воспоминания собраны в двух книгах — «Москва» (1939) и «Далекое» (1965). Публикуемые ниже два очерка Зайцева сошлись под обложкой одной книги «Далекое». Ими не исчерпывается тема Зайцев—Пастернак. В полной библиографии сочинений Бориса Зайцева, составленной профессором Ренэ Герра (1982), упомянуто около десяти работ, посвященных Пастернаку. Среди них — отклики на роман «Доктор Живаго» и последовавшую кампанию травли романа в Советском Союзе, некрологи, мемуарные заметки. Но эти очерки как бы обобщили и свели воедино все написанное Зайцевым о Пастернаке.

Впервые очерк «Пастернак в революции» был опубликован в газете «Русская мысль» 5, 7 января 1960 года. Газетная публикация имела подзаголовок «Из воспоминаний, размышлений о нем и том времени». Первая публикация очерка «Еще о Пастернаке» не выявлена. Очерки печатаются по тексту книги «Далекое».

Пастернак в революции

Пастернак был уже взрослым, но молодым, когда началась революция.

Вырос он в семье культурной и интеллигентной — его отец был известный художник-портретист Леонид Пастернак, довольно близкий ко Льву Толстому и лично, и по душевному настроению. Писал он и портреты Толстого, сделал рисунки к «Воскресению».

Мать писателя была музыкантша, и Борис Леонидович с детства знал и любил музыку, одно время собирался даже стать профессиональным музыкантом. При всем том получил отличное образование в России, заканчивал его в одном из германских университетов. Знал несколько иностранных языков.

Очень молодого я не знал его лично. По позднейшим своим впечатлениям могу представить себе Пастернака юного угловатым, темпераментным, внутренне одиноким, ищущим и пылким. Равнодушия и серости в нем никак не могло быть. Был он искателем — таким и остался. И поэтом — таким тоже остался. А путь выбрал литературный. В путь этот вышел в самую трудную пору: ломки и переустройства всего в России, грохота рушащегося, крови, насилия, новизны во что бы то ни стало — в ту бурю, которая никогда не благоприятна художникам и поэтам, да и вообще натурам художническим, склонным к одиночеству и созерцанию.

С первых же шагов революции в литературе русской дико зашумели футуристы. Появились они еще в дореволюционные предвоенные годы России, полные сумрачного тумана и предчувствия грядущих потрясений. Но футуристам-то потрясения и нужны были: на них легче выскочить, прошуметь, прославиться, чем в мирное время.

Еще до войны надевал Маяковский шутовские куртки из разноцветных лоскутов, его приверженцы размазывали себе лица разными красками, и своим зычным голосом орал этот Маяковский: «Долой Пушкина! Сбросить его с корабля современности!»

На банкете в самом начале революции, еще «февральской», еще «бескровной», Маяковский, вождь футуристов, учинил зверский скандал, и все это как-то сошло ему безнаказанно, наглость победила еще оставшуюся благопристойную либерально-культурную Россию. А чем дальше, тем дело шло все хлестче. Маяковский мгновенно пристроился к победителям, кричал еще громче, вокруг расплодились подголоски, появились разные «заумные» поэты, вроде Хлебникова, появилась литературная группа «имажинистов» («образ», «имаж» — сравнивали луну с коровой, вот как ярко).

Это было самое разудалое и полоумное время революции, когда разрушали церкви, а на площадях ставили наскоро слепленных из плохого гипса Марксов и Энгельсов — одна такая пара, помню, просто растрескалась в Москве от мороза, а потом растеклась под дождем, как снежная кукла от весенних лучей.

Это было очень страшное время — террора, холода, голода и всяческого зверства. Из виднейших писателей многие уже эмигрировали — Мережковский, Бунин, Шмелев. Но в Москве оставалась еще группа писателей культурно-интеллигентской закваски, державшаяся в стороне от власти, кое-как выбивавшаяся сама. У нас был даже в Москве Союз писателей и — по парадоксу революции — престиж «литературы» еще крепко держался у власть имущих — нам отвели особняк «Дом Герцена», где мы и собирались. Ни одного коммуниста не было среди наших членов.

Пастернак в нашем Союзе не состоял, хотя коммунистом не был, по культуре подходил к нашему уровню.

Так что в Москве существовали как бы две струи литературные: наша — Союз писателей, с академическим оттенком и без скандалов, и футуристическо-имажинистская — со скандалами. Мы находились в сдержанной, но оппозиции правительству, они лобызались с ним, в самых низменных его этажах: в кругах Чеки (политическая полиция).

Власть слишком еще была занята тогда международным своим положением, гражданской войной, подавлением восстаний, грабежом, чтобы обращать внимание на нас, кучку интеллигентов-писателей, устраивавших свои чтения в Доме Герцена. Мы пользовались даже некоторой свободой. Бердяева не засадили за бурную и блестящую книжку «Философия неравенства» — против коммунизма (она вышла в самом начале революции, когда существовали еще частные издательства). Айхенвальд прочел у нас в Союзе в 1921 году восторженный доклад о Гумилеве, только что расстрелянном за контрреволюцию в Петербурге. Троцкий ответил на это чтение Айхенвальда статьей «Диктатура, где твой хлыст», но ни Айхенвальда, ни Союз наш все же не тронули.

Подошла и полоса нэпа, некоторого вообще послабления, и нам, старшим писателям, разрешили открыть свою Лавку писателей, кооперативную, где мы могли торговать старыми книгами самостоятельно, не завися от власти. Это дало нам возможность не умереть с голоду.

Были в этой жизни революционного времени любопытные черты. Печататься открыто мы уже не могли. Писали от руки небольшие свои вещицы, тщательно выписывая, украшали обложками собственного изделия, иногда рисунками и продавали в нашей же Лавке. Подбор таких рукописных произведений попал тогда же в Румянцевский музей (ныне Публичная библиотека в Москве). Не знаю, сохранились ли там эти образцы как бы «подпольной» литературы (но политического в них ничего не было).

Во все эти ранние годы революции позиция Пастернака была довольно странная. Он сидел где-то безмолвно. Ни в каких выступлениях и бесчинствах футуристов и имажинистов участия не принимал. Не выступал в подозрительных кафе, куда набивались спекулянты всякого рода, а «поэты» типа Маяковского и подручных его громили этих же разжившихся на спекуляциях «нэпманов» (так называли тогда новых буржуа революции). А тем это как раз и нравилось, они аплодировали и хохотали.

Такие кафе были очень в моде. Там торговали тайно кокаином и в сообществе низов литературных и чекистов устраивали темные дела, затевались грязные оргии. Это было время Есенина и Айседоры Дункан, безобразного пьянства и полного оголтения.

Ни к чему т а к о м у Пастернак не имел отношения. Кроме его собственной натуры, за ним стояла культурная порядочность отца и матери, а вдали где-то легендарная тень Льва Толстого. Но в писании своем тогдашнем все же тяготел он к футуризму и имажинизму. Что влекло его к этому? Позже он скажет: «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить». В этом «позже» он очень строг к себе, даже чрезмерно. (Опять тень Толстого и «золотого века» русской литературы — склонность к покаянию.)

Но тогда, при кипучести его натуры, ему вполне естественно было увлекаться некоей словесной новизной и невнятицей, увлекаться и чрезмерностью сравнений. Стихи его, того времени, сколько помню, являлись некими глыбами, в первозданном положении, не сведенные к гармонии. Да и вообще «гармония» не подходила к тому времени, полному крика и дисгармонии.

Я не знал того круга людского, где Пастернак вращался. Единственной точкой соприкосновения была известная поэтесса, тогда еще молодая, Марина Цветаева. Принадлежала она к «левому» литературному течению тогдашнему, но выступала с чтением своих стихов и у нас в Союзе. У нее было какое-то душевное соответствие или родство с Пастернаком тогдашним, но литературные пути их оказались разными. Она чем далее, тем становилась вычурнее, он, напротив, в созревании своем шел к простоте — великой силе великого века литературы нашей, девятнадцатого.

Не помню я Пастернака и у нас в Лавке писателей. У нас бывал Андрей Белый, даже писал что-то тоже от руки. Как почетный гость — Александр Блок, в 21 году, незадолго до кончины. Есенин, в шубе и цилиндре на голове,— так мало это шло к его простенькому лицу паренька из Рязанской губернии! (Он тогда спивался вместе с Айседорой Дункан и водил компанию с очень подозрительными людьми.)

Но вот—все-таки с Пастернаком я был знаком, где-то бегло встречались, а потом встретились у меня, в огромной моей комнате, где жил я с женой и дочерью, подтапливая печку посреди комнаты, сложенную каменщиком, с железной трубой через все помещение.

Встреча с Пастернаком особенно мне запомнилась потому, что уж очень отличалась от другой литературной встречи, с «заумным» поэтом Хлебниковым, в этой же комнате, но несколько раньше.

Хлебников принадлежал к какому-то подразделению футуризма, но «тихого». Его считали (правда, немногие) «необыкновенным». Радость поэзии, насколько помню, заключалась для него в подборе бессмысленных слов, звучавших какой-то музыкой. По «необычности» и «новизне» это подходило к революционной эпохе, по содержанию нисколько. Но у него были все-таки некие связи с властями, и у него самого с его последователями был даже автомобиль, на котором вывесили они плакат.

«Председатель Земного Шара».

Почему он забрел ко мне, не знаю. Сам этот председатель был довольно скромный молодой человек, бедно одетый, несколько идиотического вида, смотрел больше в землю и говорил негромко. Чем-то он мне даже нравился: вероятно, беззащитностью своей и детскостью. Если память не изменяет, именно тогда и предложил мне прокатиться на всемирном автомобиле, все так же диковато и застенчиво поглядывая вниз, на пол. Председатель Земного Шара! Звучит хорошо, все-таки я поблагодарил и отказался.

— Ну, тогда приходите к нам на Мясницкую. Там наши соберутся. Будут стихи. Но и от старших, серьезные люди. От символистов Вячеслав Иванов.

Он вздохнул и как-то задумчиво добавил:

— Будет очень учено и очень похабно.

Почему похабно, не объяснил. Я и не настаивал. Сам по себе этот молодой человек никаких безобразий не творил. Но сотоварищей его я представлял себе живо, тем более, что как раз не так давно Пильняк звал меня на вечер в загородном доме известного в Москве скульптора, где должны были быть Есенин, Дункан и выпивка. Я позже узнал, что там кончилось безобразным скандалом — о нем и написать невозможно. К Хлебникову и его друзьям я тоже не поехал.

Посещение Пастернака (тогдашнему Пастернаку могли нравиться стихи Хлебникова)—было совсем в другом роде. Ни автомобиля у него не было, ни Председателем Земного Шара себя не считал. Этот высокий, с крупными чертами лица, несколько нескладной фигурой, крепкими руками и нервными, очень умными глазами тридцатилетний человек принес мне свою рукопись: отрывок призведения в прозе. Рукопись тоже походила видом на хозяина своего: написано крупным, размашистым почерком, нервным и выразительным. Пришел он как младший писатель к старшему показать образец своей прозы — он этим доселе мало занимался, а я много. Не был я ни редактором, ни издателем, ни каким-нибудь другом правительства. Жил более чем небогато. Так что практического значения в том, что он принес мне рукопись, не было для него никакого. Я даже не мог угостить его порядочным завтраком или обедом: быт революционных эпох беден.

Мы сидели у окна, за моим столом, где лежали мои рукописи, говорили о литературе в простом дружеском тоне, а жена моя хозяйничала около той же каменной печки посреди комнаты. Десятилетняя наша дочь в зимней ушастой шапке только что вернулась из советской школы, скромно складывала свои тетрадочки, потряхивая двумя косицами с бантиками. А Пастернак, при всей своей склонности к самоновейшему, «передовому» в литературе, тоже скромно и совсем не по-футуристически со мной разговаривал. Он был ровно на девять лет, день в день, моложе меня, ему вообще был свойствен дух молодости, открытости и прямодушия. Будто свежий морской ветер. «В Пастернаке навсегда останется юность», сказала знаменитая наша поэтесса Анна Ахматова. Очень верно, насколько могу судить издалека. Молодое и открытое, располагающее.

Рукопись оказалась отрывком из довольно большого повествования. Описывалось детство на Урале, на горном заводе. Подробностей не помню, но общее впечатление было такое: никакого крика, никакого футуризма, написано человеческим, а не заумным языком, но очень по-своему. То есть — ни на кого не похоже и потому ново. Ново потому, что талантливо. Талант именно и выражает неповторимую личность, нечто органическое, созданное Господом Богом, а не навязанное никаким направлением литературным.

Насколько знаю, те главы, которые он тогда приносил, вошли в повесть «Детство Люверс», изданную позже в советской России, но гораздо раньше «Доктора Живаго». У меня нет этого «Детства Люверс». Весьма подозреваю, что все это были подходы, еще довольно несмелые, к позднейшему «Доктору Живаго». Можно было самым искренним образом — что я и сделал — приветствовать нового сотоварища по прозе, но никак нельзя было предугадать будущую судьбу этого молодого писателя с крупными чертами лица, крупным телом, неловкого и привлекательного, несущего в себе большой духовный заряд. Нельзя было предугадать и его будущую мировую славу.

Осенью 1922 года почти все Правление нашего Союза выслали за границу, вместе с группой других профессоров и писателей из Петрограда. Высылка эта была делом рук Троцкого. За нее высланные должны быть ему благодарны: это дало им возможность дожить свои жизни в условиях свободы и культуры — Бердяеву же открыло дорогу к мировой известности.

Берлин 1922 года оказался неким русско-интеллигентским центром. Туда как-то съехались и высланные, и уехавшие по своей воле (Андрей Белый, Пастернак, Марина Цветаева). Из Парижа, пробираясь уже из эмиграции в Россию, попал туда и гр. Алексей Толстой, впоследствии придворный Сталина и один из первых литературных буржуев советской России.

В Берлине Пастернака я встречал очень бегло, кажется, на литературных собраниях в кафе Ноллендорфплатц. Да все это продолжалось и недолго: в 23-м году начался разъезд. Одни выбрали направление на Италию — Париж, другие вернулись в Москву. Три последних были А. Толстой, Андрей Белый и Пастернак. Там судьба их сложилась поразному. Алексей Толстой нажил дом, автомобили, возможность кутить и пьянствовать сколько угодно и сколько угодно пресмыкаться перед Сталиным. Анддей Белый, всегда склонный к левому в политике, тоже старался изо всех сил, но ничего не вышло. Облику его не соответствовали дачи, деньги, безобразия — ловкачом и подхалимом он никогда не был. Писания же его, фантастический склад души и необычный язык казались там смешными и непонятными, а потому ненужными. Жизнь его в России была очень тяжела. Он скончался в тридцатых годах.

Судьба Пастернака оказалась самой сложной (из вернувшихся в Россию тогда писателей). Уклонов «вправо», в смысле политическом, у него никогда не было. Скорее левое устремление, свойственное ему с молодых лет. Насколько знаю, есть у него и произведение в таком духе — («Лейтенант Шмидт»). Думаю, октябрьский переворот 1917 года он принял, но чем дальше шло время, тем труднее ему становилось. Очень уж он оказался самостоятельным, личным, не поддающимся указке. О том, что он переживал внутри, судить трудно, но по роману «Доктор Живаго» и некоторым частным высказываниям можно о многом догадываться. Сыну художника, близкого Льву Толстому, выросшему в воздухе высшей культуры того времени, никак не по дороге с террором, кровью и диким насилием «сталинской эпохи».

В 1937 году Пастернак едва ли не единственный среди писателей в советской России не подписал петиции писательской о смертной казни целой группы прежних большевиков-интеллигентов, не одобрявших в чем-то Сталина. Надо иметь понятие о жизни в тогдашней России, о беспредельной подавленности людей деспотизмом, чтобы достаточно оценить мужество писателя, сказавшего наперекор всему: «нет».

В это время была беременна его жена. Легко ли ему было сказать это «нет»? Сам он признает особый свой склад, требующий необычайной «свободы духовных поисков». Конечно, он понимает, какой он «неудобный» муж, отец, глава семьи. Но вот поставил на карту, не побоялся — и выиграл. Его не тронули. Правда, и не печатали ничего, кроме его переводов,— переводил он и Шекспира, и Гете (теперь как будто Рабиндраната Тагора.)

Нелегкие для него годы. Но они, конечно, заново перепахали его душу. Теперь он далеко не тот, каким был в молодости. Трудно представить себе, чтобы тот Пастернак, которого некогда встречал я в Москве, позже в Берлине, писавший косноязычные, хаотические стихи, мог писать на Евангельские темы! А написал опять все по-своему, но благоговейно.

Да, конечно, он и тогда писал хорошую прозу, но должен был пройти долгий и тяжкий путь, неся крест одиночества, отчужденности, видя страдания вокруг, нечеловеческие беды, среди подхалимов, льстецов, фанатиков и просто негодяев, чтобы прийти к Истине Христовой — к любви, милосердию, состраданию и уважению к человеку, к признанию его не роботом и машиной, а образом Божиим.

От своего раннего писания он отрекся. Отрекся и от Маяковского. В советской России голос покаяния! О, не такого «покаяния», перед «партией», которое нужно для карьеры, а потому ничтожно, лживо и унизительно. Нет, у него — без припадания к стопам власть имущих — голос бескорыстный и внутренний. Некогда Маяковский кричал вместе со своей ордой: «Долой Пушкина». Пастернак не кричит, а просто отходит от этого Маяковского — не по пути им.

«Одиночество и свобода»—так определяет, очень верно, критик и поэт Адамович положение писателя русского в

эмиграции. Одиночество и не-свобода: так можно было бы сказать о положении Пастернака в России.

И вот, неожиданно для всех, появился роман его — «Доктор Живаго». Роман вызвал целую литературу о себе, вышел чуть не на всех европейских языках, получил автор за него Нобелевскую премию — только в России книги этой нет, но представители бесчисленных «республик» СССР, вплоть до ингушей и чувашей, не читавши строчки из этого «Живаго», «строго осудили» его, автора всячески поносили, а один Герострат советский в Москве заявил на некоем собрании в присутствии Хрущева, что Пастернак «хуже свиньи». (Слава этого «товарища» стала мгновенной. Мгновенно и забудется его ничтожное имя.)

В действительности «Доктор Живаго» — выдающееся произведение, ни «правое», ни «левое», а просто роман из революционной эпохи, написанный поэтом — прямодушным, чистым и правдивым, полным христианского гуманизма, с возвышенным представлением о человеке — не таким лубочным, конечно, как у Горького: «Человек — это звучит гордо!» — безвкусицы в Пастернаке нет, как нет позы и дешевой ходульности. Роман, очень верно изображающий эпоху революции, но не пропагандный. И никогда настоящее искусство не было пропагандной листовкой.

1960

Еще о Пастернаке

Из его «Автобиографических заметок» я узнал мелочь, послужившую началом переписки: мы родились с ним в один и тот же день месяца, только он на девять лет позже меня.

Я написал ему наудачу и о совпадении, и о другом. С этого и началось. Начался странный, заочный, краткий «роман».

15 марта 59-го года он ответил мне: «Дорогой Борис Константинович, не могу Вам передать... как обрадовали Вы меня своим письмом. Наверное, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой, наверно, нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам». Ему «чрезвычайно дорого», что я говорю о его книге, но «что бы Вы ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью». «Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед собою и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю»...

Его письма ко мне получали здесь большой отклик. Их всегда просили читать вслух. По этому поводу я написал ему о Петрарке. Письма Петрарки из Авиньона во Флоренцию друзьям считались там событием. Получавший созывал друзей, устраивал обед, потом читалось письмо — десерт высокого тона. Разбойники под Флоренцией, грабившие купцов с севера (они-то и возили письма), очень ценили, если в добыче попадалось письмо Петрарки,— дорого можно было продать.

Это мое письмо о Петрарке, видимо, пронзило его. Но ответа я не получил — ответное письмо не дошло. Что оно не дошло, видно из его письма к моей дочери. («Мои восторги пропали по дороге».) Да, очевидно, он-то получил и ответил со свойственной ему очаровательно-детской восторженностью, но, вероятно, начальство решило, что это уж слишком — писать так эмигрантскому человеку.

Переписка все-таки продолжалась. В письме от 4 октября 59-го года он пишет о своей пьесе: «Пожелайте мне, чтобы непредвиденное извне не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким я подходил к пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становятся заветным занятием или делом страсти».

«Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным».

В последнем письме, февральском, 1960 года он меня поздравляет с днем рождения. Та же горячность и нежность. Та же детски открытая душа. (Недаром Ахматова говорила о нем, что он вечно будет молод. Да, он был молод душевно, с большим темпераментом, несомненно. И гневался иногда. И бурно. Как тяжко таким натурам жить под ярмом!)

И вот что еще он пишет в предсмертном письме: «Все это» (мои книги. Я ему посылал, они доходили) «попадает в жадные и дорогие мне руки одной героини-приятельницы, которой порядком за меня в жизни достается и досталось в самом прямом смысле... слова и дела».

...«Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону... работа закипит и сдвинется с мертвой точки». (Дело идет о пьесе.)

Не знаю ничего о судьбе этой пьесы. Не знаю даже, окончена ли она. Вернее, что нет. Знаю, однако, что размах ее огромен, кажется, это триптих.

Жизненную же драму знаю и пред нею почтительно, с грустью склоняюсь.

Да, «баснословный» год. Менее чем через три месяца после февральского письма, 30 мая 1960 года Борис Леонидович скончался. Для советской власти

довольно удобно: неудобный писатель с мировой славой, стоявший поперек горла, ушел. Ну, что же, травили человека, травили после Нобелевской премии, потом лечили, лечили, он и умер. Все в порядке. Осталась могила, горе близких. У меня под иконой пучочек овса с этой могилы. И где-то рукопись пьесы.

Начинается вторая часть драмы. Передо мной фотография, очень хорошая: Пастернак стоит под каким-то деревом, слегка наклонив голову, щурясь, но невеселый. Под руку (правую) держит его русская дама, в кофточке, довольно полная, улыбаясь — улыбкой любви. Слева совсем юная девушка с приятным русским лицом, тоже держит под руку, глаза тоже улыбаются, прелестно. Вся она — юность и привлекательность.

Эти двое — Ольга Ивинская и ее дочь. Та Ивинская, в чьи «жадные и дорогие мне руки» попадали мои книги, прежде чем Борис Леонидович начинал их читать. Это Лара «Доктора Живаго», все ясно. Это ее детей (она вдова), Ирину и Дмитрия, опекал Пастернак, когда она сидела в тюрьме при Сталине, а они были еще детьми. Это она, Ольга Ивинская, трепетала за него, когда после Нобелевской премии шавки советской нелитературы лаяли на него, кричали, что он хуже свиньи. Это о ней он сказал, что ей «порядком за меня в жизни достается и досталось».

И предчувствием томился. Слова «достанется» не прибавил, но тревожился очень. Теперь лишь из гроба мог бы увидеть, как судили ее — и осудили, Ирину тоже. Подло судили, при закрытых дверях,— осудили на восемь лет мать, дочь на три года. Виновата мать в том, что Серджио Анджело, бывший итальянский коммунист и сотрудник издателя Фельтринелли, через Ивинскую передал Пастернаку деньги из его западных гонораров — и в июле 1960 года по прижизненной просьбе самого Пастернака некую сумму для нее самой. Ее подвели под 15-ю статью (контрабанда оружием, взрывчатыми веществами, наркотиками и т. п.). А дочь? Дочь упекли за то, что знала и не донесла на мать. Ирина, выслушав приговор, упала на суде в обморок. (Перед этим ей уже поднесли милый подарок: за несколько дней до свадьбы выслали из России молодого француза, ее жениха.)

Да, фотография эта — Пастернак между Ольгой и Ириной,— пронзает. Борис Леонидович в родной земле — да будет она ему легка. А память о нем, добрая и благодарная, иногда и восторженная, на родной этой земле, столько горестного ему причинившей при жизни, надолго останется. Не вечно будет там и полицейский участок. «Доктор Живаго» — лучшее Пастернака произведение с пророческим стихотворением «Август». (При жизни описал свои похороны так, как они и произошли. И с Ларой при жизни навсегда простился:

«Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья»).

Господь избавил его от зрелища ее последней Голгофы и Ирининой.

Глядя на них обеих, беззащитных и томящихся теперь «где-то», испытываешь даже смущение. Неловкость какую-то за собственную свободу. Вот ты живешь, ходишь, чувствуешь, любишь, страдаешь, но ты на свободе и в условиях жизни человеческих. А они? Да пошлет им Бог сил. Как написано на одной колокольне скромного итальянского местечка близ Генуи:

Dominus det tibi fortitudinem.

Время идет. Пастернак все далее отходит в Вечность. Три сосны над его могилой все так же шумят в московском ветре. Зимой бюст его будет поставлен на могиле.

И вот все вспоминаешь его — значит, человек обладал тайной прельщения. Почему два раза вслух прочитан «Доктор Живаго» и после него многое кажется серым, неинтересным? Это и есть загадка власти. Ибо нет художника без власти. Только власть эта не навязана, никто не грозит ею, не ведет в участок, а сама она незаметным образом овладевает. Тютчева никто мне не приказывал ценить, а вот сам он вошел в меня, без окриков — и уж не уйдет.

В рассказе о последних днях Пастернака супруга его передала журналисту, что более всего жалел он, умирая, что не сможет более писать. Писатель, узнаю тебя! Наша болезнь неизлечима. Узнаю и молодость твоего духа, хоть бытие твое достигло уж библейского предела. («Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти...») Пастернаку шел восьмой десяток, но в самом начале. Его Живаго, доктор, кажется старше автора (внутренно), более печален и разочарован. (В Москву он возвращается из тайги уже разбитым кораблем.) Усталости, печали в самом Пастернаке по его письмам не чувствуешь. Страдал он в жизни много, бурно, но никакого равнодушия и дряхлости к зрелым годам не нажил. Этой зимой близкий мне человек видел его в Переделкине — по его рассказу, Пастернак был очень оживлен и бодр.

А литература и искусство глубоко, крепко в нем сидели. Думаю, именно по горячности своей и нездравому смыслу молодости водил он некогда компанию с Маяковским, размахивался и в революцию — что-то ему нравилось во всем этом. Но наступила и расплата. Сам казнит он себя незадолго уже до кончины. «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить...» «Везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товари-

щества и в угоду царившим вкусам старался ничему не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды».

«Моя жизнь далеко не гладкая...— меня окружают заботы и тревоги и на каждом шагу подстерегают,— выразимся мягко...— неожиданности. Но среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение».

Судит он свою молодость преувеличенно, строгость жестокая, но насколько же лучше это самолюбования и охорашивания перед зеркалом. В нем этого не было, хотя славу, вернее — любовь людей он все-таки любил...— но это так по-человечески! «Вообще лучшая награда за понесенные труды и неприятности то, что лучшие писатели века... книгу читали, кто на других языках, кто в оригинале». «Как все сказочно, как невероятно!»

Поражает его изгиб собственной судьбы: «И только этот баснословный год открыл мне... душевные шлюзы, но совсем с другого боку. И о Фаусте написал я по-немецки по запросу из Штуттгардта, где есть Faust Gedenkstätte (место рождения исторического Фауста), и по-английски о Рабиндранате Тагоре (совсем не восторженно) его биографу в Лондоне, и по-французски о назначении современного поэта, и в Италию. И стало легче. Но как это все странно, не правда ли? Оказывается, можно и думать. То есть думать, как самому хочется, как думается, а не как велят». «Я послал Вашей дочери Фауста. Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам собственного предисловия. А может быть, только для этого я переводил Гете, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом, и как! Всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... «работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело только подбирать рифмы».

Да, и Лозинскому, переводчику «Божественной Комедии» в России, пришлось соседствовать с предисловием, где Маркс и Энгельс одобряют поэта и дают ему «путевку» в советское издательство. Для Данте понадобились Маркс и Энгельс, а для «Фауста» в переводе Пастернака пришлось объяснить читателям, во введении, что слово Бог, часто встречающееся в поэме, надо понимать не в том смысле, какой он имеет, а в особом (смысле «чисто пикквикийском».— Б. З.), т. е. Бог собственно и не Бог, что-то вроде «силы социальных отношений».

Судьба Пастернака одна из самых удивительных в литературе нашей — с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине (отказавшись подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов), высидеть годы в одиночестве Переделкина, вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир, так любить Родину, как он, и при громе рукоплесканий иноземных — от «своих» получать заушения как раз в этом 1959-м, «баснословном» для него году.

Пастернак был человек сильный. Все-таки такая травля дней не прибавляет. Что же, своего добились. Дни сократили. «Баснословный» год, год мировой славы, оказался и последним. Полицейские от литературы могут быть спокойны: Пастернака нет. Вот уже полгода покоится он в родной земле жестокой родины. Превосходные фотографии (иностранные!) запечатлели нам его похороны и его лицо в открытом гробу — лицо приняло особую, высше-торжественную красоту. Гроб окружен любящими, любящие несут его на плечах за версту с чем-то на кладбище, в том же открытом гробу, как носили в русской деревне покойников в моем детстве. Русские лица, русские лесочки, березы, мимо которых проходит процессия, русский деревянный мостик, столь убогий в простоте своей — но по нему переходит лента людей благополучно — тысяча с чем-то: все это пронзает. Медленно, но в любви и без серпа и молота подвигается Пастернак к Вечности.

Из Москвы прислали моей жене два снопика овса, совсем маленькие, с могилы Пастернака. Оба они лежали у нас под иконами, славные знаки памяти и любви: наш Пастернак, наша земля взрастила его, как и этот смиренный, иссохший овес.

И вот нас посетила иностранка, переводчица и поклонница Пастернака графиня Пруаяр. Жена передала ей снопик. Та обняла ее и поцеловала. Французские глаза так же наполнились слезами, как заполняются и русские. И это хорошо. И это радостно. Франция прижала к сердцу бедный снопик русского овса и унесла его как память, как знак любви.

1960—1961

Вступление и публикация
Ирины БАРМЕТОВОЙ

По страницам книг и журналов

Беспредел

•

Л. Габышев. Одлян, или Воздух свободы. «Новый мир», 1989. №№ 6—7.

•

Андрей Битов в своем блестящем предисловии к этой книге, отметив «врожденное мастерство» Леонида Габышева, написал, что видит в нем «будущего романиста». Почему будущего? Романист перед нами.

«Но это же частная история одной человеческой судьбы,— возразит недоверчивый читатель.— А где же масштабность повествования, где глубина социального анализа, где, наконец, любовная линия? Какой же роман без всего этого!»

Стою на своем: роман. И история не частная, и масштабность есть. Потому что не только о «малолетке» Кольке идет речь, не только об одной колонии в Одляне и не только о тюремно-лагерном быте. Это книга о нашей жизни. И не автор виноват, что в ней, этой жизни, «Одлян» (сделаем это слово символом) пустил корни. «Одлян»—гиперболизированная модель всего общества.

Итак, Колька Петров. Он же Камбала. Он же Ян. Он же Хитрый Глаз. И он же — просто Глаз. Как заправский вор, меняет этот юный лагерник клички, а вместе со сменой имени остается позади очередной этап его спрессованной жизни. Он меняет имена, как кожу, и действительно выходит из каждого испытания обновленным. Русская литература приучила нас к тому, что ее персонажи, пройдя через нечеловеческие трудности и невзгоды, очищаются, становятся, как пишут в учебниках, выше и светлее. Испытания, через которые прошел Колька, напротив, превратили его из обычного, пусть и неуправляемого и с плохим характером мальчишки в хитрое и жестокое существо, в котором одно за другим отмирают, казалось бы, неистребимые человеческие чувства. Таковы уж эти испытания. Употребим лагерное словечко «беспредел», подхваченное нынче журналистами.

«Раньше он думал, что среди заключенных есть какое-то братство, что они живут дружно между собой, что беда их сближает и что они делятся коркой хлеба, как родные братья. Первый же час в камере принес ему разочарование». Издевательства обрушиваются на него, начиная с первых же траниц романа, с первого тюремного дня, когда ему сделали так называемую «прописку», а попросту говоря, унизили и избили до такой степени, что он едва не потерял рассудок.

«Прописку сделали?» — деловито осведомился у камеры старший воспитатель майор Рябчик. Ему, воспитателю, изуверы нужны и выгодны. Уж они вместе с ним так «воспитают» унижением попавшего в заключение новичка, что он либо станет тишайшим, лишенным человеческого достоинства доходягой (хорошенькое словцо переползло в наше время из сталинских застенков?), как забитый, всеми презираемый Амеба, либо уж так озвереет, что и сам охотно «опустит», а то и «замочит» кого угодно.

«Из тебя в Одляне хотят зверя сделать,—объясняет внутренний голос (т. е. автор) Кольке.— Иначе станешь Амебой. Чтобы постоять за себя, других надо бить. Роги и воры на свободе такими зверями не были. Зверями их сделала зона. Чтоб не били их, они дуплили других и поднимались все выше и выше. Одни стали рогами, другие ворами».

В Одляне двоевластие: маленькими лагерниками управляют, с одной стороны, активисты, роги, официальная, назначенная сверху власть, с другой стороны — лидеры преступного мира. И те и другие — лагерная «элита», которая не обременена работой, самостоятельна в суждениях и поступках и обладает реальной властью над судьбами и жизнями остальных колонистов.

Если мы зададимся сегодня некрасовским вопросом: «Кому на Руси жить хорошо?»—мы увидим у нашей общественной пирамиды те же две верхушки, что возвышаются над Одляном: «рогам», «активистам» соответствует власть предержащая бюрократия, в том числе и партийная; «ворам» соответствуют воры: представители преступного мира, деятели торговли и теневой экономики. Тем, кто взобрался на эти вершины, «живется весело, вольготно на Руси».

Мальчишки готовы на что угодно — отрубить себе руку, отравиться, готовы взять на себя чужие преступления или пойти на новые — лишь бы вырваться из Одляна, этого ада, этой страшной мясорубки. Колька-Глаз вырывается, но ненадолго и потому решается на отчаянный побег. Его ловят, дают новый, гигантский по масштабам его пока короткой жизни срок. Теперь ему уже не выбраться из этой карусели. Остается вживаться в чудовищный, нечеловеческий мир, единственная возможность вжиться — отыграться за все пережитые некогда унижения на других.

И Колька вживается. Со временем и он становится «своим», и он раздевает новичков, и он готов их унизить. После побега он возвращается в Одлян, как домой. Круг замкнулся.

> Что творится по тюрьмам советским,
> Трудно, граждане, вам рассказать,
> Как приходится нам, малолеткам,
> Со слезами свой срок отбывать,—

повествует традиционно жалостливый блатной фольклор. Об этом действительно «трудно... рассказать». Но Леонид Габышев смог.

А ведь описанное им хотя и поражает, а все ж таки знакомо. Не такая уж им изображена экзотика. О многом мы прочитали, например, в новейшей литературе об армии. Совпадают даже детали, например, наименование приемов изуверства: «велосипед», когда спящему между пальцев ног вставляют обрывок газеты и поджигают, «самосвал», когда из особым образом укрепленной кружки на спящего льется холодная вода, да и более серьезные развлечения, когда в «опускании» используется параша или когда новичка поливают мочой. Не говоря уже об изощренных разновидностях прозаического мордобития.

Одлян заразен и поэтому опасен не только для тех, кто угодил за колючую проволоку. На фоне реально существующего в нашей жизни «Одляна» (снова в кавычках, как явление) до чего же схоластическими представляются наши споры о путях борьбы за демократию, о гласности, о правовом государстве. Это споры нужные, но, как бы это поточнее выразиться, сытые.

А вы, спорщики, поставьте себя на место мальчишки, которому сейчас, в наши дни, зажимают руку в железных тисках, вынуждая оговорить себя. Представьте, что это на вас, распростертых на бетонном полу, испражняются. Что, трудно это вообразить? Но пока существует в нашей жизни «беспредел», который не снился и Достоевскому с Хичкоком, мы не можем говорить о том, что стали нормальным здоровым обществом.

Давайте зададимся непатриотическим вопросом: где такое еще возможно? Вернее, непатриотических будет ответ на него. Но если мы не на словах, а в душе любим свой народ, мы должны уничтожить в нем Одлян. Во всех смыслах: и в прямом, и в переносном.

А Леонид Габышев? Это и в самом деле настоящий писатель. Он пришел не с той стороны, откуда мы ждали прибытия большого таланта. Но он пришел.

Андрей МАЛЬГИН

«О честности, о скромности, о правде»...

•

Наталия Ильина. Белогорская крепость. М. «Советский писатель». 1989.

•

С радостью взялась я читать сборник «сатирической прозы» Наталии Ильиной. Многое, казалось, хорошо помнилось. Ну, скажем, все три фельетона, составившие теперь в книге «Автомобильный триптих». А можно ли забыть «Филевскую прозу»? Этот фельетон как-никак дал русскому языку новое имя нарицательное. Незабываемо смешны и «Сказки брянского леса», да и многое другое. Одним словом, я предвкушала удовольствие от нового соприкосновения с сатирическим даром: от души посмеяться — что может быть утешительней в наше серьезное время? Подарок судьбы.

В книге собраны фельетоны и пародии более чем за тридцать лет. Самые ранние помечены 1955 годом. При взгляде на эту дату подумалось: ну, столь давние наверняка устарели. Ведь до XX съезда написаны! Что тогда могло стать предметом сатирической прозы? Правда, в начале 50-х годов было широковещательно объявлено, что нам опять нужны Гоголи и Щедрины, но ведь такие Гоголи, чтобы нас не трогали, как стало очень скоро понятно. Посмотрим, посмотрим, над кем и над чем смеялись мы тогда.

И в самом деле, кое-что не то чтобы совсем устарело, но как-то поувяло, изменило первоначальную яркую окраску: то, что в те далекие времена вызывало смех, теперь только улыбку. Ну, например, пародии на Эренбурга, Леонова, Паустовского. Увы, подзабылись уже сами тексты, послужившие предметом комического подражания, а значит, и эффект уже не тот. Или другой пример: пародия на прозу Ксении Львовой. Конечно, пошлость бессмертна, но пошлость тридцатилетней давности показалась сегодня какой-то трогательно-невинной по сравнению с яркими изощренными и агрессивными образцами последующих времен. Все-таки у Ксении Львовой не было того шикарного международного размаха в использовании материала, той сюжетной смелости, соединяющей воедино насилие, религию и венецианские пейзажи, которые приобрела салонная проза 80-х годов. Чего не было, того не было. И наша единственная реакция на фельетон Наталии Ильиной сегодня — улыбка воспоминаний о наивных временах.

Несколько удивило название книги — «Белогорская крепость». Фельетона 1968 года с таким заголовком я не помнила, а пушкинская ассоциация — в первую очередь славная комендантша Василиса Егоровна, мотающая нитки с помощью солдата-инвалида, казалось, мало подходила к обстоятельствам нашего времени. Да и плохо вязалась эта непроизвольная ассоциация со зловещим рисунком художника Владимира Муравьева на обложке книги: бюст слепого бюрократа на постаменте из деревянной тары, ныне столь щедро засоряющей российскую землю. Щедринская обложечка.

Но вот этот удивительный Пушкин: чего бы и когда бы мы ни коснулись, он всегда на месте и ко времени, всегда даст ключ к осмыслению самых разнообразных явлений на этой безмерно широкой и нерасчетливо щедрой российской земле. И у Наталии Ильиной пушкинская ассоциация оказалась куда как на месте! «Белогорская крепость» — прекрасное название.

Многосмысловую емкость этого названия оцениваешь постепенно, по мере чтения книги, в которой фельетоны и пародии расположены вовсе не в хронологическом порядке. На передний фланг здесь выдвинуты старые и новые свидетельства явлений элементарных и одновременно фундаментальных для нашего существования. И когда читаешь книгу Наталии Ильиной, перед тобой раскрывается во времени и пространстве — в нашем времени и в нашем пространстве — связь бесчисленных «фельетонных» мелочей этой жизни с общим направлением ее течения. Через час чтения «Белогорской крепости» я заметила, что у меня дрожат руки. С чего бы это? Помнится, ни тридцать, ни двадцать лет назад сатирическая проза этого автора такого действия на читателя не оказывала. Тогда мы смеялись: как точно замечено! Как остроумно написано! Сегодня же, когда мы довольно бесстрашно, а вернее, закаленно читаем о кровавом рэкете и смотрим на прочно застывший остов Елабужского автомобильного завода на экране телевизора, дрожат руки. А ведь о каких пустяках с нынешней-то точки зрения шла речь в тех давних фельетонах? О грубости продавцов, о бестолочи в торговле, о плохом обслуживании в гостиницах, об унижениях при покупке и продаже автомобилей, о мелких доносах и доносчиках, о неграмотных графоманах, о канцелярском преподавании литературы в школе и т. д., и т. п. Нас ли всем этим удивишь? К тому же ведь тогда-то продавцы действительно что-то продавали, а по крайней мере в столичных магазинах и было еще что продавать; тогда в пароходном ресторане пассажирам навязывали черную икру (дорогую и засохшую — видишь ли, беда!); да и доносчики попадались автору какие-то доморощенные, простодушные, не чета профессору Клушину (видимо, то была эпоха временного упадка жанра, бывают ведь кризисы в истории национальной культуры)... В общем, детский сад, патриархальщина. С чего бы рукам-то дрожать?

Убила постоянность проблем. Прочность корней. Их глубина и разветвленность, обеспечивающие мощность роста побегов. Читала фельетон за фельетоном и думала: что же происходит? Мы так сейчас рассчитываем на гласность, так радуемся непривычной свободе словоизъявления, а вот ведь и двадцать, и тридцать лет назад гласно и письменно предупреждали нас примерно о том же самом, что волнует большинство и сегодня. А воз и ныне там? Или не совсем там?

Закрываю книгу, снова открываю ее. Наобум, в разных местах, как при гадании: что было, что-то сбудется? Читаю: «Поставили гражданину в машину новенький шкворень — деталь передней подвески. Ездит гражданин, ездит, полный порядок. И отправился гражданин на Кавказ, и вот там-то, на высокогорной дороге, шкворень сломался. Ну, само собой, колесо отваливается, машину заносит, а тут — пропасть, и как машина туда не рухнула и гражданин жив остался, понять трудно.— Не его очередь была помирать,— сказал фаталист дядя Гоша... Он прижимал к груди водяные помпы.— Выбирайте, авось повезет!» Автор фельетона, проникаясь фатализмом симпатичного дяди Гоши, выбирает, а в голове у него мелькают колесо чичиковской брички и бессмертные гадания гоголевских мужиков про Казань и Москву как возможные пункты назначения бракованного колеса. У меня же, читателя 1989 года, тут же рождается более близкая по времени аналогия: вчерашнее телесообщение о взрыве очередного газопровода. И ведь подумать только, как повезло: в отличие от Башкирии, от Арзамаса ни одного населенного пункта поблизости не случилось, всего только несколько сот гектаров леса как не бывало («словно метеорит упал»,— объяснил корреспондент), да и убытка на... не помню, на сколько миллионов. Кто их помнит? К сгоревшим, растаявшим, сгнившим миллионам все давно притерпелись. Во всяком случае, назавтра в столице никто и не упомянул о рядовом развалившемся газопроводе. Не наша ведь очередь помирать. Хотя кто знает...

Снова наобум открываю книгу Наталии Ильиной. А вот и мой любимый фельетон «Как я продавала автомобиль». Впрочем, почему «фельетон»? Вполне правдивая, объективно рассказанная история. Смешной, сатирической ее делает, пожалуй, лишь невозмутимо-покорная позиция автора-героя. Он (вернее, она) не кипятится, не обличает, не поражает нас лиходеевскими сарказмами (которые я тоже люблю). Здесь автор стоит не над нами, а вместе с нами. В данном случае он просто хочет скорее и проще продать свою машину — не украденную, честно заработанную и честно отслужившую. Как и большинство из нас, героиня этого фельетона вынуждена привычно подчиниться прочно сложившимся обстоятельствам. Может быть, лишь легкая ирония автора, пародирующего в столь

прозаическом случае блоковскую романтическую интонацию, намекает на странность обычности подобных обстоятельств. «О честности, о скромности, о правде много пишет сегодня наша печать. И призывает всем миром сражаться против взяточников, жуликов, хапуг и спекулянтов»,— так начинает Наталия Ильина историю продажи своего автомобиля и продолжает: «Читатели, живущие на трудовые доходы, этими статьями взволнованы: в редакцию идут сотни писем. Дружно осуждается циничная поговорка: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Читатели утверждают, что в основе нашей жизни — честность, трудолюбие, совестливость, этого хапугам не одолеть, однако отдельные жулики это одолевают и в палатах живут, будто законы не для них писаны. И надо с этим бороться!»

С 1985 года, когда писала эти слова Наталия Ильина, намерения честных бороться с нечестными, как известно, во много раз укрепились. Бьют стекла кооператорам — главным врагам нашей общей добродетели, по мнению большинства. (Почему не били окна в магазинах «Березка»? Тихонько, широко покупали чеки—один к двум, помнится?) Впрочем, бьют стекла и в автомобилях, и в дачах — тоже распространенные виды чумы XX века. (То ли дело, если бы все ходили пешком и никуда не ездили. «Какая бы настала благодать!» — как поется в одной пьесе Брехта.) А тут еще появились новые борцы за справедливость — «тапочники». У пассажиров метро снимают с ног сверхкондиционную, по мнению борцов, обувь и гуманно предлагают экспроприируемым старые тапочки, чтобы граждане не простудились. (А разве не справедливо? Поносил хорошее один, а теперь очередь другого. Так ведь куда быстрее, чем направить неуемную жажду справедливости на изготовление для всех хорошей обуви: тогда, чего доброго, у тебя станут бить стекла. А так — равенство и братство.) В общем, способы торжества справедливости множатся. В 1985 году наш опыт здесь был скромнее. И писательница всего-навсего рассказала о том, как с помощью маклера-бандита и других посредников того же бандитского пошиба она продавала свой автомобиль будущему тестю одного крупного узбекского начальника. В конце общих злоключений и продающего, и покупающего, и маклеров-бандитов осчастливленный будущий тесть заявил автору: «Ты честный. Я честный. Остальной — жулик!» Но у Наталии Ильиной более самокритичная оценка собственной роли в неизбежной автоавантюре. Да и к «остальным» она обращается со следующим назидательным советом: «Стремление к честности, желание бороться — прекрасны. Но, выходя на борьбу, готовясь кинуть камень в нарушителей закона, сначала следует себя спросить: сам-то ты не без греха ли?» Дальше в фельетоне следуют примеры «маленьких тайн», при помощи которых все мы — все без исключения — обходим и законы писаные и законы неписаные, то есть мораль, в стремлении, в попытке сделать свою жизнь более сносной, чем делают ее предложенные обстоятельства. Автор приводит совсем простенькие примеры: установка «налево» кнопочного телефона, способ купить нужную тебе дверную ручку. Можно было бы рассказать о путях приобретения раковин и унитазов, путевок на курорты, а теперь еще и пассажирских билетов, проникновения в больницы и ателье, обслуживания вне очереди у парикмахера (о, тут мы, женщины, могли бы поведать кое-что занимательное остальной части человечества!) и самое трагическое — битвы за дефицитные лекарства... Всего перечислить невозможно, да и не нужно: каждый легко или со стыдом, горько или со смехом дополнит неоригинальный сюжет собственным опытом.

В давние «доперестроечные» времена я часто задавала сама себе один и тот же вопрос: кто бы мне объяснил реальные принципы нашей экономики, в частности, тайные пути перераспределения материальных благ и примерный коэффициент «поправок» к официальному бюджету в ту и другую сторону у разных категорий населения в результате этого, я бы рискнула сказать, естественного процесса? Сделать это оказалось невозможно, да уже и поздно. Сегодня никого не интересуют экономические теории развитого социализма, сегодня могут интересовать только его последствия. Сейчас делаются срочные попытки на ходу исправлять его буксующий механизм. Но все-таки действует пока он. Поэтому-то читать старые фельетоны Наталии Ильиной — занятие не только приятное, но и актуальное. Правда, сам автор на первый взгляд ограничивал себя скромной задачей: «показать некоторые, как писали в старину, «гримасы быта». Но ведь, читая Наталию Ильину, мы уже добрались до «честности»? В еще более давнюю старину это называлось «нравами» — правилами поведения и привычками общества. Помните, когда-то школьники обличали в сочинениях «Фамусовскую Москву»? Теперь речь идет о нас с вами. Наталия Ильина предлагает нам при помощи доступных примеров задуматься о самих себе. В краткой «автопародии» 1981 года «Несколько минут из жизни женщины» писательница предельно лаконично очертила суть процесса, который она остроумно назвала, используя строку известной оперной арии, «сегодня — ты, а завтра — я». Как всегда не щадя себя в качестве персонажа житейских битв и не отделяя себя от «остальных», писательница рисует очередь в химчистку, где, измученная «гримасами быта», она истерически кричит приемщице, в данном случае ни в чем не повинной: «...Мы для вас, а не вы для нас, то есть вы для нас, а мы для нас, нет, наоборот, мы... вы...» Героиню фельетона отпаивают водой, читатель смеется, узнавая себя, а автор призывает всех «по возможности любить друг друга». Трудно любить, но надо стараться, как сказал где-то Л. Н. Толстой.

Однако кто же в самом деле «вы» и кто «мы»? Кто для кого? Кто прав и кто виноват? Где следствие и где причина общего... Как бы это выразиться поприличней... беспорядка?

Ясно, ясно: искусственная экономика, несовершенные законы. Но какую роль между тем и другим играют нравы, привычки, общепринятая мораль? Зависимость их от экономики, политики, права и бесправия очевидна — к тому же этой зависимости нас долго учил марксизм. Известная автономность нравственности от «базиса», изначальная свобода воли человека тоже очевидны — этому еще дольше учила человечество религия. Не будем углубляться в переплетение двух очевидностей, предоставим философам устанавливать зависимость между свободой воли и осознанной необходимостью. Книга Наталии Ильиной обращает нас к сугубо практическим аспектам этой связи. А в воображении снова возникает образ Белогорской крепости, мелькнувшей в начале книги и давшей ей название. Но при чем здесь Василиса Егоровна, спросите вы? Вспомним, однако, до конца классический пушкинский сюжет: славная капитанша не только самолично распоряжалась шпагами расшалившихся юных офицеров, но была зарублена пугачевскими казаками у крыльца собственного дома, Белогорская крепость не только честно сопротивлялась «извергам», но и была залита кровью.

Когда фельетон о «бессмертной» крепости читался в 1968 году, то обнаженные в нем «гримасы быта» в первую очередь вызывали веселую усмешку узнавания. Привычные картины: повариха в ресторане успела сготовить на первое лапшу, а на второе — макароны, потому что справляла свадьбу дочери; уборщица тетя Лиза не убрала номер в гостинице, потому что «стояла» за плащом... Надо ли продолжать примеры? В 1968 году филиппики против «гримас» сердитого мужа героини фельетона разделялись читателем, несмотря на улыбку: «Вы на работе!.. Я плачу деньги, которые мне трудом достаются! Благоволите обделывать ваши личные дела в нерабочее время!» Сегодня именно эти справедливые инвективы могут показаться особенно смешными. Когда нас вопрошают: «Нет, почему, почему считается, что везде надо работать хорошо, а в сфере обслуживания — кое-как? Почему?» — хочется ответить: успокойтесь, уже не считается. А ваши заработанные трудом деньги и вовсе не аргумент. Сегодня гневный призыв: «Не пора ли кончать с Белогорской крепостью?» не вызывает такой оптимистической уверенности в успехе, как еще двадцать лет назад: дескать, о чем речь? Нет таких крепостей, чтоб мы не взяли! Утратив обаятельное добродушие, крепость в остальном оказалась воистину бессмертной. А ее «буколическая простота нравов» снова обернулась трагедией; несовместимостью этой простоты с технологическим уровнем земной цивилизации кануна третьего тысячелетия нашей эры. Мы можем сколько угодно протестовать против разных АЭС, ахать при столкновении в морях и на реках сухогрузов и прочих плавсредств, создавать экологические общества, привычно перепрыгивая через вечную лужу в собственном дворе, и т. д. Но пока парикмахер и продавец будут через наши головы сообщать друг другу семейные новости, пока шоферы не выходят на работу по случаю именин у тещи, пока тракторист едет обедать на тракторе до родимого крыльца, превращая деревенскую улицу в месиво из грязи, пока резвящийся турист валит столетнее дерево, чтобы отдохнуть часок на бревнышке, пока... пока... пока... Пока Белогорская крепость хотя бы не задумывается всерьез о своих милых семейных привычках, угроза ее существованию будет нарастать. Так сегодня читается остроумная проза Наталии Ильиной.

В ее книге много места уделено литературе и искусству: их художественному уровню, тиражам, бестселлерам и т. д. Много здесь смешного, очень много. Это поэзия и проза Белогорской крепости, уже повесившей своих бравых комендантов, распрощавшейся с честными гриневыми, спевшейся с беспринципными швабриными и при том сохранившей хитрую «простоту нравов» в собственных практических делишках. Многомиллионные тиражи филевской прозы — прекрасная питательная почва для нравов самой читающей в мире крепости. Ох, боюсь, что именно тут появился повод обвинить и меня в модном ныне грехе — русофобии! Только ведь ни я, ни Наталия Ильина не исключаем себя из числа обитателей крепости. Culpa mea. Что, однако, поделать, если давние крепостные летописцы и бояны научили некоторых из нас жить с открытыми глазами? Очень неудобное свойство, очень мешает существованию. Вот и Кашпировский советует: закройте глаза. А все хочется поглядеть, что происходит.

Наталия Ильина давно и многое подглядела. Приметливость взгляда к нелепым «гримасам быта» и демократическая широта интересов к бытию современников — основа ее «сатирической прозы». Сатирического же эффекта автор достигает в первую очередь сдержанной интеллигентностью тона самого рассказа. Как это и свойственно воспитанному человеку, Наталия Ильина пытается в любой ситуации, даже самой нелепой, поставить себя на место своего оппонента. И получается поразительный саркастический результат: мягкое спокойствие интонации рассказа пленительно оттеняет смешную, некультурную, дикую, а в конце концов беспомощную и самогубительную сторону нравов родной Белогорской крепости.

Е. СТАРИКОВА

...И кто скажет ему: что ты делаешь?

•

Лев Аннинский. Локти и крылья: Литература 80-х: надежды, реальности, парадоксы. — М., Советский писатель, 1989; **Билет в рай:** Размышления у театральных подъездов.— М., Искусство, 1989.

•

Такой вот сюжет: один угрюмый критик вынес на читательский суд «страницы памятного». Одна «страничка» имеет, как я думаю, прямое отношение к этому разговору. Рассказывается там о некоем безымянном критике, который все бегает «с тележкой, с набитой сумкой — рюкзаком на колесиках» и уже не одно десятилетие промышляет в литературе добыванием «ядра ореха» и «самовыражением». И всякий раз в его рюкзаке — то одно, то другое. Вычитает что-то где-то и тут же щеголяет этим вычитанным в очередной книжке, в очередной статейке. То ему нравится Кафка и не нравится русский фольклор; то подавай ему духовность, то вдруг надоел «дух» — «жажду плоти»; потом — и этого не надо. Никаких принципов нет у этого критика — сплошная буффонада! Экий, право, «парадоксалист» — все навыворот, все «выделывает коленца», и по-прежнему вокруг него не унимается «полемика», он чуть ли не «властитель дум»! «Личностность», «личностное начало» — единственная для него «реалия», он начинает заходиться в словесном коклюше на эту тему. Всякий раз вокруг его очередной выходки устраивается «полемика», а на деле — реклама «парадоксалиста». А тому только это и надо...

Это я «близко к тексту» пересказал то, что написано,— о ком? Кто это добывает «ядро ореха» и восхищается латиноамериканцами? Кто «жаждет беллетризма» и больше всего печется о «личностном начале» и «самовыражении» в критике? Кто у нас «главный парадоксалист»? Плохо, сознательно, конечно, плохо «зашифровал» имя героя своих «памятных страниц» М. Лобанов. Ясно, что речь идет о Льве Аннинском.

Здесь перед нами не просто идеологическая, так сказать, нестыковка, но явление более глубокое — несхожесть мировоззренческая: нудительно-серьезное, говоря словами М. М. Бахтина, отношение к предмету изначально не приемлет отношения к нему диалогического, сотворческого, аналитически-раскованного. Так несвободное, поглощенное некоей надличной идеей (национальной ли, классовой ли) монологическое сознание не принимает позицию независимости от объекта исследования, мысли, неангажированной надличной идеей, испытующей и свободной в иронии и самоиронии. А Аннинский это как раз и постулирует: именно от постоянно — сегодня и, что особенно важно, вчера — отстаиваемых им «личностности», «личностного начала» в критике, права критика на «самовыражение», импровизацию «на темы» художественного текста идет все то, что определяется зависимой от моноидеи мыслью как непостоянство, беспринципность, буффонада.

Похоже, что и сам Аннинский сознает невозможность диалога в этом случае, когда говорит во вступлении к «Локтям и крыльям» о том, почему он для одних «свой», а для других (для Белова или Распутина, например) — «чужой»: «не буду с Беловым спорить: все, что я пишу, есть, разумеется, вообще сплошная и несомненная отсебятина». Да, что и говорить, для спора требуется некий спектр взаимопонимания, стремление к диалогу.

Внимательно читая статьи Аннинского, я обнаружил в них — таких разных — нечто общее в самом *методе* критика. Громогласно отказавшись от следования за писателем, чем наполнил он свой анализ? Вопросами... К самому себе. К нам. К авторам. К героям... Целый град вопросов. А в финале формулируется некий очередной парадокс:

или критик скажет, во что он верит в связи с возникшими по ходу статьи вопросами (о том, например, что есть истина);

или сообщит нам о том, что все мы бесконечно разные, и о том, что боль роднит;

или спросит, откуда растут крылья — из спины или из локтей;

или пожелает в конце статьи герою приятного аппетита;

или оборвет статью словами: «Мне достаточно».

И закончит уже всю книгу так: «Не имеют ответов «проклятые вопросы». Но вопросы повседневные, и литературные в том числе, решаются сносно лишь тогда, когда «проклятые вопросы» колом стоят в головах.

Включая и головы критиков.

Такой парадокс».

Куда же мы пришли? Опять к вопросам.

Но где же любовь критика?

«Проклятые вопросы» — вот его любовь.

Может критик на них ответить?

Не может.

Но читатель закрывает книгу, обогащенный прояснением (не ответами) этих вопросов, обогащенный свободной мыслью критика о прочитанных произведениях. Свободной мыслью, а не подчиняющим анализом доказательства некоей доктрины.

Впрочем, речь идет не только, конечно, о произведениях, но о жизни, ибо критика интересуют те пределы, где «кончается искусство». Поэтому если речь идет о «Плахе», то это разговор о необходимости выработки человечеством новой системы ценностей; если критик говорит о романах А. Нурпеисова, он обращается к проблемам национального космоса, экологии, концепции человека; говорит Аннинский о «Железном театре» О. Чиладзе, но в центре-то — веер философских идей писателя, их испытание... И так всякий раз — перед нами *диалог* критика с героями, *диалог* его с автором. Именно диалог, когда собеседник развивает какие-то писательские идеи или спорит с ними, опираясь на логику характеров героев, на *личный опыт* и опыт своего поколения — «сплошная и несомненная отсебятина»! Но не для этой ли отсебятины открываем мы книгу критика? Предвижу ответ: нет, для истины. Но ведь истина не монологична, она рождается из диалога, на пересечении правды каждого. И если мы озабочены ее поиском, оставим право каждому на его правду, на его слово в диалоге, на его «отсебятину».

В этой связи я думаю о том, что такое «Билет в рай». *Чьи* это «размышления у театральных подъездов»? «Письма моему «Современнику» — назвал Аннинский один из разделов своей книги, а первую главку его озаглавил так: «Почему «моему». И в самом деле, почему? «В судьбе людей моего поколения театр «Современник» сыграл огромную роль. Я не собираюсь доказывать, что это был лучший театр времен моей молодости, ни тем более, что это лучший театр со времен моей молодости,— но это театр, выразивший мою душу и мой путь... О других театрах я могу писать исчужа, об этом — только «изнутри», так, как пишут себе или о себе. О других — статьи, этому — письма... Письма — это линии связи, независимо от того, приемлешь ли, отвергаешь ли, горький ли час пришел, праздничный ли». Этот прямой ответ пусть не ответит нас от темы, дескать, ну вот, опять «субъективность» и «личностное начало». Будем помнить, что речь-то идет о «субъективности» целого поколения, о его культурной ауре.

И все равно я пойму читательский вопрос: как же так, нам был обещан «разбор» сцен и положений (в современном ли театре, в литературе ли), а здесь — «Важно не то, что художник «хотел сказать» и «сказал» в своей профессиональной сфере,— это для критики дело попутное. Важно то, что этим фактом «сказалось». Получается опять критический субъективизм, ибо «методы литературной и театроведческой критики разнятся только на этапе перворасшифровки. Технологически это, конечно, наиболее интересная задача. Но где начинается истолкование, там «интересам» не место. Там — исповедь».

Журнал «Театр» задает вопрос: «Критика — тонкое и сложное искусство. В чем, по-вашему, особенности критики как искусства, как литературы?» «*Только* в том,— отвечает Аннинский,— что эмпирическим материалом для критика служит чужой текст. Или зрелище...

Художественный эффект критики для меня — аксиома, не требующая опор. Я бы только сказал — не «художественный», а духовно-практический.

А где же «научный анализ», «доказательства» и прочее?

Пожалуйста: это лишь *арсенал* духовно-практического воздействия на читателя».

Вот вам и буффонада! С чего, с какой натуры пишет Аннинский в «Билете в рай» духовную ситуацию? С самых ярких имен нашей драматургии, с самых острых спектаклей, с анализа новых тенденций в развитии театра — всего того, что вызывает столкновение мнений сегодня. «Действующие лица» его книги — В. Арро и В. Белов, А. Гельман и И. Дворецкий, «отцы и дети» театра «Современник», руководители студийных театров В. Спесивцев, В. Белякович, Е. Еланская.

Что и говорить, Аннинский — критик универсальный: тут и театр, и литература, и кино, и живопись, и даже фотоискусство (целую книгу о литовской фотографии написал!), но эта универсальность всегда имеет некий спектр притяжения: духовная ситуация — во времени, проблемы национального и интернационального — в пространстве.

Откуда интерес к инонациональным литературам? От отраженных в них национальных граней общечеловеческого. Отсюда вывод: «Народы глядятся друг в друга, как в зеркала. Вне этого взаимовглядывания русский — не русский, якут — не якут... Дело же не в том, чтобы сдвигать сосуды с вином, провозглашая тосты за дружбу народов,— дело в том, чтобы ощутить, как в разных жилах пульсирует единая кровь человечества».

Что ж, и сама ведь книга «Локти и крылья», как бы продолжающая книгу «Контакты», вышедшую семь лет назад,— о том, «как русское самоощущение реализуется через контакты с инонациональными культурами. Это и метод, и сверхзадача. И вот извне — через «Плаху» Ч. Айтматова, романы А. Нурпеисова, «Железный театр» О. Чиладзе, повести У. Рижинашвили, «Поездку в горы и обратно» М. Слуцкиса, через прозу Анара и Айлисли, Ю. Пеэгеля и Я. Кросса, через опыт латиноамериканцев проясняется и чужой, и свой национальный культурный опыт. Да, из национальных литератур берутся фигуры «национально-представительные», «духовные этнархи», но здесь и опыт современной русской литературы — А. Рыбаков, А. Битов, Л. Жуховицкий, В. Маканин, Г. Фиш, А. Ким, Л. Бежин, В. Попов, В. Корнилов.

Везде — разговор о писательских индивидуальностях, но это и разговор об общем — о взаимосвязях национальных культур, о национальных ценностях. Что может *чужой* опыт, что доступно взгляду *извне*? Подчас больше, чем опыту собственному, чем взгляду изнут-

ри. Все зависит, как считал М. М. Бахтин, от уровня вопросов, задаваемых инонациональной культуре. Это главное. «Последние», «проклятые вопросы» — о смысле жизни, о цене исторического прогресса, о бытии обособленного созиания личности — и старается задавать Аннинский. Может быть, поэтому книга этого «парадоксалиста» дает куда больше для понимания реального феномена взаимодействия национальных культур, чем многие скучные толстые труды, трактующие проблему «взаимообогащения и взаимовлияния братских культур».

Всегда ли мы удовлетворены полученным результатом (ответов-то почти никогда нет)? Думаю, не всегда. И здесь я вслед за оппонентом критика скажу: «А тому только это и надо». А ведь точно: свобода критической мысли, проповедуемая Аннинским, может быть неприемлемой не только для зацикленного на моноидее сознания, но и для сознания научного. Отличие состоит, однако, в том, что последнее допускает самоценность свободного критического взгляда, вступает в диалог с ним, тогда как первое (как в случае с тем же Лобановым, например) к такому диалогу не готово вовсе. Аннинский ищет не собеседника, а спорщика. Он постоянно провоцирует этот спор, всякий раз «подставляясь», играя с читателем.

Может быть, поэтому спорить с Аннинским легко. Эта полемика не иосит следов какого-то обличения, нет здесь никаких инвектив и злости. Аннинский умеет спорить, знает в этом толк и удовольствие. Все делается этак нехотя, играючи: нам «подбрасывается» тезис, который никак в общем-то не доказывается. Вот лишь один пример — статья о «Поездке в горы и обратно» М. Слуцкиса начинается с утверждения о том, что все рассуждения критики о кризисе литовского романа «внутреннего монолога» в значительной мере беспочвенны. Почему? Ответа нет. Лично я не стану включаться в спор с Аннинским, хотя и написал недавно статью о кризисе современного романа, в том числе романа литовского («Вопросы литературы», 1989, № 6), и выкладывать свои аргументы. Почему? Ну не только потому, что не хочется повторяться, а еще и потому, что спор этот получится мнимым — тезис подкинут для затравки, и мне почему-то кажется, что критик не станет его обосновывать, потому что статья его не о том вовсе.

Ну вот, слышу я опять: разве не буффонада? Подбросил некую идею и ушел от нее — разве это серьезно? Это — нет. Серьезно-то как раз другое — то, о чем в действительности говорится в статье. Это главное. И еще. Очень важно не попасть в эти расставленные критиком мнимые ловушки, не поддаться на внешнюю простоту, на яркость россыпи красивых парадоксов. Идти вглубь — там пространство для спора. Но вот там-то такой «беспринципный», «несерьезный» критик оказывается удивительно глубоким и твердым в отстаивании своей позиции в споре о главном.

Да, о чем бишь статья, посвященная роману Слуцкиса? О том, что «Прошлое было. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как справиться с памятью о нем. Без памяти легче. Но без памяти гибель». И чего ж тут спорить? Екклезиастом сказано, что день смерти лучше дня рождения. Так и тут — без памяти легче, но без иее гибель. Выходит, опять же, что гибель лучше. Сплошные парадоксы.

А чего же еще ждать от критика, утверждающего свои, незаемные идеи и личностный, свободный взгляд на жизнь и литературу? Он ведь критик-демиург. Свободен — от текста, от чужих идей и неких идей группировок и групп. Один — на всех ветрах. Хозяин — барин.

Какой уж тут Екклезиаст! А впрочем, и он тоже: «Где слово царя, там — власть; и кто скажет ему: что ты делаешь?»

Что ж, как говорится, вольному воля.

Евгений ДОБРЕНКО

г. Одесса.

Премии журнала «ОКТЯБРЬ» за 1989 год

В. МАКШЕЕВ

Саша СОКОЛОВ

Д. ВОЛКОГОНОВ

М. ГЕФТЕР

Г. ВОДОЛАЗОВ

Ю. БУРТИН

Вадим МАКШЕЕВ. **И видеть сны...** Повесть (№ 4).

Саша СОКОЛОВ. **Школа для дураков.** Повесть (№ 3).

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Триумф и трагедия.** Политический портрет И. В. Сталина (1988, №№ 10—12, 1989, №№ 7—9).

М. ГЕФТЕР. **Судьба Хрущева.** История одного неусвоенного урока (№ 1).

Г. ВОДОЛАЗОВ. **Ленин и Сталин.** Философско-социологический комментарий к повести В. Гроссмана «Все течет» (№ 6).

Ю. БУРТИН. **Ахиллесова пята исторической теории Маркса** (№№ 11, 12).

В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ «ОКТЯБРЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Леонид БЕЖИН. **Маяк над островом.**
Нина БЕРБЕРОВА. **Курсив мой.** Книга вторая;
Борис ВАСИЛЕВСКИЙ. **Отрочество в городе.** Повесть;
Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс.** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая;
Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет;
Сергей ДОВЛАТОВ (Нью-Йорк). **Иностранка.** Повесть;
Владимир ЗУЕВ. **Апхимия пюбви.** Повесть;
Федор КОЛУНЦЕВ. **Свет зимы.** Роман;
Владимир КОРМЕР. **Наследство.** Роман. (Первая эмиграция и инакомыслие 60-х гг.);
Любомир ЛЕВЧЕВ. **Убей Болгарина.** Главы из романа;
Марк ПОПОВСКИЙ. **Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга.** Документальное повествование;
А. ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты.** Главы из пятитомной книги;
Нонна МОРДЮКОВА. **«Вот так и живем».** (Часть вторая);
Стихи Б. АХМАДУЛИНОЙ, К. ВАНШЕНКИНА, П. ВЕГИНА, Г. ГОРБОВСКОГО, И. КАШЕЖЕВОЙ, Ю. МОРИЦ, Д. САМОЙЛОВА, В. ЦЫБИНА и других известных и молодых поэтов.

Из литературного наследия: дневники, письма, воспоминания А. БЕЛОГО, М. БУЛГАКОВА, Б. ЗАЙЦЕВА, В. КОРОЛЕНКО, Б. ПАСТЕРНАКА, А. РЕМИЗОВА, А. ТВАРДОВСКОГО, В. ХОДАСЕВИЧА, М. ЦВЕТАЕВОЙ.

В течение года планируем публиковать произведения А. Д. САХАРОВА.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ**
Первый зам. главного редактора **Н. К. ЛОШКАРЕВА**

Редакционная коллегия: **Г. В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ, И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 07.12.—25.12.89. Подписано к печати 25.12.89. А 07808. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24. Тираж 335 000 экз. Заказ № 1666. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени Б. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.